

Астафьев Виктор Петрович Весёлый солдат [astafevvictor.ru](http://astafevvictor.ru)  
Спасибо, что скачали книгу в бесплатной электронной библиотеке  
<http://astafevvictor.ru/> Приятного чтения!

Светлой и горькой памяти дочерей моих Лидии и Ирины.

Боже! пусто и страшно становится в Твоем мире! Н. В. Гоголь  
Часть первая  
Солдат лечится

Четырнадцатого сентября одна тысяча девятьсот сорок четвертого года я убил человека. Немца. Фашиста. На войне.

Случилось это на восточном склоне Дуклинского перевала, в Польше. Наблюдательный пункт артиллерийского дивизиона, во взводе управления которого я, сменив по ранениям несколько военных профессий, воевал связистом переднего края, располагался на опушке довольно-таки дремучего и дикого для Европы соснового леса, стекавшего с большой горы к плешинкам малоуродных полей, на которых оставалась неубранной только картошка, свекла и, проломанная ветром, тряпично болтала жухлыми лохмотьями кукуруза с уже обломанными початками, местами черно и плешисто выгоревшая от зажигательных бомб и снарядов.

Гора, подле которой мы стали, была так высока и крутоподъемна, что лес редел к вершине ее, под самым небом вершина была и вовсе голая, скалы напоминали нам, поскольку попали мы в древнюю страну, развалины старинного замка, к вымоинам и щелям которого там и сям прицепились корнями деревца и боязно, скрытно росли в тени и заветрии, заморенные, кривые, вроде бы всего – ветра, бурь и даже самих себя – боящиеся.

Склон горы, спускаясь от гольцов, раскатившийся понизу громадными замшелыми камнями, как бы сдавил оподолье горы, и по этому оподолью, цепляясь за камни и коренья, путаясь в глушине смородины, лещины и всякой древесной и травяной дури, выключившись из камней ключом, бежала в овраг речка, и чем дальше она бежала, тем резвей, полноводней и говорливей становилась.

За речкой, на ближнем поле, половина которого уже освобождена и зелено светилась отавой, покропленной повсюду капельками шишечек белого и розового клевера, в самой середине был сметан осевший и тронутый чернью на прогибе стог, из которого торчали две остро обрубленные жерди. Вторая половина поля была вся в почти уже пониклой картофельной ботве, где подсолнушкой, где ястребинкой взбодренная и по меже густо сорящими лохмами осота.

Сделав крутой разворот к оврагу, что был справа от наблюдательного пункта, речка рушилась в глубину, в гущу дурмана, разросшегося и непролазно сплетенного в нем. Словно угорелая, речка с шумом вылетала из тьмы к полям, угодливо виляла меж холмов и устремлялась к деревне, что была за полем со стогом и холмом, на котором он высился и просыхал от ветров, его продуваемых.

Деревушку за холмом нам было видно плохо – лишь несколько крыш, несколько деревьев, востренький шпиль костела да кладбище на дальнем конце селенья, все ту же речку, сделавшую еще одно колено и побежавшую, можно сказать, назад, к какому-то хмурому, по-сибирски темному хутору, тесом крытому, из толстых бревен рубленному, пристройками, амбарами и банями по задам и огородам обсыпанному. Там уже много чего сгорело и еще что-то вяло и сонно дымилось, наносило оттуда гарью и смолевым чадом.

В хутор ночью вошла наша пехота, но сельцо впереди нас надо было еще отбивать, сколько там противника, чего он думает – воевать дальше или отходить подобру-поздорову, – никто пока не знал.

Наши части окапывались под горой, по опушке леса, за речкой, метрах от нас в двухстах шевелилась на поле пехота и делала вид, что тоже окапывается, на самом же деле пехотинцы ходили в лес за сухими сучьями и варили на пылких костерках да жрали от пуза картошку. В деревянном хуторе еще утром в два голоса, до самого неба оглашая лес, взревели и с мучительным стоном умолкли свиньи. Пехотинцы выслали туда дозор и поживились свежатиной. Наши тоже хотели было отрядить на подмогу пехоте двух-трех человек – был тут у нас один с Житомирщины и говорил, что лучше его никто на свете соломой не осмолит хрюшку, только спортит. Но не выгорело.

Обстановка была неясная. После того как по нашему наблюдательному пункту из села, из-за холма, довольно-таки густо и пристрелянно попужали разика два минометами и потом начали поливать из пулеметов, а когда пули, да еще разрывные, идут по лесу, ударяются в стволы, то это уж сдается за сплошной огонь и кошмар, обстановка сделалась не просто сложной, но и тревожной.

У нас все сразу заработали дружнее, пошли в глубь земли быстрее, к пехоте побежал по склону поля офицер с пистолетом в руке и все костры с картошкой

Астафьев Виктор Петрович Весёлый солдат [astafevvictor.ru](http://astafevvictor.ru)  
распинал, разок-другой привесил салогом кому-то из подчиненных, заставляя заливать огни. До нас доносило: «Раздолбай! Размундяи! Раз...», ну и тому подобное, привычное нашему брату, если он давно пребывает на поле брани.

Мы подзакопались, подали конец связи пехоте, послали туда связиста с аппаратом. Он сообщил, что сплошь тут дядьки, стало быть, по западно-украинским селам подметенные вояки, что они, нажравшись картошек, спят кто где и командир роты весь испсиховался, зная, какое ненадежное у него войско, так мы чтоб были настоroje и в боевой готовности.

Крестик на костеле игрушечно мерцал, возникая из осеннего марева, сельцо обозначилось верхушками явственней, донесло от него петушьи крики, вышло в поле пестренькое стадо коров и смешанный, букашками по холмам рассыпавшийся табунчик овец и коз. За селом холмы, переходящие в горки, затем и в горы, далее – грузно залегающий на земле и синей горбиной упершийся в размытое осенней жижей поднебесье тот самый перевал, который перевалить стремились русские войска еще в прошлую, в империалистическую, войну, целясь побыстрее попасть в Словакию, зайти противнику в бок и в тыл и с помощью ловкого маневра добыть поскорей по возможности бескровную победу. Но, положив на этих склонах, где мы сидели сейчас, около ста тысяч жизней, российские войска пошли искать удачи в другом месте.

Стратегические соблазны, видимо, так живучи, военная мысль так косна и так неповоротлива, что вот и в эту, в «нашу» уже, войну новые наши генералы, но с теми же лампасами, что и у «старых» генералов, снова толклись возле Дуклинского перевала, стремясь перевалить его, попасть в Словакию и таким вот ловким, бескровным маневром отрезать гитлеровские войска от Балкан, вывести из войны Чехословакию и все Балканские страны, да и завершить поскорее всех изнурившую войну.

Но немцы тоже имели свою задачу, и она с нашей не сходилась, она была обратного порядка: они не пускали нас на перевал, сопротивлялись умело и стойко. Вечером из сельца, лежащего за холмом, нас пугнули минометами. Мины рвались в деревьях, поскольку ровики, щели и ходы сообщений не были перекрыты, сверху осыпало нас осколками – на нашем и других наблюдательных пунктах артиллеристы понесли потери, и немалые, по такому жиденькому, но, как оказалось, губительному огню. Ночью щели и ровики были подрывы в укос, в случае чего от осколков закатишься под укос – и сам тебе черт не брат, блиндажи перекрыты бревнами и землей, наблюдательные ячейки замаскированы. Припекло!

Ночью впереди нас затеплилось несколько костерков, пришла сменная рота пехоты и занялась своим основным делом – варить картошку, но окопаться как следует рота не успела, и утром, только от сельца застреляли, затрещали, на холм с гомоном взбежали россыпью немцы, наших будто корова языком слизнула. Обожравшаяся картошкой пехота, побрякивая котелками, мешковато трусила в овраг, не раздражая врага ответным огнем. Какой-то кривоногий командишко орал, палил из пистолета вверх и по драпающим пальнул несколько раз, потом догнал одного, другого бойца, хватал их за ворот шинели, то по одному, то двоих сразу валил наземь, пинал. Но, полежав немного, дождавшись, когда неистовый командир отвалит в сторону, солдаты бегли дальше или неумело, да шустро ползли в кусты, в овраг.

Боевые эти вояки звались «западниками» – это по селам Западной Украины заскребли их, забрили, немножко подучили и пихнули на фронт.

Иъезженная вдоль и поперек войнами, истерзанная нашествиями и разрухами, здешняя земля давно уже перестала рожать людей определенной пола, бабы здешние были храбрее и щедрее мужиков, характером они скорее шибали на бойцов, мужики же были «ни тэ ни сэ», то есть та самая нейтральная полоска, что так опасно и ненадежно разделяет два женских хода: когда очумелый от страсти жених или просто хахаль, не нацелясь как следует, угодит в тайное место, то так это и называется попасть впросак. Словом, была и осталась часть мужская этой нации полумужиками, полуукраинцами, полуполяками, полумадыраками, полубессарабами, полусловаками и еще, и еще кем-то. Но кем бы они ни были, воевать они в открытую отвыкли, «всех врагов» боялись, могли «бытись» только из-за угла, что вскорости успешно и доказали, после войны вырезая и выбивая друг дружку, истребляя наше оставшееся войско и власти битьем в затылок.

В общем, «западники» драпанули в овраг и снова как ни в чем не бывало начали там варить и печь картошку, тем более что выгонять их из оврага было некому: кривоногого лейтенанта, командира роты, как скоро выяснилось, меткий немецкий пулеметчик снисходительной короткой очередью уложил в картошку на вечный покой, взводных в роте ни одного не осталось.

\* \* \*

Пока мы, взвод артиллерийского дивизиона, умаянные ночной работой, просыпались, очухивались, немцы холмик перевалили, оказались у самого нашего носа и

Астафьев Виктор Петрович Весёлый солдат [astafevvictor.ru](http://astafevvictor.ru)  
окапывались уже по краям клеверного и картофельного полей, ожидая, вероятно, подкрепления. Но тут со сна, с переполоху открылся такой огонь, такой треск поднялся, что немцы сперва и окапываться перестали, потом, видя, что мы палим в белый свет как в копеечку, снова заработали лопатками. Кто-то из наших командиров уже бежал вдоль опушки, и кричал, и стонал: «Прицелы! Прицелы, растуды вашу туды!» Я глянул на прицел карабина и тоже изругался: прицел стоял на «постоянном» – в кого тут попадешь?! Сдвинул скобу на цифру пятьсот и вложил новую обойму.

Немцы перебежками пошли вперед, приближаясь к лесу. Мне, да и всем, наверное, казалось, что расстояние между нами и ними сокращалось уж как-то слишком быстро, но слева от дороги, где был наблюдательный пункт штаба бригады, заработали два станковых и несколько ручных пулеметов. Немцы залегли, начали продвигаться вперед по-пластунски, еще бросок – и тут, в лесу, мы или тоже драпанем, или уж зубы в зубы – у нас такое бывало. На Днепре, брошенные пехотой, мы схватывались с немцами на наблюдательном лоб в лоб, зубы в зубы – мне та драчка снится до сих пор.

Я начал переводить планку на двести пятьдесят метров и услышал команды, доносившиеся из блиндажа командира дивизиона. «Залечь! Всем залечь!» – разнеслось по опушке. Прекратив огонь, мы попадали на дно ячеек щелей, ходов сообщений. Немцы подумали, что мы тоже драпанули, как наша доблестная пехота, поднялись, радостно загомонили, затрещали автоматами – и тут их накрыло залпом гаубиц нашего и соседнего дивизионов. Не знали немцы, что за птицы на опушке-то расположились, что не раз уж этим артиллеристам приходилось быть открываемыми пехотой и отбиваться самим, и никогда так метко, так слаженно не работали наши расчеты: ведь малейший недоворот, недочет – и мы поймаем свои снаряды. Но там же «наших бьют», а многие «наши» шли вместе от русской реки Оки и до этой вот польской бедной земли, знали друг друга не только в лицо, но и как брата знали – брата по тяжелым боям, по непосильной работе, по краюшке хлеба, по клочку бинта, по затяжке от сигарки.

Нас было уже голой рукой не взять, мы многому научились и как только наладили прицельный огонь из личного оружия, немцу пришлось залезать обратно в картошку, в низко открытые нашей пехотой окопчики и оттуда мстительно щелкать по сосняку разрывными пулями. Снова начали работать из сельца минометы, и снова у нас сразу же закричали там и сям раненые, сообщили, что два линейных связиста убиты. Огонь наших батарей перенесли за холм, на сельцо. Донесся слух, что сам комбриг велел накрыть минометы хорошим залпом. Залп дали, но минометы не подавили. Комбриг заорал: «Это не залп, а дрисня!» Тут же вызвал на провод нашего командира дивизиона. «Бахтин, а Бахтин, – сдерживаясь изо всех сил, глухо и грустно заговорил комбриг. – Если мы будем так воевать и дальше – к вечеру у нас не останется бойцов и нам с тобой да с моими доблестными помощниками самим придется отбиваться от этих вшивиков... – И, подышав, добавил: – Учти, ты – крайний справа, у самого оврага, заберутся немцы в овраг – несдобровать тебе первому...»

Пошла совсем другая война, организованная. Но, как говорится, на орудия и на командира надейся, да сам не плошай. Орудия молотили, молотили по сельцу и зажгли там чего-то. Потом корректировщик забрался на сосну, и пока немцы в картошке заметили его, минометная батарея уже заткнулась, трубы ее лежали на боку, обслуга кверху жопой.

Я же лично долго вел войну вслепую, тужась поразить как можно больше врагов, и тыкал карабином то туда, то сюда, уже по щиколотку стоял в своей щели в пустых горячих гильзах, руки жгло карабином, масло в замке горело, а уверенности, что я ухряпал или зацепил хоть одного немца, не было.

Наконец, уяснив, что всех врагов мне одному не перебить, я уцепил на прицел определенного немца. Судьба его была решена. Перебрав и перепробовав за время пребывания на передовой всякое оружие – как наше, так и трофейное, – я остановился на отечественном карабине как самом ловком, легком и очень прицельном стрелковом оружии. Стрелял я из него давно и метко. Днями, желая прочистить заросшую дыру в карабине, я заметил заливающегося на вершине ели молодого беззаботного зяблика, прицелился и разбил его пулей в разноцветные ключья. Разбил птичку – и зареготал от удовольствия. Кто-то из старых вояк сказал: «Болван, эт-твоя мать!» Я еще громче зареготал и похлопал по заеложной об мой зад ложе: «Во, братишка, лупит!»

Немец, мною намеченный, чаще других поднимался из картошки и бросками, то падая, то ложась, бежал за скирду клевера. На отаве клевера, яркой, как бы осыпанной комочками манной кашицы, новоцветом, он полз, и довольно быстро, потом вскакивал и опростетью бросался в укрытие, за скирду. На спине его, прицепленный к ранцу, взблескивал котелок. Я поставил планку на триста пятьдесят метров и несколько раз выстрелил по этому котелку, когда немец лежал в картошке.

Астафьев Виктор Петрович Весёлый солдат [astafevvictor.ru](http://astafevvictor.ru)

Попадало, должно быть, близко, но не в солдата, видать малоопытного, иначе давно бы он снял ранец с котелком – мишень на спину опытный солдат никогда себе навесить не позволит.

Скорее всего, немец этот был связным. Там, за скирдой, сидел командир роты или взвода и посредством связного отдавал распоряжения в цепи. Залегшие и уже хорошо окопавшиеся в картошке, все более и более растягивающиеся левым крылом роты к оврагу, наши связные уже сбегали по оврагу и речке к хутору, расположенному справа, сообщили обстановку, и оттуда отсекающим от леса огнем били пулеметы и, как было сообщено, налаживалась атака силами батальона да еще выловленных в оврагах «западников» и двух или четырех танков.

Ну, «силами батальона» звучит громко, в батальоне том если осталось человек восемьдесят, так и то хорошо, а «западники» – они пройдут до поля и залягут, ведя истребительный огонь. Вот если танки, пусть и два будут, да наши ахнут из гаубиц – тогда, пожалуй, противнику несдобровать. Но пока он, немец с котелком, залег в картошке, припал за бугорком, ровно бы кротом нарытым, и не шевелится – убил я его уже? Или еще нет? На всякий случай держу на мушке. И вот он, голубчик, выдал себя, вскочил, побежал согнувшись, готовый снова ткнуться за бугорочек. Но я поймал на мушку котелок, опор ложей сделал к плечу вплотную, мушку довел до среза и плавно нажал на спуск.

Немец не дотянул до следующего бугорка два-три метра и, раскинув руки, словно неумелый, напуганный пловец, упал в смятку, уже перерытую картошку. Я передернул затвор, вогнал новый патрон в патронник и неумолимо навис над целью дулом карабина.

Но немец не шевелился и более по полю не бегал и не ползал. Я еще и еще палил до обеда и после обеда. Часа в четыре из хутора вышли два танка, за ними засуетились расковырянным муравейником пехотинцы, ударили наши орудия, жажнули мы из всего и чем могли, и немцы, минуя село, из которого утром пошли в атаку, потому что там тоже какая-то стрельба поднялась, не перебежками, россыпью рассеянной, молчаливой толпой бросились бежать за холм и дальше, тут и скирда сырого клевера, которую весь день зажигали пулями и не могли зажечь, густо задымила, бело и сыро, потом нехотя занялась.

Я нашел «своего» немца и обрадовался меткости. Багровое пятно, похожее на разрезанную, долго лежавшую в подвале свеколку, темнело на сереньком пыльном мундире, над самым котелком. По еще не засохшей, но уже вязко слипшейся в отверстии крови неземным, металлически отблескивающим цветком сидели синие и черные толстые мухи, и жуки с зеленой броней на спине почти залезли в рану, присосались к ней, выставив неуклюжие круглые зады, под которыми жадно скреблись, царапались черные, грязные, резиновой перепонкой обтянутые лапки с красно измазанными острыми коготками.

Я перевернул уже одеревенелое тело немца. После удара пули он еще с полминуты, может, и более жил, еще царапал землю, стремясь уползти за бугорок, но ему досталась убойная пуля. В обойме русской винтовки пять пуль (карабин – это укороченная, модернизированная винтовка), четыре из пяти пуль с окрашенными головками: черная – бронебойная, зеленая – трассирующая, красная – зажигательная, белая – не помню, от чего и зачем. Должно быть, разрывная. Пятый патрон – обыкновенный, ничем не окрашенный, на человека снаряженный. В бою мне было не до того, чтобы смотреть, какой патрон и на кого в патронник вгоняю. Выход на груди немца был тоже аккуратен – не разрывной, обыкновенной смертельной пулей сокрушил я врага. Но все же крови на мундире и под мундиром на груди было больше, чем на спине, вырван наружу клочок мундира, выдрана с мясом оловянная пуговица на клапане, вся измазанная загустелой кровью и болтавшаяся вроде раздавленной вишенки с косточкой внутри.

Немец был пожилой, с морщинистым худым лицом, обметанным реденькой, уже седеющей щетиной; глаза его, неплотно закрытые, застыло смотрели мимо меня, в какую-то недостижимую высь, и весь он был уже там где-то, в недоступных мне далях, всем чужой, здесь ненужный, от всего свободный. Ни зла, ни ненависти, ни презрения, ни жалости во мне не было к поверженному врагу, сколько я ни старался в себе их возбудить.

И лишь: «Это я убил его! – остро протыкало усталое, равнодушное, привычное к мертвецам и смертям сознание. – Я убил фашиста. Убил врага. Он уже никого не убьет. Я убил. Я!..»

Но ночью, после дежурства на телефоне, я вдруг заблажил, что-то страшное увидев во сне, вскочил, ударился башкой о низкий настил-перекрытие из сосновых сучков на своей щели. Попив из фляги воды, долго лежал в холодной осенней земле и не мог уснуть, телом ощущая, как, не глубоко мною зарытый в покинутом окопчике, обустройствается навечно в земле, чтобы со временем стать землей, убитый мною человек. Еще течет меж пальцев рук, в полураскрытые глаза и в рот мертвеца прах скудного рыхлого, прикарпатского крестьянского поля, осыпается комочками за

Астафьев Виктор Петрович Весёлый солдат [astafevvictor.ru](http://astafevvictor.ru)  
голову, за шею, гасит последний свет в полусмеженных глазах, темно-синих от мгновенной сердечной боли, забивает в последнем крике разжатый рот, в котором не хватало многих зубов и ни золотые, ни железные не были вставлены взамен утраченных.

Бедный, видать, человек был – может, крестьянин из дальних неродовитых земель, может, рабочий с морского порта. Мне почему-то все немецкие рабочие представлялись из портов и горячих железоделательных заводов.

Тянет, обнимает земля человека, в муках и для мук рожденного, мимоходом с земли смахнутого, человеком же убитого, истребленного. Толстозадые жуки с зелеными, броневыми, нездешними спинами роют землю, точат камень, лезут в его глубь, скорей, скорей, к крови, к мясу. Потом крестьяне запашут всех, кто пал на этом поле, заборонят и снова посадят картошку и клевер. Картошку ту будут варить и есть с солью, запивать ее сладким, густым от вкусного клевера молоком; под плуг попадут гнезда тех земляных жуков, и захрустят их броневые, фосфорической зеленью сверкающие крылья под копытами коня, под сапогами пана крестьянина.

Нечего сказать, мудро устроена жизнь на нашей прекрасной планете, и, кажется, «мудрость» эта необратима, неотмолима и неизменна: кто-то кого то все время убивает, ест, топчет, и самое главное – вырастил и утвердил человек убеждение: только так, убивая, поедая, топча друг друга, могут сосуществовать индивидуумы земли на земле.

Немец, убитый мною, походил на кого-то из моих близких, и я долго не мог вспомнить – на кого, убедил себя в том, что был он обыкновенный и ни видом своим, ни умом, наверное, не выдававшийся и похож на всех обыкновенных людей.

\* \* \*

Через несколько дней, с почти оторванной рукой, выводил меня мой близкий друг с расхлестанной прикарпатской высоты, и, когда на моих глазах в клочья разнесло целую партию раненых, собравшихся на дороге для отправки в медсанбат, окопный дружок успел столкнуть меня в придорожную щель и сверху рухнуть на меня, я подумал: «Нет, «мой» немец оказался не самым мстительным...»

Дальше, вплоть до станции Хасюринской, все помнится пунктирно, будто ночная пулеметная очередь – полет все тех же четырех бесцветных пуль, пятая – трассирующая, пронзающая тьму и дальнюю память тревожным, смертельным светом.

Безобразно доставляли раненых с передовой в тыл. Выбыл из строя – никому не нужен, езжай лечись, спасайся как можешь. Но это не раз уже описано в нашей литературе, и мною в том числе. Перелистну я эту горькую страницу.

Надеялись, на железной дороге будет лучше. Наш железнодорожный транспорт даже в дни развалов и разрух, борьбы с «врагами народа», всяческих прогрессивных нововведений, перемен вождей, наркомов и министров упорно сохранял твердое, уважительное отношение к человеку, особенно к человеку военному, раненному, нуждающемуся в помощи. Но тут была польская железная дорога, расхлябанная, раздрызганная, растасканная, как и само государство, по переменке драное то тем, то другим соседом и по этой причине вконец исторговавшееся. «Придут немцы, – говорилось в услышанной здесь притче, – будут грабить и устанавливать демократию; придут москали – будут пить и ...ть беспощадно. Так я советую паньству, – наставлял свой приход опытный пастырь, – не отказывать москалям, иначе спалят, но делать это с гонором – через жопу». Так они и поступают до сих пор – все у них идет через, зато с гонором. Паровозишко тащил какой-то сброд слегка починенных, хромых вагонов. Раненые падали с нар и по той причине все лежали на грязном, щелястом полу. Брал с места паровозишко, дернув состав раз по пяти, суп из котелков выплескивался на колени, ошпаренные орал благим матом, наконец наиболее боеспособные взяли костыли и пошли бить машиниста.

Но он уже, как выяснилось, бит, и не раз, всевозможными оккупантами. Быстро задвинул дверь паровоза на крепкий засов, опытный машинист высунулся в окно и траванул пламенную речь, мешая польские, украинские и русские слова, в том смысле, что ни в чем он не виноват, что понимает все, но и его должны понять: из этого государства, пся его крив, которое в первый же день нападения немцев бросил глава его, самонаградной маршал Рыдз-Смиглы, изображавший себя на картинах и в кино с обнаженной боевой саблей, начищенным сапогом, попирающим вражеское знамя, смыслся в Румынию вместе с капиталами и придворными блядьми, бросив на произвол судьбы ограбленный народ. Какой в таком государстве, еще раз пся его крив, может быть транспорт, какой, сакраментска потвора порядок? Если москали хотят побить его костылями, то пусть бьют правительства, их сейчас в Польше до хуя – он так и произнес нетленное слово, четко, по-русски, только ударение сделал не на «я», как мы, а на «у». О-о, он уже политически подкован, бит немецкими прикладами, обманут советскими жидами, заморожен политиками и до того освобожден, что порой не знает, в какую сторону ехать, кого и куда везти, к

Астафьев Виктор Петрович Весёлый солдат [astafevvictor.ru](http://astafevvictor.ru)  
кому привыкать – все, курва-блядь, командуют, грозятся, но поить и кормить никто не хочет. Вот уголь и паек дали на этот раз «радецкие» – он и поехал в сторону «радецких», раньше давали все это немцы – он и ехал в сторону немецкую.

\* \* \*

До Львова и путь недолог, но многие бойцы успели бойко поторговать, продали и трофеишки, и с себя все, что можно. Со станции Львов в сортировочный госпиталь брела и ехала, осыпаемая первой осенней крупкой, почти сплошь босая, до пояса, где и выше, раздетая толпа, скорее похожая на сборище паломников или пленных, нежели на бойцов, только что пребывавших в регулярном сражающемся войске. У меня был тяжелый выход с передовой, из полуокружения – еще тяжелее, езда в машинах по разбитой танками дороге, короткая передышка на походных санитарных эвакуопунктах почти не давали успокоения и отдыха, ехал я по Польше в жару, торгом заняться не мог. У меня было две полевых сумки: в одну ребята натолкали бумаги, карандашей, чтоб писал им, позолоченные зажигалки, часики, еще что-то, чтоб продал и жил безбедно. Эту сумку у меня украли на первом же санпункте, где спал я полубеспамятым сном. В другой сумке были мои «личные» вещишки – мародеры из спекулянтов или легко раненные порылись, выбрали что «поценней» и бросили мне ее в морду; пробовали в потемках стянуть сапоги, но я проснулся и засипел сожженной глоткой, что застрелю любого, кто еще дотронется до сапог. Это были мои первые добротны и не без некоторого даже форса сшитые сапоги.

В бою под Христиновкой наши войска набили табун танков. Я, как связист, был в пехоте с командиром-огневику, на корректировке огня. Когда бой прекратился и малость стемнело, я одним из первых ворвался в «ряды противника» и в трех несгоревших немецких танках вырезал кожаные сиденья. Кожу с сидений я отдал одному нашему огневику, тайно занимавшемуся в походных условиях сапожным ремеслом и зарабатывающему право не копать, не палить, орудие не чистить, только обшивать и наряжать артиллеристов. Бойцы нашей бригады в немалом числе уже щеголяли в добротных сапогах, а я все шлепал вперед на запад в ботинках-скороходах. Какая война в ботинках, с обмотками, особенно осенью? Кто воевал, тот знает. Кожи из танков хватало бы на четверо сапог, а наш сапожник, производивший тройной, если не четверной, обмен кож на гвозди, подковы, шпильки, стельки и, главное, подметки – и все это на ходу, в движении, в битве! – стачал мне такие сапоги, что весь наш взвод ахнул. Первый раз в моей жизни новая обувь нигде не давила, не терзала мои костлявые ноги, все-то было в пору, да так красиво, главное – подметки были из толстой, красной, лаково блестящей кожи!

Какой-то чешский эскадрон имел неосторожность расположиться неподалеку от наших батарей, и пока чех-поручик на расстеленной салфетке пил кофе, наши доблестные огневики сняли с его коня новенькое седло, изготовленное на советском Кавказе. Поручик долго не мог понять: куда исчезло седло и что это за такое незнакомое русское слово «украли»? И тогда кто-то опять же из огневиков обнадеживающе похлопал чеха по плечу: «Ничего, ничего. Придем к вам, объясним и научим!»

Вот какие у меня были сапоги! Я под тем же Львовом драпал с одной высоты. На рассвете было, в августе месяце. Я спал крепким сном, в два часа ночи сменившись с поста. Но спать в обуви я не мог, и когда началась паника и все побежали и забыли про имущество – даже стереотрубу забыли, позорники, – меня, спящего в щели на краю пшеничного поля, забыли. Один мой дружок, ныне уже покойный, все же вернулся, растолкал меня, и я начал драпать с сапогами в одной руке, с карабином в другой. Танки уже по пшенице колесили, немцы строчили из хлебов, но я сапоги не бросил и карабин не бросил.

Но как я поступил во львовский распределительный госпиталь, сердце мое оборвалось: тут не до сапог, тут дай бог жизни не потерять.

Распределитель размещался в какой-то ратуше, думе, собрании или ином каком внушительном здании. Многоэтажный дом был серого цвета, по стенам охваченный древней прозеленью. Комнаты в нем были огромны, каменные залы гулки, с росписями по потолку и по стенам. Я угодил в залу, где на трехэтажных деревянных топчанах, сооруженных и расставленных здесь еще немцами, располагалось до двухсот раненых; и если в углу, возле окон, на крайних топчанах заканчивался завтрак, у дверей уже начинали раздавать обед, и нередко, приподняв одеялишко, прикрывающее солдатика на нарах, санитары, разносившие еду, тихо роняли: «Этому уже ничего не надо», – и по кем-то установленному закону или правилу делили меж ранеными пайку угасшего бедолаги – на помин души.

Отсюда раненых распределяли в санпоезда и отправляли на восток – вечный шум, гам, воровство, грязь, пьянство, драки, спекуляция.

У санпоездников правило: не принимать на эвакуацию тех бойцов, у которых чего-либо не хватает из имущества, даже если нет одной ноги – ботинки должны быть парой, такова инструкция санупра. Кое-что выдавалось здесь, со складов ахового распредгоспиталя, и склады те напоминали широкую городскую барахолку. На

Астафьев Виктор Петрович Весёлый солдат [astafevvictor.ru](http://astafevvictor.ru)  
них артелями, точнее сказать бандами, орудовали отъезжие, злые, всегда полупьяные мужики без наград и отметок о ранениях на гимнастерках. Они не столь выдавали, сколь меняли барахлишко на золото в первую голову, на дороге безделушки, даже на награды и оружие. Думаю, не один пистолет, не одна граната через те склады, через тех тыловиков-грабителей попали в руки бандеровцев. Здесь можно было месяцами гнить и догнивать из-за какой-нибудь недостающей пилотки, ботинка или подштанников. Ранбольные бушевали, требовали начальство для объяснений.

Являлась дамочка, золотом объятая, с тугими икрами, вздыбленной грудью, кудрявой прической, блудно и весело светящимися глазами, – во всем ее облике, прежде всего в том, как она стояла, наступательно выставив ножку в блестящем сапоге, явно сквозило: «Ну, я – блядь! Руководящая блядь! И горжусь этим! И презираю вас, вшивоту серую...»

– Спа-акойно! Спа-акойно, товарищи! Всех эвакуируем. Всех! – напевая, увещевала начальница и, как-то свойски, понимающе сощуриив блудный глаз, не то фамиллярно подмигивая, не то пронзая им, добавляла: – Мы-то тут при чем? Госпиталь-то наш при чем? Вы сами распродали в пути и пропили свое имущество. Ка-азенное! Ба-а-айево! А я санпоездами, извините, не командую. Я бы рада сегодня, сейчас всех вас, голубчиков, эва-акуи-и-ировать, определить, лечить, но... – Тут она разводила руками и улыбалась нам, обнажая золотые зубы, чарующей улыбкой, дескать, не все в моей власти и вы сами во всем виноваты.

Да это у нас и по сей день так: где бы ты ни воевал, ни работал, где бы ни служил, ни ехал, ни плыл, в очереди в травмпункте или на больничную койку ни стоял – всегда ты в чем-то виноват, всегда чего-то должен опасаться и думать, как бы еще более виноватым не сделаться, посему должен выслуживаться, тянуться, на всякий случай прятать глаза, опускать долу повинную голову – человек не без греха, сам в себе, тем более в нем начальство всегда может найти причину для обвинения. Взглядом, словом, на всякий случай, на «сберкнижку», что ли, держать его, сукиного сына, советского человека, в вечном ожидании беды, в страхе разоблачения, устыжения, суда, если не небесного, то общественного.

В конце беседы обворожительная дама обязательно поправляла заботливо на ком-нибудь из раненых одеяльце, подтыкала подушку, и непременно находился доверчивый бедолага с дальних таежных деревень родом, всегда и до конца верящий молитве Божьей и слову «полномочных» людей:

– Меня, родная дамочка, меня-то эвакуируйте ради Бога. Обоих ног нету, а с миня ботинки требуют. Помру ведь я тут без молитвы и причастия...

– Ф-фу, какой паникер! Да еще и в Бога верующий!.. Поможем вам, поможем... Наша обязанность, как и у богов, х-хы, шучу, помогать страждущим, и только страждущим!.. – А сама под одеяло зырк, за руку человека цап, пульс сосчитает, за лоб его пощупает, глядишь, и поплыл крестясь, с молитвою на устах суеверный таежник на носилках. На груди у него ботинки курочками сидят – не важно, какие, какого износа и размера, не важно, что на одну ногу, лишь бы для отчета годились. Прижимая к груди драгоценную обувь, сипит благодарствия дрожащим голосом человек. Сбыла его дамочка в санпоезд, а там – спасут так спасут. Но может путь его оборваться, и сдадут бедолагу где-нибудь ночью, на большой станции, похоронной спецкоманде, и будет он зарыт в безвестном месте, безвестными людьми, на безвестном кладбище... И тут же всеми забыт, кроме обездоленной русской семьи, потерявшей кормильца, который с носилок еще рукой пытается помахать и плачет:

– До свиданья... товаришсы. Желаю и вам поскорейча... Гражданочке-то той благодарствие передавайте... мол, Пров Пивоваров, сапер, на mine подорвавшийся... с Ангары родом... Не забудьте, товаришсы... Простите, если што не так, што поперед вас выпросился... Невмочь мне. С Богом!..

– С Богом! – прервут винящегося перед всеми, на смертном одре совестящегося человека сострадательные бойцы и, чтоб не ушибли, не уронили с носилок бедолагу, помогут его спустить по лестнице донизу, этого вот и до вагона помогли донести.

В три-четыре дня ребята что побоевей объединялись в артель или в боевое отделение, соединялись койками и сиденьями. У кого нож, у кого пистолет, у кого и кулак еще в силе – только так, только боевой, организованной силой можно было противостоять злешней злой силе, вероятно спаявшейся и снюхавшейся с бандами бандеровцев и польских националистов. Наша артель пробилась на перевязки, достала кое-что из амуниции, вина не пила, в карты не играла, бодрствовала по переменке. Однажды возле меня закрутился, завертелся цивильный полячок в грязном халате, выносивший судна, утки, подтирающий мокрой шваброй полы. Все время он чего-то менял, приносил, уносил. Я понял, что ему приглянулись мои сапоги. Бойцы нашего вновь сформированного, стихийного соединения с надеждой глядели на меня, да и знал я, что вот-вот лишусь сапог, уже орал тут какие-то ухари: «Всем, кто

Астафьев Виктор Петрович Весёлый солдат [astafevvictor.ru](http://astafevvictor.ru) не имеет офицерского звания, форму и погоны офицеров сдать, получить на складе вместо сапог ботинки и обмотки. За утаивание...»

– Сколько? – спросил я полячка. И он показал мне два пальца. Боевое соединение начало торговаться и вызудило с полячка еще пятьсот рублей.

Сапоги мои драгоценные, в сраженьях добытые и сработанные, ушли от меня навечно. С выручки уплыло «на дозаправку» полтыщи, зато через сутки, полностью укомплектованные, перевязанные, чуть выпившие на дорожку, раненые бойцы нового боевого отряда из восьми человек были погружены в санпоезд и отправлены не куда-нибудь в занюханый и дымный городишко – в далекий Казахстан, в город Джамбул направились они. Поднатужившись, я вспомнил слова из песни великого акына, которые он якобы пропел богатому и наглому бау, у коего околела любимая собака, а он велел бедному акыну петь над ее прахом, тот прямо в глаза бау: «...и я не желаю тебе ничего, кроме блох. Жить бы собаке, а ты бы подох!..»

Вот в какой славный город, в какую теплую страну должны были привезти меня и моих новых, верных товарищей мои сапоги. Но все в жизни переменчиво. Говорят, те слова Джамбул никогда не пел. И сочинил их якобы еврей-переводчик по фамилии Голубев, и неграмотный акын поставил под ним одобрительную подпись – крестик. И вообще поезд шел не в ту сторону. Шел он на Кубань, мчался на всех парах к неведомой казачьей станице, где нас должны встречать, приветствовать, обласкать, на коечки положить и наконец-то начать лечить.

Но далеко еще было до той станицы, ничего мы еще не знали: сколько будем ехать? Где и когда выгрузимся? Что не в Джамбул едем – это мы уже поняли по названиям станций и по землям, расстилавшимся за окнами вагонов.

\* \* \*

И в станице с названием Хасюринская нас никто не ждал и не встречал. Санпоезд долго стоял на первом пути станции, потом на запасном, и наконец его загнали в тупик, что означало, по заключению знатоков, – будет разгрузка. Скоро.

Завтраком нас накормили в санпоезде, обедом, сказали, будут кормить уже в госпитале, и к обеду тех раненых, кто мог двигаться самостоятельно, из вагонов выдворили в прилегающий к тупику, с той и с другой стороны, казалось, бесконечный, подзапущенный за войну абрикосовый и яблоневый сад. Над рекой, взблескивающей вдаль, горбатился мост, не взорванный. Мы решили, что это Кубань, потому как по Кубани может течь только Кубань, с подрытыми берегами, украшенными кустарником и кое-где деревьями, до неба взнявшимися, еще взлохмаченными, но уже начавшими желтеть и осыпать лист.

Сад, возле которого стоял санпоезд, был сиротливо пуст, но девушки нашего вагона, сестра Клава и санитарка Аня, были здешние, кубанского рода и знали, что до самой зимы, до секучих зимних ветров, на какой-нибудь ветке или дереве непременно задержится один-другой фрукт, да и падалица бывает. Они пошли в глубь сада и скоро вернулись оттуда, неся в карманах и полах белых халатиков чуть порченные, с боку в плесневелых лишаях, абрикосы, подопревшие яблоки, и сказали, что наберут груш. У кого-то сыскался рюкзак, кто-то изъявил желание пойти с девочками в сад – и скоро мы сидели вокруг вещмешка и выбирали из него, кто чего хотел: крепенькую, на зубах редиской хрустящую зеленую грушу-дичку, либо подквашенный абрикос, либо переспелое, уже и плодояжкой покинутое, сморщенное яблоко.

Девочки наши переживали, что мы едим немые фрукты, но, уже как бы не ответственные за нас, за наше здоровье, переживали скорее по привычке. Мы уже были не «ихние», но еще и «ничьи». Девочки могли и должны были покинуть нас, им надо было прибираться в вагоне, сдавать белье, посуду, инструменты. Тех раненых, что не были выгружены, – слух пошел – повезут дальше и их, «внеплановых», станут мелкими партиями раздавать по другим госпиталю. Раненых переместили, сбили в другие вагоны, чтоб легче было обслуживать и не канителиться, бегая по всему составу. Наш вагон был пуст. Обжитый за десять дней пути из Львова уже привычный дом на колесах отчужденно и грустно смотрел на нас открытыми окнами и зияющей квадратной дырой тамбура.

Но роднее вагона сделались нам «наши» девочки. Их уже гукали, строгим голосом призывали к труду, но они сидели среди своих ребят, на откосе тупика, покрытого выгоревшей травой, грустно на нас поглядывали, через силу улыбались, потому что ребята, как в дороге было, развлекали их байками, всякими посказульками.

На девочку походила и была незамужняя лишь Анечка, тоненькая в талии, но с крепко налитой кубанской грудью и круглыми икрами, черноволосая, с крыла кавказского на равнины кубанские слетевшее перышко. Была Анна доверчива и смешлива. Мужики подшучивали над нею, даже пощипывали, прижав ее в узком месте, но она только посмеивалась иль пищала: «Ой! Ой, Божечки мой! Больно же!..» Клава тоже была чернява, но нравом угрюма, взглядом строга, и прическа у нее была строгая, короткая, без затей, хотя волосы были густы, отливали шелковисто, и



Астафьев Виктор Петрович Весёлый солдат [astafevvictor.ru](http://astafevvictor.ru)

опусти она их до пояса или до плеч, как нынешние стилижки, – так за одни только эти волосы мужики ее любили бы, сватали, она бы еще в школе замуж вышла, ее раз пять бы отбили друг у дружки мужики и, может, даже и на БАМ увезли бы, на молодежную передовую стройку, где красавицы были в большой цене и в особом почете.

У Клавы и в характере, и в действиях все было подчинено и приспособлено к делу.

Меня определили на вторую, боковую полку, против крайнего купе – «купе» девочек, отгороженного от посторонних глаз простынею. Но чаще всего простыня та была откинута, и я видел, как работала Клава. Паек она делила справедливо, никого не выделяя, никому не потрафляя, точным шлепком бросала в миски кашу, точным взмахом зачерпывала из бачка суп, точно, всегда почти без довесков, резала хлеб и кубики масла, точно рассыпала сахар миниатюрным, игрушечным черпачком; одним ударом, скорее, даже молниеносным броском иглу до шприца всаживала в подставленный зад или в руку, спину ли – и все это молча, со спокойной строгостью, порой казалось, даже злостью, и если больной вздрагивал или дергался от укола, она увесисто роняла: «Ну чего тебя кособочит? Сломаешь иглу», – и когда подбинтовывала, и когда успокаивала больных или усыпляла, Клава тоже лишних слов не тратила. Ее побаивались не только больные, но и Анечка. Чуть, бывало, ранбольные завольничают, Анечка сразу: «Я вот Клаву позову, так узнаете!..»

Суток двое в пути я спал напропалую после львовской распределителки и проснулся однажды ночью от какого-то подозрительного шороха. Мы где-то стояли. Я высунулся в окно. На улице, с фонарем, у открытого тамбура, в железнодорожной шинелке, из-под которой белела полоска халата, ежилась Анечка. Простыня на служебном купе колыхалась, за нею слышался шепот, чмокание, потом и срывистое, загнанное дыхание и, как всегда, строго-деловой, спокойный голос Клавы: «Не торопись, не торопись, не на пожаре...» Из-под простыни выпростались наружу две ноги, ищущие опору и не находящие ее на желдорполке. Ноги в носках – значит, офицер откуда-то явился, у нас в вагоне сплошь были рядовые и сержанты, носков нам не выдавали.

Но Клава и тут никого не хотела выделять, обслуживала ранбольных беспристрастно, не глядя на чины и заслуги. Не успел выметнуться из купе офицер, как туда начал крадучись пробираться старший сержант, всю дорогу чем-то торговавший, все время чуть хмельной, веселый и, как Стенька Разин, удалой. Но когда после старшего сержанта, к моему ужасу и к трусливой зависти моей, в «купе» прокрался еще кто-то, Клава выдворила его вон, опять же строгим голосом заявив: «Довольно! Я устала. Мне тоже поспать надо. А то руки дрожать будут, и пропорю вам все вены...» Поезд тронулся. Прибежала Анечка, загасила фонарь, стуча зубами, сбросила шинеленку и со словами: «Ох, продрогла!» – нырнула к Клаве под одеяло: полка у них была одна на двоих, с откидной доской, кто-то из двоих должен был ночью дежурить и караулить больных, имущество – да где же девчонкам сутками выдержать дорожную работу, вот по их просьбе и приделали «клапан» к вагонному сиденью. Накрепко закрыв тамбуры с обеих сторон, они спали себе, и никто ни нас, ни имущество не уносил.

– Ну как было? Как? – приставала с расспросами к подруге Анечка.

– Было и было, – сонно отозвалась та. – Хорошо было. – И уже расслабленным голосом из утомленного тела испустила истомный вздох: – Хоро-шо-о-о-о.

Анечка не отставала, тормозила напарницу, и слышно было, как грузно отвернулась от нее Клава:

– Да ну тебя! Пристала! Говорю тебе – попробуй сама! Больно только сперва. Потом... завсегда... сла-а-адко...

– Ладно уж, ладно, – как дитя, хныкала Анечка, – тебе хорошо, а я бою-уся... – и тоже сонно вздохнула, всхлипнула и смолкла.

Устала, намерзлась, набегалась девчонка, и все успокаивающий сон сморил, усмирил ее тело, томящееся ожиданием греха и страха перед ним. А я из-за них не спал до утра. И вспоминалась мне давняя частушка, еще золотого деревенского детства: «Тятка с мамкой на полу гонят деготь и смолу, а я, бедный, за трубой загинаю х... дугой».

\* \* \*

А утром у меня температура подпрыгнула, пусть и немного, и Клава ставила мне укол в задницу. Проникающим в душу спокойным взглядом она в упор глядела на меня и говорила, выдавливая жидкость из шприца, санитарке, порхающей по вагону:

– Своди малого в туалет. Умой. Он в саже весь. В окно много глядит. А моет только чушку. Одной рукой обихаживать себя еще не умеет. Вот и умой его. Как следует умой. Охлади!

И не когда-нибудь, а поздней ночью Анечка поперла меня в туалет, открыла кран и под журчание воды начала рассказывать свою биографию, прыгая с пятого на

Астафьев Виктор Петрович Весёлый солдат [astafevvictor.ru](http://astafevvictor.ru)  
десятое. Биография у нее оказалась короткой. Очень. Родилась на Кубани, в  
станции Усть-Лабе. Успела окончить только семь классов, потом в колхозе  
работала, потом курсы кончила, медсестер, полгода уж санитаркой в санпоезде  
ездит, потому что места медсестер заняты...

– Во-от! – напряженно добавила она и смолкла. Вдруг нервно рассмеялась: – Война  
кончится, так и буду судна да утки подавать... медсестрой не успею...

– Успеешь! – поспешно заверил я. – На гражданке больных на твою долю хватит...  
Н-належишь еще. – И я начал заикаться и опрометчиво добавил: – Ты доб-брая...

– Правда? – подняла голову Анечка, глаза ее черные загорелись на бледном лице  
заметным ярким огнем, может, и пламенем. – Правда?! – повторила она и сделала  
вроде бы шаг ко мне.

Но я, дрожащий, как щенок, от внутреннего напряжения, все понимал, да не знал,  
что и как делать, – здесь, в туалете, с перебитой рукой, в жалком, просторном  
бельишке, перебирая босыми ногами по мокрому полу, будто жгло мне подошвы,  
пятился к двери, от лампочки подальше, чтоб не видно было оттопырившиеся,  
чиненные ниже прорехи кальсончики, и судорожно с хлебывал:

– Пра... Правда!.. Пра... Правда!

Надо было как-то спастись от себя и от позора, надо было что-то делать, и я  
тоже торопливо, с переборами начал рассказывать свою биографию, которая оказалась  
гораздо длиннее, чем у Анечки, и дала нам возможность маленько успокоиться.

– Ой! Вода ж на плите! – всполошилась Анечка и с облегченным смехом торопливо  
говоря: – Кипит уж. Ключом.

Вылила горячую воду в заткнутую пробкой раковину, сноровисто и умело принялась  
мыть мне голову, лицо, шею, здоровую руку и освобожденно, с чуть заметным  
напряжением и виноватостью в голосе тараторила о том о сем. Когда вымыла меня,  
гордо сказала, показывая на зеркало:

– Погляди, какой ты красивый у меня стал!

Опасливо, боясь розыгрыша, я глянул в зеркало, и оттуда на меня, тоже опасливо,  
с недоверчивостью, уставился молодой, исхудалый парень с запавшими глазами, с  
обострившимися скулами. Анечка же, привалившись своей теплой грудью ко мне,  
будто протаранить меня собиралась, ощущаемая всей моей охолодевшей до озноба  
спиной, причесывала мои мокрые, совсем еще короткие волосы и ворковала:

– Во-от, во-от, чистенький, ладненький... – А грудь все глубже впивалась мне в  
спину, буровила ее, раздвигала кости, касаясь неотвратимым острием сердца,  
раскаляла в нем клапана, до кипения доводила кровь – сердце вот-вот зайдет. –  
Ты чего дрожишь-то, миленький?

– Н-ничего... х-холодно! – нашелся я и стреканул из туалета к своему  
спасательному вагонному месту, где Анечка успела перестелить постель, взбила  
подушку, уголком откинула одеяло с чистой простышкой. Но сам, с одной рукой я на  
вторую полку влезть не умел еще и покорно ждал Анечку, крепко держась за  
вагонную стойку здоровой рукой – никто не оторвет.

Появилась Анечка, тоже умытая, прибранная, деловито подсадила меня на полку,  
дала тряпку – вытереть ноги, укрыла одеялом и, мимоходом коснувшись холодной  
ладонью моей щеки, коротко и отчужденно уронила:

– Спи.

Я не сразу уснул. Слышал, как теперь уже Клава донимала расспросами Анечку.

– Вот еще! Больно надо! – сердито роняла санитарка. – Умыла и умыла... – Но в  
голосе ее все отчетливее проступал звон, и его, этот звон, задавливало,  
потопляло поднимающимися издали, из нутра обидными и стыдными слезами, голос  
расплющился, размок, и мокрой, стонущей гортанью она пыталась выкрикнуть: – Да  
мне... Да если захочу... Да у меня жених в Усть-Лабе! Юрка. Я лучше Юрке... сохраню...  
сохранюсь...

– Лан, лан, не плачь, – зевнула длинно, с подвывом Клава. – Салага он. Не умеет  
еще. Хочешь, я тебе подкину старшего, ну, Стеньку-то Разина! Тот не только в  
туалете, тот на луне отделяет!..

– Отстань со своим Разиным! Никого мне не надо!

– Ну, ну, не надо, так и не надо! Кто бы спорил, а я не стану, – гудела  
успокоительно Клава и похлопывала юную подружку по одеялу, догадывался я –  
гладила по голове, понимая неизбежность страдания на пути к утехам, пагубную  
глубь бабьей доли-гибели.

Успокоив Анечку, Клава и сама скоро успокоилась, пустив пробный, пока еще  
короткий всхрап носом, потом заработала приглушенным, деловитым храпом человека,  
честно зарабатывающего свой хлеб и с достоинством выполняющего свой долг перед  
народом и родиной. Однако ж в пути, догадался я, Клава спала не до самого  
глубокого конца и храпела не во всю мощь оттого, что и во сне не забывала про  
больных, безропотно, неторопливо поднималась на первый зов раненых или на стук в  
вагон снаружи.

Легкая, смешливая Анечка спала себе и спала, беззаботно и безмятежно, лишь

Астафьев Виктор Петрович Весёлый солдат [astafevvictor.ru](http://astafevvictor.ru)  
тайные страсти, это «демонское стреляние», как хорошо называл сии чувства мельников-Печерский, так рано пробуждающиеся в людях южных кровей, точили, тревожили, томили ее в темных, скрытых от чужого глаза недрах, но еще не доводили до бессонницы, не ввергали в окончательное умопомешательство.

Еще разок-другой за десятидневный путь покушалась Анечка на мою честь, манила меня за занавесочку или в туалет, но я делал вид, что «тонких» намеков не понимаю, и с полки своей не слезал до победного конца пути.

К Анечке, должно быть по наущению Клавы, клеился старший сержант Стенька Разин. Презируя себя, я ревниво следил сверху за надвигающимися событиями. Анечка сопротивлялась изо всех сил: Стенька Разин был ей не по душе, стар, как ей казалось, и она боялась его напористых домоганий. Однако, будь наш путь подлиннее, допустим, до того же Джамбула, Анечка, наверное, рухнула бы, пала бы, как слабенькая, из глины сбита крепостишка.

И вот конец нашего пути! «Наши» девочки, стыдливо натянув на колени юбчонки, сидят с нами на траве и печально смотрят на нас. Сколько они уж проводили таких вот, как мы, подбитых орлов на излечение и на небеса и еще проводят, а вот по притчеватости и доброте русского бабьего характера привязываются к «своим мальчишкам», присыхают, будто к родным.

О-о, война, о-о, бесконечные тяготы и бедствия российские! Только они объединяют наш народ, только они выявляют истинную глубину его характера, и плывем мы устало от беды до беды, объединенные жаждой добра.

Анечка сперва ненароком, потом и в открытую жалась ко мне, выбирала для меня фруктину меньше испорченную и поспелее, потом и вовсе легла головой мне на колени, грустно смотрела засветленными слезой страдающими черными глазами. Грустила она еще легко, красиво, словно ее родное и в осени голубое кубанское небо, раззолоченное из края в край исходным сиянием бабьего лета. Я перебирал пальцами здоровой руки волосы Анечки, гладил их на теплой ложбинке шеи, и сладость первой, тоже легкой грусти от первой разлуки, ни на что не похожая, мягко сжимающая сердце, мохнатеньким абрикосом каталась по рассолодевшему нутру, томила меня никогда еще не испытанной и потому ни с чем еще несравнимой нежностью, сожалением и уходящей вдаль, в будущее года невозвратной печалью.

Ребята давно уже обменялись адресами с «нашими» девчонками, давно сказали все, что могли сказать друг другу. У меня адреса не было, и Анечка сказала, что будет мне писать сюда, в госпиталь, а я ее извещать о всяческих событиях в моей жизни и перемещениях. Мне казалось, Анечка была рада тому, что мы не осквернились в вагонном туалете, что не пала она на моих глазах под натиском вагонного атамана Стеньки Разина, что судьба оставила нам надежду на встречу и сожаление о том, что мы не могли принадлежать друг другу. Сила, нам неведомая, именно нас выбрала из огромной толпы людей, понуждала к интимной близости, не случайной, кем-то и где-то нам предназначенной, предначертанной, пышно говоря, и она же, эта сила, охранила наши души.

Как прекрасно, что в жизни человека так много еще не предугаданного, запредельного, его сознанию не подчиненного. Даровано судьбой и той самой силой, наверное небесной, прикоснуться человеку к своей единственной «тайне», хранить ее в душе, нести ее по жизни как награду и, пройдя сквозь всю грязь бытия, побывав в толпах юродивых и прокаженных, не оскверниться паршой цинизма, похабщины и срама, сберечь до исходного света, до последнего дня то, что там, в глубине души, на самом ее доньшке хранится и тебе, только тебе, принадлежит...

\* \* \*

Наше сидение на железнодорожном откосе продолжалось почти до вечера – санпоезд хотел освободиться от груза, а Хасюринский госпиталь этот груз не брал. Как выяснилось, госпиталь подлежал ликвидации, расформированию, и помещения двух хасюринских школ – средней и начальной – должен был освободить для учащих еще к началу сентября, но надвигался уже октябрь, а госпиталь никак не расформировывался.

После звонков в Краснодар, в краевое или военное сануправление, решено было тех бойцов, что выгружены из санпоезда, временно оставить в станице Хасюринской, остальных везти дальше, вплоть до Армавира. Наше сидение на откосе, возле пустынного сада, было прервано появлением человека, у которого все, что выше колен – брюхо: явился замполит госпиталя по фамилии Владыко. Обвел нас заплывшим, сонным, но неприязненным взглядом. Сразу заметив двух девчонок, он покривил вишневой спелостью налитые губы, слетая с которых, как мы тут же убедились, всякий срам как бы удесятерился в срамности.

– А-а, новые трипперники прибыли! – и, радуясь своей остроте, довольнехонько засопел, захрюкал, вытирая платком шею и под фуражкой.

Ребята оглядывались по сторонам, ища взглядом тех, к кому эти слова относились.

Астафьев Виктор Петрович Весёлый солдат [astafevvictor.ru](http://astafevvictor.ru)

Но вперед уже выступал Стенька Разин – старший сержант Сысоев – и фамильярно заговорил с замполитом на тему триппера: много ли его в Хасюринске, как с ним борются, – сделал мужественное заявление, что «триппер нам не страшен», лишь бы на «генерала с красной головкой» не нарваться. Замполит свойски гоготал, говорил толпящимся вокруг Сысоева раненым, что добра такого в Хасюринске в избытке, еще от немцев в качестве трофеев оно осталось. А как с ним бороться, узнаете, когда на конец наматаете!.. – и все это с «го-го-го» да с «га-га-га».

Девчонки наши начали торопливо прощаться: сперва всех по порядку, по-бабьи истово перецеловали, желая, чтобы мы скорее выздоравливали и отправлялись бы по домам. Потом все разом целовали Анечку, кто куда изловчится, чаще в гладенькие ее щеки, простроченные полосками светлых слез. Дело дошло до меня, и я расхрабрился, припал на мгновение губами к губам няньки. Как бы признав за мной это особое право, Анечка от себя поцеловала меня в губы. Ничего не скажешь – целовалась она умело и крепко, даже губу мне прокусила, должно быть, еще в школе выучку прошла.

Прискребся в тупик, парящий всем, что может парить, маневровый паровозишко, бахнул буферами в буфера вагона и потащил обжитый нами поезд на станцию. «Наши» девочки долго нам махали в окошко, Анечка утирала слезы оконной занавеской, и когда санпоезда не стало, так сиротливо, так одиноко нам сделалось, что и словами выразить невозможно.

Часу уже в седьмом вечера раненых наконец-то определили по местам: кого увели, кого увезли, кого и унесли на окраину станицы Хасюринской, во второе отделение госпиталя, располагающегося в начальной школе. Раненые попадали на жесткие крапивные мешки, набитые соломой, разбросанные на полу, прикрытые желтыми простынями и выношенными одеялами, предполагая, что это – карантинное отделение и потому здесь нет коек и вообще все убого и не очень чисто. Впрочем, предполагать было особенно некогда – все устали, истомились.

\* \* \*

В хасюринских школах в дни оккупации был фашистский госпиталь для рядового и унтер-офицерского состава. Аккуратные немцы увезли и эвакуировали все, что имело хоть какую-то ценность, бросили лишь рогожные мешки, кой-какую инвентарную рухлядишку, оставив в целостности и сохранности помещения школ, станицу и станцию, – и приходится верить рассказам жителей станицы и фельдмаршалу Манштейну, что с Кубани и Кавказа немецкие соединения отступали планомерно, сохранили полную боеспособность, но, по нашим сводкам и согласно летописцам разных званий и рангов, выходило, что немцы с Кавказа и Кубани бежали в панике, бросали не то что имущество и барахло, но и раненых, и боевую технику...

А они вон даже кровати, постельное белье, медоборудование и ценный инвентарь, гады ползучие, увезли!

В санупре обрадовались, конечно, госпиталю, брошенному немецкими оккупантами, – значит, заботы с плеч долой, – навалили раненого народа на пол в бывшие школьные классы, повесили, как и повсюду, не только в госпиталях, грозные приказы, подписанные разным начальством и почему-то непременно маршалом Жуковым. А он издавал и подписывал приказы, исполненные особого тона, словно писаны они для вражески ко всем и ко всему настроенных людей. Двинув – для затравки – абзац о Родине, о Сталине, о том, что победа благодаря титаническим усилиям героического советского народа неизбежна и близится, дальше начинали страшать и пугать нашего брата пунктами, и все, как удары кнута, со свистом, с оттяжкой, чтоб рвало не только мясо, но и душу: «Усилить!», «Навести порядок!», «Беспощадный контроль!», «Личная ответственность каждого бойца, где бы он ни находился», «Строго наказывать за невыполнение, нарушение, порчу казенного имущества, симуляцию, саботаж, нанесение членовредительства, затягивание лечения, нежелание подчиняться правилам...» и т. д. и т. п. И в конце каждого пункта и подпункта: «Беспощадно бороться!», «Трибунал и штрафная», «Штрафная и трибунал», «Суровое наказание и расстрел», «Расстрел и суровое наказание...».

Когда много лет спустя после войны я открыл роскошно изданную книгу воспоминаний маршала Жукова с посвящением советскому солдату, чуть со стула не упал: воистину свет не видел более циничного и бесстыдного лицемерия, потому как никто и никогда так не сорил русскими солдатами, как он, маршал Жуков! И если многих великих полководцев, теперь уже оправданных историей, можно и нужно поименовать человеческими браконьерами, маршал Жуков по достоинству займет среди них одно из первых мест – первое место, самое первое, неоспоримо принадлежит его отцу и учителю, самовскормленному генералиссимусу, достойным выкорыщем которого и был «народный маршал». Лишь на старости лет потянуло его «помолиться» за души погубленных им солдат, подсластить пилюлю для живых и убиенных, подзолотить сентиментальной слезой казенные забросанные обелиски и заросшие бурьяном холмики на братских могилах, в придорожных канавах.

Астафьев Виктор Петрович Весёлый солдат [astafevvictor.ru](http://astafevvictor.ru)

Однако ж русский народ и его «младшие братья» привыкли к советскому климату, так научились жить и безобразничать под сенью всяких бумаг, в том числе и в смиренных, с завязанными рукавами рубахах, что чаще всего именно под запретительными, с приставкой «не»: «не разрешается», «нельзя», «не ходить», «не лазить», «не курить», «не распивать», «не расстегиваться», – более всего пакостей, надругательств, нарушений и сотворяется.

Хасюринский госпиталь жил и существовал по совершенно никем не установленным и не предусмотренным правилам – он жил по обстоятельствам, ему представившимся.

А обстоятельства были таковы: в средней школе, где было правление госпиталя, санпропускник с баней, рентгены, процедурные, операционные, существовал кой-какой порядок. «Филиал» же был предоставлен самому себе. Здесь имелись перевязочная, железный умывальник на двадцать пять сосцов, установленный во дворе, на окраине все того же сада, что начинался где-то у железной дороги и рос во все концы Кубани, вроде ему и пределов не было.

Еду, воду для умывания и питья в наш «филиал» привозили из центрального госпиталя.

Проспав ночь на туго набитых мешках, скатываясь с них на голый пол, мы уяснили, отчего в других палатах мешки сдвинуты вместе, расплющены и воедино покрыты простынями, – народ здесь жил, пил и гнил союзно.

Огромное количество клопов, подозрительно белых, малоподвижных вшей, но кусучестью оголтелых, ненасытных. Сквозь ленивую, дебетую вошь, через спину и отвислое брюхо, краснела солдатская, многострадальная кровь. Эта вошь не походила на окопную, юркую, ухватками напоминающую советских зеков, – эта не ела раненых, а заживо сжевывала, и поэтому наиболее боеспособные ранбольные уходили из госпиталя ночевать к шмарам.

Главное лечение здесь был гипс. Его накладывали на суставы и раны по прибытии раненого в госпиталь и, как бы заключив человека в боевые латы, оставляли в покое. Иные солдаты прокантовались в этом «филиале» по годичку и больше, гипс на них замарался, искрошился в сгибах, на грудях – жестяно-черный, рыцарски посеребренный, сверкал он неустрашимой и грозной броней.

Под гипсами, в пролежнях, проложенных куделей, гнездились вши и клопы – застенная зараза приспособилась жить в укрытии и плодиться. Живность из-под гипсов выгоняли прутиками, сломленными в саду, и гипсы, как стены переселенческих барачков, щелястых, плохо беленных, были изукрашены кровавыми мазками давленных клопов и убитых трофейных вшей, которые так ловко на гипсе давились ногтем, так покорно хрустели, что вызывали мстительные чувства в душах победителей.

И нас, новичков, почти всех заключили в гипсы, размотав наросты ссохшихся за долгий путь бинтов, где часто не перевязывали, лишь подбинтовывали раненых, обещая, что «на месте», в стационаре, всех приведут в порядок, сделают кому надо настоящие перевязки, кому и операции. Раны наши отмочили, обработали йодом – спиртику почти не водилось, его выпивали еще на дальних подступах к госпиталю.

Человек пять из «наших» увезли на машине в центральное отделение госпиталя и вскоре оттуда в наш изолятор вернули Стеньку Разина – старшего сержанта Сысоева. Допился он и догулялся до крайности. Раненный в локоть, он боль от раны и всякую боль, видать, привык подавлять вином, да еще и по девкам лазил – и руку ему отняли, даже не отняли, выщелочили и вылушили, как там, по-медицински, из самого плеча. Но гангрена уже прошла плечевой сустав, проникла вовнутрь человека – и здоровенный мужик, работавший на сибирском золотом руднике штрейкбрехером, маркшейдером ли – черт их там разберет, этих рудокопов под землей, – из сострадания напоенный старожилками самогонкой, лупил уцелевшим кулачищем в стену и орал одно и то же хриплым голосом, перекаленным в жарком пламени температуры: «Калина-малина, толстый х... у Сталина, толще, чем у Рыкова и у Петра Великого!»

Госпиталь не спал. Раненые толпились у изолятора, похихикивали, близко подходить побаивались, хотя Сысоев был привязан к койке по ногам и по брюху, все долбил и долбил кулаком в стену, будто шахтер обушком, – на стене обнажились лучинки, точно портупейки на спине форсистога офицера, из-под лучинок на постель сыпалась штукатурка и клопы.

Приходил Владыко, отечески вытирал с пылающего лица Сысоева пыль штукатурки своим потом пропитанным платочком. Уяснив, что догорающий ранбольной от него уже очень далеко, не видит никого яростно и восторженно сверкающими глазами, замполит назидательно молвил, подняв тоже толстенный, на суточный грибочек подосиновик похожий палец:

– Во, боец! И в беспамятстве патриотического настроения не утрачивает! А вы регочете! Чего регочете? Над кем регочете? А ну, марш по палатам, рванокальсонники! И-ия-а вот вам! – и потопал на нас, как на малых ребяташек, хромовыми сапогами, распертыми в голенищах бабьими икрами до того, что лопнули

Астафьев Виктор Петрович Весёлый солдат [astafevvictor.ru](http://astafevvictor.ru)  
казенные слабые нитки, и кто-то широкими стежками домодельной дратвой схватил их по шву сзади, чтоб они вовсе не разъехались.

Вновь увезли Сысоева в центральное отделение, на следующую, как сообщил Владыко, операцию. Но ничего уже не могло помочь патристическому сибиряку. Измаявшись в подвальном помещении госпиталя сам и измаяв криком медперсонал и раненых, он трудно и медленно расставался с жизнью. И когда смолк – все облегченно вздохнули, словно бы свалили неудобную, надоевшую поклажу с плеч.

\* \* \*

Владыко приходил в «филиал» играть в шашки. Эту игру он обожал. Радостно хлюпая губами, словно вкусные оладушки смакуя, хватал он с доски шашки «за фук», а если удавалось загнать противника в «сортир» и хватануть дамку, да если две пешки запереть в углу – он цапал за подол рубахи, за кальсонные ошкурки проходящих военных, пучками подтягивал их к себе, не в силах от восторга чувств вымолвить внятное слово, выкашливал мокро: «Ты погляди, погляди, блямба, сор.. сор..тир ка-а-ако-ой кра...си-венький, ка-ако-ой сла-авненький!»

За игрою в шашки Владыко выведывал настроения ранбольных: кто куда ходит, кто с кем спит, кто чего украл или украсть собирается... Больные поражались, как этот зараза может все и про всех знать. Пресекая бунтарские настроения, Владыко волочил раненых в изолятор и, грозя им пальцем, выкладывая малую часть «добытого материала», добавлял намеками, что знает про него «усе»:

– Мот-три у меня, енасть, допрыгаешься!

Кто похитрее из ранбольных, поддавались Владыке в игре, и он им покровительствовал. Но вместе со мною приехал Борька Репяхин, родом из города Бердянска, бывший студент юридического факультета Ростовского университета. Я его выручил деньгами от сапог и пилоткой: двигаясь к вагону санпоезда, пройдя через учет имущества, я незаметно сунул пилотку назад, Борьке Репяхину, что и сдружило нас. Борька еще во Львове драл напропалую блатных, хоть в карты, хоть в шахматы, про шашки и говорить нечего. В санпоезде поиграл, поиграл в азартные игры – и бросил, неинтересно, говорит, денег ни у кого почти нету, да если бы и были – не хочет он обдирать больных людей. Мне он сказал, что с детства мечтал стать юристом, чтоб расчищать «от грязи нашу жизнь», с детства готовился в юристы, досконально изучил не только законы, но и все азартные игры, феню тюремную, подтасовки, мухлевань, «натирку», «подтырку» и все такое прочее.

Борька Репяхин, не садясь на табуретку, стоя, со снисходительной улыбкой на бледных устах, в три минуты обчистил Владыку. Тот покрылся потом, запыхтел и настоял на повторении состязания. Во время второго «сиянца» Борька поставил замполиту в двух углах по «сортину», при этом объяснил заранее, паразит, где их поставит, как именно поставит и через сколько минут.

Большая это была неосторожность со стороны ранбольного Борьки Репяхина. Сокрушенный Владыко ходил туча тучей, орал на всех: «Понаехали тут юр-ристы усякие! И-эх, батьки мать!» – и совсем зажал было госпиталь в кулак, но мы коллективно надели на Борьку, и он, брезгливо кривя губы, многозначительно хмыкая, заводя глаза под потолок, произнес сатирические стишки типа: «Коль музыкантом быть, так надобно уменье, и ум, и голову поразвить...» – поддался Владыке и проиграл ему три партии подряд.

«Исключительно ради нашей дружбы!» – тыкал он мне пальцем в грудь. Владыко тут же подписал телеграмму в Бердянск на вызов Борькиных родителей. Скоро приехала еще молодая, красивая мать Борьки и привезла всякой рыбы, соленой, копченой, да еще и полный жбан самогонки, да еще вишневого варенья и торбу груш. Дед Борьки был бакенщиком на Дону, бабка, естественно, бакенщицей – и они уж постарались, собирая посылку внуку.

Мать Борькина, человек конторской работы, так была рада встрече с сыном, которого и потеряла уж, потому что все они были «под немцем» в Бердянске, а он на фронте, что тоже крепко выпила с нами и, сидя на краешках матрацев, пела, обнявшись с нами: «Что ты, Вася, приуныл, голову повесил? Черны брови опустил, хмуришься – не весел?..»

Вася-саратовский, прозванный так оттого, что из города Саратова родом, один из «наших», еще «львовских», бойцов, действительно приуныл. Под гипсом у него завелись черви, как у многих ранбольных. «И это хорошо, – заверяли нас медики, – черви очищают рану... Очищать-то они, конечно, очищают, но когда им не хватает выделений – они ж плодятся без устали, – черви начинают точить рану, въедаться в живую ткань».

Вася-саратовский с повреждением плечевого сустава, заключенный в огромный, неуклюжий гипс, метался со взятой впереди себя рукой, будто загораживаясь ею от всех или, наоборот, наступая, прислонялся лбом к холодному стеклу, пил воду, пробовал даже самогонку, и все равно уснуть не мог. Черви вылезали из-под гипса, ползали по его исхудалой шее с напрягшимися от боли жилами. Утром давленных и

Астафьев Виктор Петрович Весёлый солдат [astafevvictor.ru](http://astafevvictor.ru)  
извивающихся, мутно-белых этих червей с черными точками голов мы сметали с постели, обирали с гипса и выбрасывали в окно, где уже стаями дежурили приученные к лакомству воробьи. Напоили мы Васю допьяна, он забылся и уснул. Мать ночью уехала, наказывая Боре, чтоб он не проявлял излишнюю строптивость, и сказала, что в следующий раз приедет отец, что дедушка до зимы не сможет – он привязан к бакенам.

\* \* \*

Наутре мы все были разбужены воплями Васи-саратовского. Долго он крепился, терпел, пьяного, неподвижного, его начали есть черви, как трухлое дерево.  
– Братцы! Братцы! – по древнему солдатскому обычаю взывал современный молоденький солдат. – Съмите гипс с меня! Съмите! Доедают... Слышу – доедают! Братцы! Мне страшно! Я не хочу умирать. Я в пехоте был... выжил... Братцы! Спасите! Сунулись мы искать дежурную сестру – нигде нету, врачи сюда находами бывали, санитарка, дежурившая у дверей, отрезала с ненавистью:  
– И знаю я, где эта блядина, но искать не пойду. Мне, хоть все вы сегодня же передохните!..

Черевченко Семен, бывший какого-то сыро-маслосепаратного цеха или фабрики руководитель «хвилиала» от «солдатских масс», отнюдь не революционного настроения, пришел на крик, посмотрел на Васю-саратовского и сказал, что в самом деле надо снимать гипс, иначе парень если не умрет, то к утру от боли с ума сойдет, «бо черви начали есть живое мясо». Сам он, Черевченко Семен, к больному не притронется, «ему ще здесь не надоело...».

С гневом и неистовством пластали мы складниками, вилками, железками на Васе-саратовском гипс, и когда распластали, придавив Васю к полу, с хрустом разломали пластины гипса, нам открылась страшная картина: в гипсе, по щелям его, углам и множеству закоулков клубками копошились черви, куделя шевелилась от вшей. Освещенные клопы – ночная тварь – бегали, суетились по гипсу. В ране горящим цветком, похожим на дикий, мохнатый пион, точно яркое семя в цветке, тычинки ли, шевелимые ветром, лезли друг на друга, оттесняли, сминая тех, кто слабее, черненькими, будто у карандаша, заточенными рыльцами, устремлялись туда, в глубь раны, за жратвой клубки червей. Воронка раны сочилась сукровицей, в глуби – кровью, валяясь в ней, купаясь в красном, рану осушали черви.

Парень, из бывших мастеровых или воров-домушников, открыл гвоздем замок на двери перевязочной, мы достали марганцовку, развели ее в тазу, промыли рану, перебинтовали Васю новым бинтом, высыпали в охотно подставленный рот два порошка люминала – и он уснул воистину мертвым сном. Не стонал, дышал ровно и не слышал, какой визг подняла дежурная сестра, утром явившаяся с поблядок.

Припыхтел в «филиал» Владыко. На машине, на трофейной, до блеска вылизанной, прибыла начальница госпиталя, подполковник медицинской службы Чернявская. Тень в тень вылитая начальница из львовского распределителя, разве что телом еще пышнее и взглядом наглее. Брезгливо ступив в нашу палату, отпнув от дверей веник, которым мы ночью сметали с матрацев червей, клопов и вшей, натрясенных из Васиного гипса, она рыкнула на санитарку. Издали, от дверей же, мельком глянула на младенчески-тихо спящего Васю, обвела нас непримиримым, закоренелой ненавистью утомленным взором давно, тревожно и несправедливо живущего человека.

– Та-ак! – криво усмехнулось медицинское светило.

– Вы бы хоть поздоровались! – подал голос кто-то из раненых. – Первый раз видимся...

– Та-ак! – повторила начальница многозначительно, не удостоив ответом ранбольного. – Самолечением занимаемся?! Двери взламываем! Похищаем ценные медпрепараты! Угрожаем медперсоналу! – Она, все так же держа руки в боки, мужицкие, хваткие руки бывшего хирурга с маникюром на ногтях и золотыми кольцами на пальцах, еще раз прошлась взглядом, затем и сапожками по палате перед опешившим народом. – Вы что, может, приказов не читали? Может, вам их почитать? Почитать, спрашиваю?

– Дак что же, почитайте, – подал голос боец из «львовской артели», Анкудин Анкудинов, друг Стеньки Разина – Сысоева, не одиножды раненный и битый. – Мы послушаем. Все одно делать нечего.

– Кто сказал? Кто?

– Да я сказал! – выступил вперед в мужицкие зрелые лета вошедший, крупный, костлявый боец Анкудин Анкудинов. – Ну че уставилась-то?! Да я немца с автоматом видел! В упор! Поняла? И я его убил, а не он меня. Поняла?!

– Поняла!.. Поняла!.. – запритопывала в бешенстве начищенным до блеска сапогом подполковница Чернявская и закусила губу.

Вышла осечка. Она уже, видать, не раз и не два ходила в атаку на ранбольных, сминала их и рассеивала, а затем расправлялась с ними поодиночке

Астафьев Виктор Петрович Весёлый солдат [astafevvictor.ru](http://astafevvictor.ru)  
предоставленными ей отовсюду и всякими средствами и способами – и все «на законном основании».

– Поняла... – повторила она, обретая спокойную власть. – Тебе, соколик, захотелось в штрафную?

– А ты слыхала поговорку: «Не стражай девку мудями, она весь х... видала»? Грубовато, конечно, но ты, сучка, инога и не стоишь, вместе со своим закаблучником замполитом и ворьем, тебя облепившим. Госпиталь этот фашистский мы те припомним! Сколько ты тут народу угробила? Сколько на тот свет свела? Где Петя Сысоев? Где? – я тя спрашиваю.

– Какой Петя? Какой Петя?

– Такой Петя! Друг мой и разведчик, каких на фронте мало.

– Мы тысячи! Тысячи! – слышишь ты, выродок, – тысячи в строй вернули! А ты тут с Петей своим! Такой же, как ты, бандит!

– Бандит с тремя орденами Славы?! Со звездой Красной, добытой еще на финской?! С благодарностями Иосифа Виссарионовича Сталина?! Бандит, четырежды раненный!.. Бандит, пизданувший немецкого полковника из штаба, с документами!.. Это ты хочешь сказать?! Это?!

– Не имеет значения! Мы еще разберемся, что ты за птица!

– Не зря, видно, говорится в народе: «Жизнь дает только Бог, а отнимает всякая гадина», – поддержал Анкудина пожилой сапер, встрял в разговор и Борька Репяхин:

– Разбирайтесь! Мы тоже тут кое в чем разберемся! Узнаем, кем вы на эту должность приставлены! Может, Геббельсом?..

– Заговор, да? Коллективка, да? Н-ну, я вам покажу!.. Я вам... – Начальница госпиталя круто повернулась и ушла, хлопнув дверь.

Владыко, топтавшийся сзади нее, облитый потоками пота, повторявший одно и то же: «Товаришши! Товаришши! Что такое? Что?» – остался в палате, потоптался и сокрушенно сказал:

– Ну, товаришши...

– А ты, лепеха коровьего говна, вон отсюда, – рывкнул Анкудин Анкудинов, – пока мы тебя не взяли в костыли!..

Владыко будто ветром смело. Анкудин Анкудинов заметался по палате, сжимая кулаки, выкрикивая ругательства. Остановился, спросил у Борьки Репяхина, не осталось ли выпить. Прямо из горла вылил в себя полбутылки самогона, отплюнулся, закурил:

– А, с-сука! А-а, тварь! Наворовалась за войну, ..блась досыта! Крови солдатской напилась и права качает! А-а-а... – обвел взглядом всех нас. – Не робей, братва! Хуже того, что есть, не будет. Оне молодцы супротив овцы!.. – С этими словами Анкудин Анкудинов упал на матрац, уснул безмятежно и проспал до самого обеда.

Глядя на Анкудина, мы тоже позапозлали на постеленки, чуть отодвинувшись от Васи-саратовского, чтобы не задеть его, да и тоже устало позасыпали, и тоже проснулись в обед. Васю добудиться не могли, суп его и кашу поделили. Пайки хлеба, уже четыре, и пакетик с сахаром положили над его изголовьем на подоконник.

\* \* \*

И ничего не было! Наоборот! Стало мягче и легче. Сестра, что дежурила в ту ночь, была уволена из госпиталя «за халатное отношение к своим обязанностям», как гласило в приказе, подписанном подполковником медицинской службы Чернявской, замполитом Владыко и еще кем-то. Чаше нас стали осматривать и выслушивать. Ночью теперь должен был неусыпно бдить в «филиале» дежурный врач, свежих бинтов подбросили, кормить лучше стали.

Но госпиталь в станице был уже до того тоже болен, запущен, ограблен и «самостиен», что сделать с ним что-то, поставить его на ноги было невозможно. Под видом того, что советским детям нужна школа, госпиталь решено было все-таки расформировать, о чем ходили все более упорные слухи, и, наверное, подполковник Чернявская переведена была бы в другой госпиталь, получила звание полковника, может, и генерала. После войны где-нибудь в «генеральском районе» – под Симферополем, на берегу водохранилища – выстроила бы дачу, вырастила и вскормила одного или двух деток. Отойдя от военных дел, ездила бы как ветеран на встречи с другими ветеранами войны из санупра, увешанными орденами, целовалась бы с ними, плакала, пела песенки «тех незабвенных лет».

\* \* \*

До столкновения с высокопоставленной медицинской дамой жизнь наша развивалась так.

Как только нас помыли, или «побанили», как тут эта процедура называлась, в полутемной, сырой комнате едва «живой» водой – «дров нэма, дрова уворованы, для самогонки», – пояснила нам словоохотливая истопница – заковали нас в «латы», то



Астафьев Виктор Петрович Весёлый солдат [astafevvictor.ru](http://astafevvictor.ru) есть в гипсы, определили, кому в какой палате лежать, но тут же и оставили в покое, тут же мы поступили в распоряжение Семена Черевченко, который кем-то и когда-то был выбран старшим, скорей всего и не был выбран, скорей всего сам пробился на должность...

Еще молодой, выгулявшийся мужик, неизвестно, когда и куда раненный, со сросшимися по-кавказски на переносе бровями, вроде бы никогда никуда не спешащий и все же везде поспевающий, все и про всех знающий, не помощник, просто клад тихоходному и тугодумному Владыко был этот нештатный руководитель. За полтора года своей деятельности он достиг того, что в «хвилиале» в основном остались на долговременное лечение одни только «братья» – шестерки, наушники и подхалимы.

Собравши всех нас, новичков, в одну большую палату и рассадив подле стен, Черевченко сделал короткую, зато очень внушительную информацию:

– Госпиталь действительно был «хвашистский». Несколько человек после ухода немцев и отъезда ихнего медначальства из госпиталя были удалены, судимы – для примера расстреляны. Младший же персонал как работал и где работал, так и остался, бо дэ узяти других. Рентгенолога, наприклад, лаборантку, або аппаратчицю, або повара? Уборщицю в станицы знайдэшь, санитарку знайдэшь, навидь качегара знайдэшь – специалиста дэ узяти?..

Население Хасюринской с немцами жило дружно, боялось фашистов, потому и почитало, роднянских же червоноармейцев воно презирае за бедность и слабохарактерность – при случае досаждает, даже мстить, чаще усего трыпером, по выбору портя бойцов, совращая молоденьких, ще не знающих, куда вона комлем лежить...

Было несколько самоубийств, три хлопца утопились в реке, один на гори, на чердаке, значит, бинтом задушивсь. Другий, молодой охвицер з центрального территория, спиймав того трыперу, из утаенного пистолета забив тремя пулями заразну блядь, сам пийшов до саду и тэж пустыв соби пулу у рот...

– Такэ молодехонько, такэ нэжно ж хлопчико було. Романы читал та стишки в самодеятельности декламировал, – вздохнул кто-то из помощников Черевченко. – Колы хоронялы того охвицера-хлопца, уси плакали.

Черевченко скорбно подождал, не перебивая помощника, и продолжал в том духе, что «сыхвилису» в станице, слава Богу, нет и колы хто завиз его со Львова, або з закордону, вид тых блядей-паненок, хай сразу сознається и лечиться, бо приговор один: того «генерала з червоной голивкою» раптом сказнить и його блядь сифилисную спалить у хати и разом з хатою, щоб пид корень, щоб ниякой заразы нэ було, щоб нэ косила вона людэй, потрибных хронту...

Далее Черевченко рассказал, как и какими методами здесь от триппера лечатся, «бо його так багато оставили фашисты, що потрибна бэзпощадна, бэзкомпромисна боротьба». Значит, поставлено так: «Якщо у якої бабы чи дивчины хлопэць з госпиталю побував та добыв ту заразу, то до тої хаты, до тої бабы, або дивчины идэ бригада хлопцев и вимагае контрибуцию!» Нет денег – конфискует имущество или живность какую продает населению и на вырученные деньги покупает сульфидин и стрептоцид у тех же работников медицины, «бо вны ще при нимцях, да поки наши не прийшлы, уси мэдпрепараты пораз...дили».

Никакой партизанщины, никакой самостийности более не допускается – самоубийства прекратились и порядок в станице наведен. Во всяком случае, когда к трипперной бабе или дивчине приходит бригада хлопцев, она голосить, но гроши, «колы нэма грошей, имущество виддае» без сопротивления, почти добровольно.

– Что бывает с теми, кто нарушает законы коллектива и действует по-партизански, самостоятельно? – примерно так, с четкостью законника, сформулировал вопрос будущий юрист Борька Репяхин.

Черевченко поглядел в его сторону, выдержал значительную паузу, как и полагается на широком общественном собрании:

– Робыло в «хвилиале» такэ молодэсэнько, такэ румьянэнько, такэ жопастэнько существо, пид назвою Воктябрыночка. Воно помогало санитарке – маме Хвеодосье, що допиру сыдыть ничью пид двирью та голосыть, щоб уси мы подохлы. Чому Хвеодосья так голосыть? Почекайте. Воно, то румьянэнько, то жопастэнько вэртытьсья по госпиталю, кашу раздае та кружки, та тарилки з ложкамы по палатам носыть – до судна й до утоки мамо Воктябрыночку нэ допускае, чисту ей работу шукае. Вона, та Воктябрыночка, ще при нимцях мами безплатно зпомогала зарплату и паек вже наши ей дали и у штат зачислылы. Нимци Воктябрыночку в Эмму перейменовалы, бо им тяжко, а може и не хотилось вымолвлять революційно имья. Нимци ж ту Эммочку за колечки та за шоколадки, та за тряпки и усяки цацки драли у сараи, за сараем и дэ тильки можно. А мама усе порхае, як курочка квохче: «Моя доня! Моя крапонька! Моя мыла дытыночку! Мой бильый мотылечечку...»

Нимци втыклы. Той мотылечечек запорхав перед червоною армиею, но никому ж, курва, нэ дае, хронту нэ помагае. У хлопцев вид мотылечку кальсоны рвуться, воны

Астафьев Виктор Петрович Весёлый солдат [astafevvictor.ru](http://astafevvictor.ru)

плохо спяты, бэз апетиту кушають. Що таке? Що за крипость така, що нэ здається? Мабуць, ий гроши, колечко золотэ, бусы, авторучку? А у кого вни е? Хто мог, ще дорогою реалізував. Да ничего нэ берэ мотылечечек, нікому нэ дае! Во блядь так блядь! Но дэ е та сила, щоб пэрэд червоною армією устояла? У Европи такои силы нэмае! Мабуць, у Амэрици, або у Японии? Придэ час, провирьмо. Ею, тою крипостью, заволодыв сибірака по хвамилиі Бэзматэрных. Такий сэрьезный хлопець, мовчун, танком пид Курском на таран ходыв. «Тигру» пидмяв. Та нэ просту «тигру», а якусь особого, небаченно – страшного панцырю – усього чотыри таких було пид Курском! Так шо йому та Воктябрыночка?! Протаранив! И мовчить. Дэнь мовчить. Два мовчить. Нэдилю мовчить и усе до сортиру сигае. Потим спать сибірака перестав, потим матэритыся почав, скрызъ зубы: «Ну ж я им устрою Курску дугу! Таку мисть знайду – уся Кубань содрогнется!»

Сибірака слов на витер нэ кидает! От, бачьте гам, содом! Бушует Хвеодосья, мамо Воктябрыночки. Вытрибуе Бэзматэрных на суд. Вин и ухом нэ вэдэ, лэжить, кныжку читае пид назвою «Как закалялась сталь». А Хвеодосья шумыть: «Зараза кругом! Мэни тим трепаком знагорадыв той герой – сибірака, щоб ему грэць! Я баба честна! Первший раз за войну дала – и збараз лезуртат маю».

Поднявсь той сибірака Бэзматэрных з матрасу, потянувсь, зивнув, у бой зибравсь... Во вытримка! Во стийкість! Выходить у коридор, та як рявкнэ на Хвеодосью: «Нэ гомоны!» – вона и заткнулась! А вин так з расстановкою, як у суду, каже: «Пиды до своей дочки, до мотылька того, и поблагодары ии за нагороду: вона – мэни, я – тоби, – у нас же ж держава братська, усе пополам...»

Ну, такого гэроя швыдко у строй звэрнули, нэдавно у газэти було, шо вин ще когось протараныв, йому Золоту Зирку далбы!.. Йому б ии раниш далы, та вин начальства нэ слухает, пье, собака. Устав нэ почитает...

На этом информация и собрание закончились – начался обед. Но после обеда, когда Черевченко отлучился из госпиталя по делам, его помощники сообщили много любопытных вещей и про него, и про дела, им творимые. Та же бригада, что наказывает грешниц баб, состоящая из отлынивающих от фронта бойцов, начала ходить в поля и из бункеров комбайнов или прямо из куч уносить, а то и с помощью станичников «исполну» увозить зерно, забрасывая его в известные им хаты. Заквашивается самогонка и ночью же где-нибудь ломается забор, тын, сваливаются старые телеграфные столбы на дрова, «бо з дровамы здись цила проблэма», и начинается производство самогонки.

Потом, опять же в определенных хатах, собираются бабы, ранбольные на бал, начинаются песни, танцы и все, что дальше, после гулянки, полагается.

Новички чему-то верили, чему-то нет – уж больно райское житье было обрисовано. Но явился Черевченко, поставил средь пола кухонный немецкий термос, полный свежайшего, еще с теплинкой самогона, дал всем попробовать и оценить качество, после чего началась «художественная часть», главную роль снова на себя взял Черевченко.

Он поставил стул, на стул – кружку с самогоном, взялся за спинку стула, откинул длинно отросшие черные волосы пятерней назад. Старики хохлы ерзали от нетерпения и, заранее радуясь потехе, голосили: «Що щас будэ! Ой, хлопци, що щас будэ!»

– Вэлыкий украинский поэт Котляревський! Эпохальна и бэзсмертна поэма «Ви-с-сна!», – объявил Черевченко и смолк, пережидая треск аплодисментов, которыми его наградили старожилы, уже не раз и не два слушавшие «бессмертное произведение». – Эпиг-раф! – продолжал Черевченко. – «Усяке дыханья любить попыханья», – и снова вежливо переждал аплодисменты уже наэлектризованной публики:

Висна прийшла, вороны кричуть, що насэляли тыхий гай. Вид вутому кругом все стогнэть, скачэть, и увязь рвэ в хлеву бугай... На этом вступительном четверостишье все «приличное» в «Весне» кончалось, далее шла поэма на тему, примерно означенную в озорной и короткой русской поговорке: «Весною щепка на щепку лезет». У «вэлыкого украинского поэта Котляревського» это звучит почти так же: «И тризка лизе на сучок».

Будучи молодым и остроухим, я ту довольно длинную поэму запомнил наизусть, немало потешил ею в свое время разный служивый народ, но, занятый послевоенной битвой за жизнь, за давностью лет, также в отсутствие практики почти забыл «бессмертно-эпохальное произведение» – поэтическое детище солдатских казарм, тюремных камер и разных тесных мест, где «массовая культура» так любит процветать.

\* \* \*

И хотя погода по-прежнему стояла золотая, все умеющие ходить и ползать ранбольные дни напролет проводили во дворе, в саду, кто и подле речки – все равно время тянулось нудно и по-прежнему почти никакого лечения не велось.

Астафьев Виктор Петрович Весёлый солдат [astafevvictor.ru](http://astafevvictor.ru)

Ропот, конечно, ругань, нежелательные разговорчики. Заводил их обычно Черевченко или его подручные, напирая на то, что как раз немецкий порядок нам не нравится и мы его не только не приняли, но и порушили, гоним немца в хвост и в гриву, «до дому, до хаты», значит, нам ничего другого не останется, как жить при советском бардаке, терпеть его и умело им пользоваться. Как бы между прочим штатные госпитальные «братья» и кубанцы-молодцы со смешками и ужимками поведали, какой в Хасюринской странице был молодой, однако мозговитый немецкий комендант. Прибегала к нему девка, бух в ноги, жалуется: местный удалец обрюхатил ее, но жениться не хочет. Комендант вызвал прелюбодея, поставил на колени подле комендатуры и порол его плетью до тех пор, пока тот не дал добровольное согласие жениться на любимой невесте. А то еще было: за Кубанью есть широченная, необъятная бахча и кто только не пользовался ею при Советах, кто только с нее не тасил и не вез! Немецкий комендант содержал при себе небольшой штат из местных казаков: он-де не может отрывать солдат фюрера, нужных фронту, это большевики могут себе позволить иметь в тылу тучи бездельников и воров, у них в стране население сто восемьдесят миллионов против восьмидесяти германских! Так вот, немецкий комендант велел по всем четырем углам бахчевого поля поставить по виселице и заявил, что каждого, кто украдет арбуз, он вздернет самолично! И ни одного плода не пропало. К полю-то близко подходить боялись громодяне, не только что красть. Ценный опыт того смышленного коменданта был распространен по всем бывшим социалистическим полям, о чем я уже сообщал в одной из своих повестей.

«И правильно! Пусть орду этот будет, мать его так, вещь у нас необходимая. А то вон пшеницу гребут с полей, кукурузу пообломали еще неспелую, сады обтрясли, помидоры на кустах обобрали, картошку в поле которую вырыли, на которую чушек напустили. Все пьют, блядуют, госпиталь этот расхристанный какой пример подает?!» – роптали и ругались станичники.

Развлекали ранбольные друг дружку, как могли. Один гренадер с насквозь пробитыми легкими курил, и дым валил у него со спины из-под гипса – это ли не потеха! Кто ушами шевелил, кто выпердывал целый куплет здешней любимой песни «Распрягайте, хлопцы, коней», но рекордсменом потех был редкостный человек и неслыханный боец, умеющий носить полный котелок воды на совершенно озверевшем, огнедышащем члене, – толпы собирал этот фокусник, по национальности грек, заверявший, что для греков этакая штука – рядовое явление.

\* \* \*

Но все же основные развлечения среди горемык, изнывающих от безделья, были разговоры про фронт, про баб, особенным успехом пользовались анекдоты и рассказы женатиков про женитьбу и про то, как немилосердно, наповал сражали «ихого брата» смелые, находчивые и хитрые истребители женского пола.

Большинство тех баек окажется пустой болтовней, брехологией, сочинениями людей не особо гордых на выдумку, но кто не хочет – не слушай, другим слушать не мешай. И не мешали, слушали, давили горе и боль изгальным смехом, потехами и юмором, нисколько, впрочем, по качеству не уступающим тем развлечениям, что показывают ныне трудящимся по телевизору во всем мире и у нас в России тоже никому в потехе тюремного и казарменного свойства не уступят.

Ох уж эти потешки солдатские!

Не то молодой, не то старый танкист с одной бровью, с одним ухом, с одним глазом и с половиной носа – вторая половина лица залеплена лоскутьями чьей-то кожи, оголенный глаз, без ресниц, жил, смотрел как бы совсем отдельно от другой половины лица, словно бы сляпанной из розового пластилина. Был на восстановленной половине лица кусочек кожи, на котором резво кучерявились черные волосы. Орлы боевые, веселясь, внушали танкисту, что заплатка, мол, прилеплена с причинного бабьего места; и как только в бане мужик путевый к танкисту приблизится – щека у него начинает дергаться, волосы на заплате потеют. Танкист этот, страдающий еще и припадками, не только потешал хлопцев смешной щекой, он еще, заикаясь, высказывался: в этом госпитале, дескать, жить еще можно, тепло здесь пока, жратвы досыта, воля вольная, вон они, танкисты с третьей гвардейской танковой армии, жженые, битые, мотались-мотались в санколоне, их нигде не берут – госпиталя переполнены, но санколоне-то надо быть в определенный час на определенном месте, иначе начальника колонны на передовой застрелят – там свой суд и порядки свои! Он придумал «ход», не раз, видать, испытанный: взял и возле одного госпиталя во дворе выгрузил раненых, аж сто пятьдесят штук, подорожные под них подсунув.

Все раненые мужики – горелые, разбитые дальней дорогой, – как колонна машин смоталась, в голос плакали. В госпитале сжалились над ними, растолкали по коридорам, перевязочным, санпропускникам, изоляторам. И, конечно, пока дополнительно выхлопотали под новых раненых паек, медикаменты, имущество, сто

Астафьев Виктор Петрович Весёлый солдат [astafevvictor.ru](http://astafevvictor.ru)  
пятьдесят тех штук существовали за счет других раненых, при том же медперсонале, при тех же объемах помещения и средств оплаты труда. Кому такое понравится? Ругали, крыли, долго «чужими» считали танкистов и обращались с подкинутыми соответственно.

За танкистом сапер в разговор вступил, сперва долго мосты и переправы материл, затем тех, кто его в саперы определил. Обезножил он еще на Днепре, бродя осенью в холодной воде дни и ночи, кормят же при такой тяжелой работе – по скудной норме жиров и мяса дают, как тыловикам. «Все вон, слушаешь, бабушкиным аттестатом удачно пользовались, и мы пользовались, когда время поспособствует, да какое у сапера время? На одной картошке поработай, потаскай бревна, железо и всякие тяжести... Поносом замаялись саперы. Все эти хваленые переправы задристаны, заблеваны саперами да ихой кровью залиты. Хваленая водка не греет – ее, милую, пока до сапера довезут, поразбавляют в бочонках так, что она керосином, ссакой, чем угодно пахнет, но градусов в ей уже нету»...

– Вон, то ли дело летчики! Им и чеколады, и водка, и мясо – все!

Нашелся человек из авиации. Не завидуйте, сказал, нашей жизни. У всех у вас есть главное – земля под ногами. А там? Там бывали такие моменты, что согласился бы все бревна перетаскать, середь льдин плавать и бродить, одной картошкой питаться, только чтоб она, земля родимая, под ногами была, но не гибельная пустота...

Привыкшие на передовой, в своих частях, при своей братве к свободе слова, каляли бывшие вояки о том да о сем, и начинали их в центральное помещение «на процедуры» вызывать.

К начальнику особого отдела, который «на свет» не показывался, жил в Краснодаре и в Хасюринскую наезжал раз в неделю – для «профилактической работы». Видимо, танкист, которому уже нечего было терять: никуда он уже не годился, надерзил надзорному начальнику – и в несколько дней был комиссован домой, в Пензенскую область. Остальные говоруны попримолкли, косились на Черевченко, на его сподручных, сулились, как поправятся и сил накопят, выковырять ему вилкой глаз или язык выдернуть. Он удивленно, панибратски лип ко всем: «Та що вы, хлопцы?! Та я . . . Та тому начальнику!..»

Анкудина Анкудинова никуда не вызывали и вообще больше ничем не тревожили. Зато он вызвал Черевченко за сарай и зачем-то прихватил меня. Там, за сараем, он вынул из-за пазухи финку с фасонной наборной ручкой, просквоженной двумя позолоченными полосками, и с позолотой на торце лезвия. Финку эту на виду у всех Анкудин точил об кирпич несколько дней и, когда вынул, предложил Черевченко попробовать острие.

– Нет, не пальцем! – сказал он Черевченко, охотно дернувшемуся рукой к ножу. – языком! – и повторил с обыденной интонацией: – Длиннен он у тебя больно, другой раз ополовиню.

\* \* \*

После того, как мы узнали, что Анкудин с Петей Сысоевым дюзганули немецкого полковника, пристали с расспросами, как да что было. И Анкудин, сперва неохотно, затем разойдясь, рассказал, что на фронт ушел добровольцем в сорок еще первом, с горноалтайских серебряных разработок, где трудился после окончания техникума мастером. Там и свела судьба их с Петей Сысоевым. Вместе они и в военкомат ходили, вместе на десантников учились, вместе и в тыл врага были брошены, вместе из окружения уходили, какое-то время партизанили. Потом их на этого разнесчастного полковника охотиться заставили, и неделю они его, суку, взять не могли, целым разведотрядом ползали на брюхе – не подступиться было. Командованию же нашему надо было знать точно о начале контрнаступления противника на Вяземском направлении. И вот дождались того, что из немецкого штаба группы армий поступили бумаги и планы. Полковник тот, мать бы его растуды, выехал на передовые позиции, причем не в село либо в город, неподалеку от фронта которые, а напрямик в окопы, чтобы из рук в руки передать схемы дислокации и приказы полевым командирам.

Тут-то, выполнив задание, проведя оперативное совещание с командирами передовых подразделений, полковник позволил себе расслабиться, выпил, ему поиграли на мандолине, он пошел и остался спать в одном из блиндажей штаба полка. Двое часовых у входа в блиндаж. Наверху – патруль, в траншеях – сторожевые, за траншеями, ближе к нейтральной полосе, – боевые охранения ракетами пуляют – не очень-то разгуляешься.

Но зима, холод – союзники разведчика! За полночь вывездило, звонко стало от мороза, задымили все блиндажи, землянки и траншеи у немцев на передовой.

Вот и удача: побег один часовой за дровами, начал в минометном «дворике» ящики ломать, винтовку, конечно, в сторону отложил. Тут его и пристукнули, тут с него

Астафьев Виктор Петрович Весёлый солдат [astafevvictor.ru](http://astafevvictor.ru)

каска сняли, шинеленку и все это на Анкудина напялили. Набрал он беремя дров, спешит дорогого полковника-тыловика обогреть. Второй часовой и охнуть не успел, как ему пасть заткнули и приколотили его, чтоб не дрыгался. С полковником тоже все обошлось. Спал он уже крепко на топчане, укрывшись одеялом. Петя Сысоев разбудил его и говорит: «Гутен морген!» – к горлу ему финку, теперь уже по-русски: «Только пикни, сволота!» – и вот ведь что делает власть над человеком, кураж этот проклятый, вяжут они полковника, снаряжают в путь-дорогу и того не видят, что в темном углу блиндажа, зажавшись в землю, затаился немчик-холуй с ножом своего господина, имеющим фамильный знак. Он лучинки щепал и в печурку подкладывал, чтоб господину хорошо в тепле спалось. А тут эти тени вместо болвана часового, которому он, холуй, приказал принести дров, и тот еще ворчал что-то, не хотел идти. Но холуй пообещал ему дать возможность погреться в штабном блиндаже, возле печурки, часовой и пошел за дровами...

Холуй не то чтобы очухался в углу, за печуркой, холую просто страшно за своего господина, которого валяли, давили на топчане жуткие привидения, господин хрипел, выкашливал что-то. Тонко взвизгнув, почти не глядя, холуй сунул обеими руками нож в мелькавшее перед ним привидение, бросился из блиндажа, но уже в проходе был уронен ребятами из группы захвата, тут же и придушен. Широка спина у Анкудина Анкудинова – не промажешь, нож торчал под лопаткой. Пока разведчики смывались с фашистской передовой, пока миновали боевые охранения, потом и зону заграждения, у Анкудина натекли полные валенки крови, замокрело и клеилось в штанах, он упал на снег: «Не могу! Братва-а-а... не могу...»

Полковника волокли на саперных салазках, грубо сколоченных из неструганных досок. На салазках немцы подвозили мотки колючей проволоки и колья. Петя Сысоев сдернул полковника с салазок, бросил на них свою шинель, опрокинул на салазки друга Анкудина Анкудинова, сверху на него навалил полковника, прихватив раненого чьей-то обмоткой и ремнем, прошипел полковнику: «Грей, сука!» – и разведчики снова рванули к своим траншеям, подальше от света ракет, от густеющего немецкого огня, от слабеющего треска ручного пулемета и автоматов группы прикрытия.

Петя Сысоев не велел вынимать из спины Анкудина нож, так поступают охотники, и наваленный на него сверху полковник своей тяжестью пропорол русского разведчика насквозь. Анкудин Анкудинов уже не помнил, когда оказался в траншее, затем в медсанбате.

Анкудину Анкудинову и Пете Сысоеву сулили звание Героя Советского Союза за того полковника, но взяли его все же поздно: за оставшиеся до наступления часы командование фронта успело подбросить на передовую лишь кое-что и малость укрепиться, немцы скоро прорвали оборону первой линии, на второй противник нарвался на более или менее организованную оборону, упорное сопротивление. Контрудар, так секретно готовившийся немцами, был сорван, и за это дали звание Героя начальнику разведотдела дивизии и замполиту пехотного полка, который будто бы самыми умными советами обеспечил выход разведчиков с языком.

Само собою, ни того, ни другого Героя разведчики в глаза не видели и узнали о их подвигах из газет. Оставшихся в живых разведчиков наградили орденами и медалями, наиболее же отличившихся Петю Сысоева и Анкудина Анкудинова – вторыми орденами Славы, затем и третьими, однако ж и еще одну награду получил Анкудин – эмфизему левого легкого и время от времени открывающееся внутреннее кровотечение. Таежное поверье, усвоенное Петей Сысоевым от алтайских охотников, что не надо вынимать нож из свежей раны, коли вынул, рану чем-нибудь затыкай и перевязывай, иначе кровь через нее утечет, – поверье это дорого стоило Анкудину Анкудинову: он послабел силой, кашлял кровью, «маялся нутром», но был еще несгибаем духом.

Он заставил лизнуть лезвие ножа госпитального сексота, ножа, как я догадался, вынутого из тела своего, с тем самым старинным фамильным германским знаком какого-то знатного, древнего рода вестфальцев или пруссаков, на протяжении всего своего воинственного пути украшающих себя, дворцы свои и древние замки оружием и от веку бряцающих оружием перед ошарашенно-трусливой Европой.

Рот Черевченко наполнился кровью. Поглядев на желтоватое скуластое лицо Анкудина, брезгливо вытирающего лезвие ножа листом подорожника, он сплюнул кровь, зажал рот левой рукой, правую поднял до «горы», что означало: «Я все понял!»

– Иди! – сказал Анкудин Анкудинов тихо, увесисто. – И засыпь свою поганую пасть стрептоцидом!.. Иль попроси парней насрать в нее – моча всякую заразу обезвреживает.

\* \* \*

Дня через три мужики пили «отвальную». Анкудина Анкудинова направляли в Москву, в какой-то специальный пульманологический госпиталь. Ребята подумали, что под таким мудреным названием скрывается тюрьма или лагерь какой, но Анкудин успокоил

Астафьев Виктор Петрович Весёлый солдат [astafevvictor.ru](http://astafevvictor.ru)  
ранбольных, сказав, что это в самом деле госпиталь, и госпиталь непременно хороший, в плохой его более не пошлют...

И все же печален был Анкудин Анкудинов, печален и трезв. Выпивка не брала его, да и почти не пил он, только прикладывался к стопке. Гуляли мужики в избе госпитальной лаборантки. Анкудин Анкудинов ходил сдавать ей кровь на анализ и «разговорился». Лаборантка Лиза уже входила в серьезное, кубанское тело, но еще вовсе не растолстела, еще швы не расходились на ее платье, белые волосы, закрученные в валы на шее и подле висков, придавали ей молоджавости, она казалась чуть перезрелой, но все еще легкомысленной аппетитной пышкой, хотя и проскальзывало в ней порою отчуждение, взгляд делался холодновато-тоскливым, сдавалось тогда, что смешливая бабенка эта – себе на уме.

Лиза мимоходом, будто вскользь, взглядывала на Анкудина Анкудинова, подкладывала ему в тарелку что повкуснее и подливала в рюмку. Бывший разведчик вел степенный разговор, но успевал поблагодарить подругу за внимание. Еще в вагоне я заметил, что пил он мало и аккуратно. Но как-то уж так получалось, что он вроде бы все время активно участвовал в застолье, был его центром и главой. Уж не старообрядка ли фекла научила его этому ненавязчивому, исподволь происходящему чувству собственного достоинства? О фекле своей Анкудин Анкудинов рассказывал охотней, чем о подвигах на войне. Немало мы посмеялись, слушая о том, как, еще будучи студентом-дипломником, на практике, где-то на границе Алтая с Монголией, он откопал утаенное старообрядческое село и увел из него синеглазую, белолицую девку, крестившуюся двуперстием, знавшую грамоту по раскольничьим книгам.

Принесла она с собой в дом Анкудиновых медный складень, прибила его над кроватью, молилась по три раза на дню, пока дети не пошли. Норму моления она сбавляла по ребятам: родился первенец – по два раза молиться стала; родился второй – по утрам или вечером, да еще по святым праздникам. Анкудиновы-старшие, державшие на стене портреты Сталина, Ленина и Карла Маркса, терпеливо и настойчиво перевоспитывали невестку, но успеха не имели. Более того, начали задумываться над передовыми теориями, и выходило, что как Карл Маркс с Фридрихом Энгельсом, как и старообрядка-невестка стоят за честную, справедливую и чистую жизнь, без воровства, прелюбодеяния и всякой наглости, только – по передовой теории – властвовать и царить могла лишь диктатура пролетариата, и эта диктатура должна вырвать под корень, «до основания» всех, кто с нею не согласен, потом уж: «Мы наш, мы новый мир построим...» Стало быть, здание нового мира, как и тысячу лет назад, счастье народное, опять-таки, как ни крути, создавалось с помощью насилия. А вот невестка в молитвах призывала к терпению, покорности судьбе, согласию людей во всем, кроме «чистой» веры. Да кабы только призывала?! Призывать-то и сами Анкудиновы горазды были, подрали в молодости глотки, чаще всего орали неизвестно зачем и призывали, не понимая, к чему.

Невестка делала добро и работу не торопясь, без крика и все же везде поспевая и постепенно овладела домом Анкудиновых, стала его главой и предводителем. Бывшие горлопаны-партизаны и партийцы – старшие Анкудиновы охотно свалили на феклу все хозяйство, сами подались было в общественники, чтобы выступать на собраниях и во время выборов не только с пламенным словом, но и с концертами. Дед Анкудинов рокотал непримиримо: «Под тяжким разрывом гремучих гранат отряд коммунаров сражался!..» И когда наступал черед хору сомкнуть рты и только однотонно мычать, в действие вступала бабка Анкудиниха. «Мы на горе всем буржуйам мировой пожар раздуем!» – верещала она, и аж горло у людей стискивало – вот как здорово у них получалось!

Но как война началась, стало не до хора и не до декламаций. Отец снова спустился в рудник, чтобы золотом крепить оборону страны. Анкудиниха, маявшаяся грудью, засела дома, с ребятами. Невестка же ломилась на социалистических полях колхоза «Марат», вышла в бригадиры, мать жаловалась в письме: научила всю бригаду не только честно и ударно работать, но и молиться за упокой убиенных на войне, за здоровье живых, ее, Анкудиниху, тоже допекла, понуждает кланяться, каяться в грехах, окрестила ребятешек – недопустимый срам! – заставляет носить на шее крестики и в вере своей как была несгибаема, такой и осталась, пожалуй что даже и неистойей с годами сделалась, и она, Анкудиниха, уж думает иногда, что некоторым коммунистам, окопавшимся по тыловым колхозам, приискам и лесам, не мешало бы у невестки феклы кой-чего и в пример взять.

Лиза нависла на плечо Анкудина, он ее не сгонял, но, усмехаясь, говорил: – Ох, будет мне от моей феклы баня. Будет!.. – сморщился: – Покаяться ведь заставит!.. Да не хмурьтесь вы, хлопцы, не переживайте за меня. Было б заче хватиться, они б меня тут же схарчили! И вы живите так, чтоб не за что хватиться, не потому что извилисты, скользки, а потому что прямы. Надо жить так, чтобы спалось всегда спокойно. Это главное. Но мандавошка та, с белыми

Астафьев Виктор Петрович Весёлый солдат [astafevvictor.ru](http://astafevvictor.ru)  
непорочными погонами, все ж кой-какую разруху произвела в моей душе. Да и не она одна... Тысячи вернула в строй!.. – Анкудин Анкудинов вдруг взвился, брякнул кулаком по столу: – «Жизнь наша не краденая, а богоданная», – бает моя фекла. Они, эти курвы, после войны хвастаться будут. Но это мы, мы сами, сами возвращались в строй, рвались на передовую, со свищами, с дырявыми легкими, в гною, припадочные, малокровные, – потому что без нас войско не то. Потому что без нас ему не добыть победу. Но вот после четвертого ранения я начал задумываться: а может, лучше домой? Меня один раз комиссовали – я не поехал. Я под Курск рванул – как же там без меня?.. Я заработал право ехать домой. Отпустят. У меня легкое не скоро заживет... Это я, сын отца, строившего Сталинск. Сын матери – сплошной комсомолец – начал думать: где мне лучше, а?! Это ж так пойдет – честные люди кусочниками сделаются, у корыт с кормом хрюкать будут... А что с державой будет? Холуй державу удоржит?

– Да успокойся ты, успокойся, миленький! – трясла Лиза за гимнастерку Анкудина Анкудинова. – Я про нее, про эту полковницу, знаю такое, що мы, гулящие бабенки, по сравнению с нею ангелами глядимся!..

– Стоп, Лизавета! Державе нашей много веков уже! И совести нашей срок не малый... А они – косоглазых, глухих, хромых, с гнилыми брюхами на передовую, чтобы себя и своих холуев да деток около себя...

– Говоришь же, сами, сами, а ей, Чернявской, только того и надо. Немцы говорили, сын Сталина, Яков, поднял руки до горы. Сталин за это не себя в тюрьму, родителей жены Якова... – сощурилась Лиза на Анкудина Анкудинова. – Ловко, правда?

Анкудин нахмурился, потер рукою лоб, окрапленный мелкими каплями:

– Пстой, Лизавета! Ты к чему про Сталина-то?

– Да просто так, к слову пришлось. Уж больно ты правильный, и Сталин твой правильный, а немцу пол-России отдал, немец Кубань ржой поразил, до Кавказа добрался, народу тьма погибла, да еще спогибнет сколько! Друг друга со свету сживаете. Подполковница Чернявская, блядь отпетая и воровка, тебя готова сырым слопать, а ты за спину своей феклы спрячешься, в святом углу. Совести феклы на всех хватит, ее совести тыща лет. Спасе-о-о-отеси!

– Ты че, Лизавета, на скандал прешь? Так не ко времени и не к месту. Хлопцы вон молодехонькие, рты пооткрывали. Корму ждем или страшно слушать, хлопцы?

– Ко-орму!

– А-а, роднюшеньки мои хлопчики! А-а, воробышки с тонкими шейками! У пуху!.. Не слушайте вы нас, старых дураков! Пейте! Кушайте! Я вас в обиду не дам, не да-а-ам... Анкудин, я знаю, зачем ты их целый табор... Зна-а-аю...

– А знаешь, так побереги!

– Поберегу-у-у... поберегу-у-у...

Поздней ночью с поездом Краснодар – Москва мы проводили Анкудина Анкудинова в Москву. Лиза все время крепилась, шутила, совала кошелек с харчами и бутылку Анкудину Анкудинову, что-то и проводнице сунула, чтоб та хорошо устроила пассажира.

Но как поезд ушел, навалилась Лизавета на мой гипс, растрескавшийся на плече, горько, без голоса, расплакалась. И у провожающих солдат замekli глаза. Я гладил Лизу по волосам, говорил: «Не плачь... не плачь...» А сам мучился, что не спросил у Анкудина Анкудинова про Коломну – не бывал ли он в ней весной сорок третьего года, не ел ли с доходным молоденьким солдатом из одного котелка суп с макаронами, точнее, с единственной, зато уваристой длинной американской макарониной...

На перекрестках военных дорог, в маленьком городке, в каком-то очередном учебно-распределительном, точнее сказать, военной бюрократией созданном подразделении, в туче народа, сортируемого по частям, готовящимся к отправке на фронт, кормили военных людей обедом и завтраком спаренно. Выданы были котелки, похожие на автомобильные цилиндры, уемистые, ухлебистые – словом, вместительные, и бойцы временного, пестрого военного соединения таили в своей смекалистой мужицкой душе догадку: такая посуда дадена не зря, мало в нее не нальют, будет видно дно и голая пустота котелка устыдит тыловые службы снабжения.

Но были люди повыше нас и посообразительней – котелок выдавался на двоих и в паре выбору не полагалось: кто рядом с правой руки в строю, с тем и получай хлебово на колесной кухне и, держась с двух сторон за дужку посуды, отходи в сторону, располагайся на земле и питайся.

В пару на котелок со мной угодил пожилой боец во всем сером. Конечно, и пилотка, и гимнастерка, и штаны, и обмотки когда-то были полевого защитного цвета, но запомнился мне напарник по котелку серым, и только. Бывает такое.

Котелок от кухни в сторону нес я, и напарник мой за дужку не держался, как другие, боявшиеся, что связчик рванет с хлебовом куда-нибудь и выпьет через край долгожданную двойную порцию супа.

Астафьев Виктор Петрович Весёлый солдат [astafevvictor.ru](http://astafevvictor.ru)

Суп был сварен с макаронами, в мутной глубине котелка невнятно что-то белело. Шел май сорок третьего года. Вокруг зеленела трава, зацвели сады. Без конца и края золотились, желто горели радостные одуванчики, возле речки старательно паслись коровы, кто-то стирал в речке белье, и еще недоразрушенные церкви и соборы поблескивали в голубом небесном пространстве остатками стекол, недосгоревшей позолотой куполов.

Но нам было не до весенних пейзажей, не до красот древнего города. Мы готовились похлевать горячей едой, которую по пути из Сибири получали редко, затем, в перебросках, сортировках, построениях, маршах, и вовсе обходились где сухарями, где концентратом, грызя его, соленый и каменно спрессованный, зубами, у кого были зубы.

Мой серый напарник вынул из тощего и тоже серого вещмешка ложку. Сразу я упал духом: такую ложку мог иметь только опытный и активный едок. Деревянная, разрисованная когда-то лаковыми цветочками не только по черенку и прихвату, но и в глуби своей, старая, заслуженная ложка была уже выедена по краю, даже трещинками ее начало прошибать по губастым закруглениям, обнажая какое-то стойкое, красноватое дерево, должно быть, корень березы. Весной резана ложка, и весенний березовый сок остановился и застыл сахаристой плотью в недрах ложки.

У меня ложка была обыкновенная, алюминиевая, на ходу, на скаку приобретенная где-то в военной сутолоке иль вроде бы еще из ФЗО. Как и всякий современный человек, за которого думает дядя и заботится о нем постоянно государство, я не заглядывал в тревожное будущее и не раз и не два был уже объедан на боевых военных путях, потому что, кроме всего прочего, не научился хватать еще с пылу, с жару. Тепленькое мне подавай!.. Вот сейчас возьмется этот серый метать своей боевой ложкой, которая мне уж объемнее половника начинала представляться, – и до теплого дело не дойдет, горяченькие две порции красноармейского супа окажутся в брюхе. В чужом!

Мы начали.

Суп был уже не впрогоряч, и я засуетился было, затаскал свою узкорылую ложку туда да обратно, как вдруг заметил, что напарник мой не спешит и заслуженной своей ложкой не злоупотребляет. Зачерпывать-то он зачерпывал во весь мах, во всю глубину ложки, но потом как бы ненароком, вроде от неловкости задевал за котелок, из ложки выплескивалась половина обратно, и оставалось в ней столько же мутной жижицы, сколько и в моей ложке, может, даже и поменьше.

В котелке оказалась одна макаронина. Одна на двоих! Длинная, правда, дебелия, из довоенного теста, может, и из самой Америки, со «второго фронта», – точно живое создание, она перекачивалась по котелку от одного бока к другому, потому что, когда дело подошло к концу и ложки начали скрести дно, мы наклоняли котелок: напарник мне – я черпну, наклон к напарнику – он черпнет.

И вот насуху осталась только макаронина, мутную жижицу мы перелили ложками в себя, она не утолила, а лишь сильнее возбудила голод. Ах, как хотелось мне сцапать ту макаронину, не ложкой, нет! – с ложки она соскользнет обратно, шлепнется в котелок, в клочки разорвется ее слабое белое тело, – нет, рукою мне хотелось ее сцапать – и в рот, в рот!

Если бы до войны жизнь не научила меня сдерживать свои порывы и вожделения, я бы, может, так и сделал – схватил, заглотив, и чего ты со мной сделаешь? Ну, звезданешь по лбу ложкой, ну, может, пнешь и скажешь: «Шакал!» Эка невидаль! И пинали меня, и обзывали еще и похлестче.

Я отвернулся и застланными великим напряжением глазами смотрел на окраины древнего городка, на тихие российские пейзажи, ничего, впрочем, перед собой не видя. В моих глазах жило одно лишь трагическое видение – белая макаронина с прорванным, как у беспризорной, может, и позорно брошенной пушки-сорокапятки, жерлом.

Раздался тихий звук. Я вздрогнул и обернулся, уверенный, что макароны давно уж нет на свете, что унес ее, нежную, сладкую, этот серый, молчаливый, нет, не человек, а волк или еще кто-то хищный, мне на доньшке котелка снисходительно оставив дохлебывать ложечку самого жоркого, самого соленого и вкусного варева. Да что оно, варево, по сравнению с макарониной?!

Но.. Но макаронина покоилась на месте. В тонком беловатом облачке жижицы, высоченной из себя, лежала она, разваренная, загнутая вопросительным знаком, и, казалось мне, сделалась еще дородней и привлекательней своим царственным телом.

Мой напарник первый раз пристально глянул на меня, и в глуби не его усталых глаз, на которые из-под век, вместе с глицеринно светящейся пленкой наплывали красненькие потеки, я заметил не улыбку, нет, а какое-то всепонимание и усталую мудрость, что готова и к всепрощению, и к снисходительности. Он молча же своей заслуженной ложкой раздвоил макаронину, но не на равные части – и.. и, молодехонький салага, превращенный в запасном полку в мелкотравчатого кусочника,



Астафьев Виктор Петрович Весёлый солдат [astafevvictor.ru](http://astafevvictor.ru)  
я затрясся внутри от бессилия и гнева: ясное дело – конец макаронины, который подлиннее, он загребет себе.

Но деревянная ложка коротким толчком, почти сердито подсунула к моему краю именно ту часть макаронины, которая была длиннее.

Напарник мой безо всякого интереса, почти небрежно забросил в обросший седоватый рот беленькую ленточку макаронины, облизал ложку, сунул ее в вещмешок, поднялся и, бросив на ходу первые и последние слова: «Котелок сдашь!» – ушел куда-то, и в спине его серой, в давно небритой, дегтярно чернеющей шее, в кругло и серо обозначенном стриженном затылке, до которого не доставала малая, сморщенная и тоже серая пилотка, чудилось мне всеокрушающее презрение.

Я тихо вздохнул, зачерпнул завиток макаронины ложкой, допил через край круто соленую жижицу и поспешил сдавать на склад котелок, за который взята была у меня красноармейская книжка.

До отправки во фронтовую часть я все время не то чтобы боялся, а вот не хотел, и все, встречаться со своим серым напарником по котелку.

И никогда нигде его более не встретил, потому что всюду тучей клубился военный люд, а в туче поди-ка отыщи, по-современному говоря, человеко-единицу.

Анкудин Анкудинов так много видел людей на войне и подле войны, со многими едал из одного котелка, спал в одном окопе – где ему всех нас упомнить?!

Но я помнил и помню его всегда, и когда мне стало плохо, одиноко на Урале, по пути в Красноярск, проезжая по Алтайскому краю в сорок шестом году, я подумал: «Может, сойти с поезда, поискать Анкудина Анкудинова – он поможет, он утешит и ободрит...» – да не решился я тогда сойти с поезда, и, поди-ка, понапрасну не решился.

Но был случай, мне показалось, что в одном алтайском мужике я узнал Анкудина Анкудинова. Мы были на «чтениях Шукшина», проще, без выпендрежа сказать – на поминках по Шукшину. Из Сросток бригадою приехали в зверосовхоз, где смотрели мы на зверьков, беспокойно мечущихся по вонючим клеткам и вольерам, рассказывали «о своем творческом пути» звероведам, восславляли словами Родину, партию, их замечательного земляка – писателя, артиста, режиссера, – которого здесь, на родине, при жизни земляки срамили и поедом ели; ждали автобус в центре поселка, подле магазина, запертого на обеденный перерыв.

Перед открытием возле дверей магазина скопилась кучка народу, что-то должны были «выкинуть» из продуктов – не то постное масло, не то морского мороженого окуня. Появился возле магазина мужик, костлявый и до того исхудалый, что пиджак прошлого покроя морщился на нем и был вроде как с чужого плеча. Лицо мужика было желтоватого цвета, если уж совсем точно – неземного, лицо дотлевающего человека. По глазам разлилась желтизна, и красные прожилки чуть светились волосками, вроде бы в слабого накала лампочке, но были ко всему устало-внимательны. На пиджаке незнакомца в шесть рядов пестрели самодельные колодки и впереди всех и выше – уже выцветшие желто-черные колодки трех орденов Славы, тогда как в остальных рядках колодочек было по четыре. Он поздоровался, проходя мимо нас, устало развалившись на скамье, у которой в середине было выдрано с корнем два бруска подгулявшими удалыми молодцами. Остановившись чуть поодаль от людей и от гостей, незнакомец внимательно нас оглядывал, словно изучал.

– Не уберегли Шукшина-то! – вдруг резко сказал он всем нам разом, и мы, подобравшись, насторожились. – Теперь оплакиваем, хвалим, в товарищши набиваемся? – И опять, подождав чего-то и не дождавшись, вздохнул: – Эх-эх-хо-хо! Вымирают лучшие... вымирают... А может, их выбивают, а? Худшие лучших, а? Чего ж с державой-то будет?..

Какой-то наш распорядитель от общественности совхоза подхватил мужика под руку, отвел его к стеной стоящей подле магазина крапиве, забросанной стеклом, поврежденными бутылками, окурками, банками и все-таки напористо, даже с озорством растущей. Общественник, рубя одной рукой воздух, что-то говорил раздосадованному мужчине, в чем-то его убеждал. Тот ему не возражал, под конец индивидуальной беседы кивнул головою и более к нам не приставал.

Живые всегда виноваты перед мертвыми, и равенства меж ними не было и во веки веков не будет. Так заказано на сознательном человеческом роду, а роду тому пока что нет переводу.

Мужик с колодками, несмотря на худобу и болезненность, все же очень походил на Анкудина Анкудинова, но я не решился к нему подойти. Снова не решился...

\* \* \*

После того как Черевченко прочел нам бессмертную поэму «Весна» и изрядно подпоил львовский «отряд» самогонкой, он произвел над новичками свой любимый эксперимент, даже два, сказав, что, кто чисто по-украински выговорит: «Я нэ хбочу сала исты», тому будет отпущена «добавка». И нашелся хлопец, юный, доверчивый, и сказал выжидательно замершим хохлам: «Я нэ хочу сала исты», – те

Астафьев Виктор Петрович Весёлый солдат [astafevvictor.ru](http://astafevvictor.ru)  
вперебой радостно рывкнули: «Ишь гивно!» – и повалились на фрицевские колючие мешки, расплющенные телами и украшенные кровавыми пятнами раздавленных клопов. Они дрыгали ногами, стонали, утирали слезы, пытались что-то сказать, показывая на сплеховавшего хлопца, готового вот-вот заплакать. Черевченко налил ему и, когда юноша выпил и утер губы, молвил будто бы ему одному, но чтоб слышали все, сказал со вкрадчивой доверительностью:

– Ничого, ничого! Я тэж на цю гарну шутку купывсь. А сколько хлопцев купылось? Го-о-о... А чи знаешь ты, хлопец... як тобэ? А чи знаешь ты, хлопец Стёпа, що у тых людей, що займаються онанизмом, на ладони волосы растут?..

Хохлы чуть не полчаса замертво валялись по матрацам! Они уж ни хохотать, ни стонать не могли, они только всхлипывали, ойкали, держались за швы на ранах, потому что «хлопец» тут же поглядел на свою почти еще детскую узенькую ладонь. Да кабы он один?! Новички, почти все молодые новички, даже Борька Репяхин – знаток законов, борец за справедливость и за чистую совесть народа – не избежал подвоха.

Детдомовская школа спасла меня от «эксперимента» Черевченко, но я знал кое-что и позанимательней таких «ловких» загадок и дал себе обещание: как маленько оклемаюсь и температура спадет – ткнуть Черевченко носом в такую пакость, что «гивно» его сладким повидлом ему покажется. Анкудин Анкудинов в те же первые дни нашего пребывания в Хасюринском «хвилиале» вместе со своим другом Петей Сысоевым лечился в центральном здании, и заступиться за хлопцев было некому. Но Черевченко был бес и виртуоз в понимании психологии людей, везде знал «край», точнее, чуял предел и свел все дело с рукоблудием к тому, что никакого позора и греха он в этом не видит, отклонения, нарушения нравственных норм тоже – синица в руке все-таки лучше, чем журавль в небе, – что человечество подвержено этой вынужденной, но вполне исправимой порче от роду своего, что половина его, человечества, как раз и погибла, не родившись, именно оттого, что законы всякие навывдумывало, нету у него свободы действий, чтоб кто когда кого захотел, тот того и сгреб, а уж бедным солдатам, тем и вовсе никакого выхода нету, и со временем, когда образовалась армия и казарма, столько выброшено попусту здорового, молодого материала, что если б его собрать в одно место – море бы получилось. Ну, море – не море, озеро Балхаш или Байкал наверняка!..

– И самое главное, хлопцы, вот что запомните, – заканчивая свою наставительную речь, сказал Черевченко, – в Хасюринской все готово к тому, чтобы вас принять. Воны и нимцам давали активно, но будэмо считать, що воны изматывали врага, вел з ным беспощадну войну. Туте дывчина, що усе была себе по брюху, дэ був захован на пам'ять фриц, и кричала: «Смерть немецким оккупантам!» – а колы дытына родилась, хотила вморить його голодом. Но мы самое гуманно в мире войско, понудылы годуваты дытыну, и такой славненький, такой гарненький птинчик пидрастает! Скоро вже матэриться будбэ и самогонку пыты. Але, хлопцы, няк нэ избегайтэ нашего руководства. Усих хасюринских блядей мы наскризь знаемо, и разных до вас не допустимо... так купимо бугая?!

– А на х...? – дружно откликнулось собрание.

– А хто коров будэ? Я? Го-го-гооо! «А-а выпьем за тих, хто командовал р-ротами, хто ум-мира-ал на снегу-у-у...», – рывкнул Черевченко, и спевшиеся с ним «братья» подхватили так, что звякнули стекла в старой безгрешной начальной школе, посыпались клопы со стен и потолков, бойцы начали плакать и обниматься.

Дежурная по корпусу пыталась унять военную стихию, остановить плач и песню – да куда там?! Братство госпитальное крепло и набирало силу.

\* \* \*

Новички отоспались маленько, отъелись, уехал бунтарь-одиночка Анкудин Анкудинов, и Черевченко занялся нами вплотную.

Дня три по Хасюринской возбужденно шныряли «братья», что-то добывали, таскали, ругались матерно, за головы хватались, собирали с «боеспособных» ранбольных по червонцу. Нам передалось возбуждение, непонимание и страх перед надвигающимся событием – скоро мы пойдем в гости и там «будэ усе». Многие из нас, как показали дальнейшие события, «перекипели», еще не вступив в схватку.

\* \* \*

У этой хаты, у этого подворья был хозяин. Настоящий! Да и не один, в нескольких поколениях. Хата охранялась от небесных сил двумя над нею нависшими дубами, к которым со всех сторон робко липли и никли кленочки, ясени, каштанчик, как бы ненароком затесавшийся в такую компанию, уже густо тронутые желтизной и яркой ржавой осыпью боярышник и сиротливо здесь глядящаяся рябинка. Все это смешанное меж собою, семейно обнявшее шумное братство обрамлялось с трех сторон ошетиленной стеной акации, давно не стриженной. И хотя тесно было деревцам и

Астафьев Виктор Петрович Весёлый солдат [astafevvictor.ru](http://astafevvictor.ru)  
деревьям подле хаты, не смели они переступить за охранительную стену, где располагался обширный, наполовину уже убранный огород и фруктовый сад с породистыми, однако шибко запущенными яблонями, грушами, вишенником и гордо, как-то обособленно, на обочине, в ряд стоящими ореховыми деревьями.

От штакетной калитки, с шибко возле скобы вышарканной краской, двумя, тоже давно не стриженными, рядами вела к крылечку аллея из кустов с седым листом и черными ягодами, похожими на сибирский волчатник. По ту и другую сторону крашеного крыльца кругло росли кусты карликовой сирени и желтые да красные цветы, уже домучивающие последние побеги с перекаленными, полусохшими бутончиками и звездочками. Вокруг дома была сделана канавка из дикого, но ровно и хорошо подобранного камешника. Под застрехой таким сплошным деревянным кружевом лепились изящно сделанные из железа сточные желобки, и концы их, нависшие над канавкой, открыты были пастями игрушечных драконов.

На крыльце и на открытой верандочке, вдоль которой в ящиках росла и тоже домучивала последний цвет усталая от лета и обилия стручков фасоль, толпились женщины, все в ярком, все красивые, приветливо-улыбчивые, кокетливые.

– Милости просимо! Милости просимо! – запели они, расступаясь перед нами. – Мы уж заждались! Ох, заждались!..

На крыльцо неуверенной походкой поднимались кавалеры в нижнем белье, с гипсами, точно названными «самолетами», в тапочках или трофейных ботинках, которые и вовсе босые. Но кубанских этих дам ничем уж, видно, было не удивить, они очень быстро с нами управились, приговаривая не без томности и скрытой необидной насмешки:

– О то герои! О то ж гарнэсэнки хлопци! Проходьте! Проходьте! Будьласка..

«Браты», по старому и узаконенному уже праву, целовались с «дивчатками», иных звонко, с оттяжкой хлопали по заду, и те, взягивая от боли и страсти, орали: «Сказывсь!» или, почесывая ушибленное место: «Аж, аж! Синяк же ж будбэ, дрэнь!..» Российский говор тоже просекался: «Сперва ручку позолоти, потом хлопай!» И в ответ: «Позолотил бы, да денег нету!»

Черевченко вел себя в этом доме по-хозяйски – целовал и щупал всех «дивчаток» подряд, и они тому были безмерно рады.

Шла словесная разминка, которой надлежало снять напряжение и неловкость первых минут. Я, как всегда в минуты крайних волнений, вспотел и боялся утереться рукавом. Пот катился под гипс, щипал пролежни и разъеденную клопами подмышку. Я жался в тень, прятался за спины бойцов и хотел только одного – незаметно смыться «домой».

Но не у одного меня такое желание гнездилося. Чуткий бес Черевченко, опытнейший педагог и психолог, не дал углубиться нашему душевному кризису, как-то ловко и умело водворил всех в хату – и сразу за стол. Гости, опять же «незаметно», оказались рядом со своей «дивчиной» и почти все поразились тому, что «дивчина» ему в пару попалась именно та, которая соответствует его душевным наклонностям и вкусу.

Я пока боялся взглянуть налево, где плотно и молча сидела и уже грела меня упругим бедром моя «симпатия». Черевченко вызывал во мне все больший восторженный ужас – он учел даже то, что правым глазом я не вижу и стесняюсь изуродованной еще прошлым ранением половины лица. Он все и всех учел: кто не может из-за гипса сидеть у стены и ему нужен простор – того на внешний обвод, кому может плохо сделаться – тех ближе к двери и веранде, кто уже сгорал от нестерпимой страсти – того к распахнутым низким окнам, к густеющим ласковым кушам, потому как тесно сидевшим у стены парам можно было выбраться к двери лишь потревожив и согнав с места целый ряд гостей.

Всем уже было налито в рюмочки, стаканы и кружки. На тарелках багровою горою с искрами и кольцами белого лука и гороха высился винегрет, соленые огурцы, красные помидоры, красиво разваленные арбузы, даже студень был и отварная курица, фрукты навалом краснели, желтели, маслянились от сока на столе.

В торце стола сидели двое, он и она, хозяйка и ее «друг» Тимоша, который всем упорно представлялся мужем и хозяином этого дома. Марина-хозяйка не возражала ему, но и не поддерживала особо насчет мужа и хозяина, хотя, заметно было, Тимоше очень этого хотелось.

Оба они достойны подробного и неплоского описания и характеристик. Но время стерло «случайные черты», и осталось в памяти лишь самое неизгладимое, самое стойкое: хозяйка была красива, как все кубанские девицы и дивчины, у которых все на виду: и яркие очи, и румяное лицо, и брови дугой, и алые губы, и косы до пояса, и звонкий смех, и вздорный характер, и легкая, так идущая им глупость, которая годам к тридцати, когда дивчина обратится в жопастую, одышливую «титку», вызреет или взреет в тупость, грубую неприязнь ко всем, прежде всего к своему мужу.

Хозяйка Марина, одетая в однотонное платье салатного цвета, с открытым

Астафьев Виктор Петрович Весёлый солдат [astafevvictor.ru](http://astafevvictor.ru)  
воротником и прикрепленным к нему спереди сереньким искристым кружевцем, свисающим от горла смятой, инеем убитой бабочкой, была в расцвете лет и женских прелестей, не всякому глазу доступных. «Браты», например, говорили: «И що вин, той Тимоха, у ей, у тии Марины, знайшов?» Тимоха ничего и не нашел, ему и искать не надо было. Его самого нашли и подобрали.

Желтого цвета волосы мягко и плавно спускались на левую грудь Марины и были там и сям прихвачены белыми скрепками, над виском воткнут в волосы цветочек бархатисто-красной настурции с желтой радугой в середине: шла вот по веранде женщина, мимоходом сорвала цветочек, небрежно сунула его в волосы, а он и придиись к месту! У нее были зеленоватые глаза, но, когда она становилась чем-то недовольна и сжимала тонкие, пушком обметанные сверху губы, глаза ее сразу темнели. Вытянутое лицо и тоже вытянутый тонкий нос, уменьше чуть заметным движением брови, скуповатой улыбкой заменять слова выдавали в ней повадки и красоту пани, еще той пани, что рисованы на древних щелястых портретах, которые «вживе» я только раз и встречал, когда с боевым походом шлепал по Польше.

Давним током крови, эхом ли древнего рода, молчаливой ли зарницей достало, высветило эту женщину и остановило посреди земли. Все, что было вокруг, пыталось опаскудить, замарать это диво, но не смогло выполнить своей задачи. Поучительный опыт заставил бороться за себя, и, отодвинувшись в тень, смешавшись с человеческой чащей, она оставалась сама собой, давши запасть в чашу, но не погаснуть тому отблеску зарницы, что озарил ее в этой страшной и беспощадной жизни.

Женщины таких дам не любят, инстинктом самки чувствуя превосходство над ними. В станице говорили, что на постое у Марины был немецкий майор, затем квартировал комиссар Владыко и она им будто бы ни в чем не отказывала. Но и они, постояльцы, якобы ей тоже ни в чем не отказывали. Она не копала землю, не собирала плодов, не мыла в избе, не белила хату и даже не стирала – все это делали по переменке то немецкие, то советские холуи. «Браты», злословя, толковали, что и немцев, и русских она подбирала «под патехвон» – стало быть, танцевала с кавалером под музыку и по силе трения, по могучести упора выбирала партнера, но, может быть, сожители подбирались ею по соображениям защитительным, хозяйственным.

Тимоша, уж точно, был допущен в этот дом не за свои мужские достоинства, но за хозяйские наклонности, за старание в работе и безвредный нрав. О «мирах», о литературе и музыке пани Марина могла наговориться вдосталь и с лейтенантами, и с майорами в станичной библиотеке, которую она сохранила и при немцах, и при наших и при любой власти сохранит и сама сохранится.

Из мужниного гардероба Марина выдала Тимоше полусуконные штаны, рубаху в полоску, хромовые сапоги и соломенную шляпу с малинового цвета лентой.

И вот в этом наряде, не снимая шляпы, за столом сидел гордый Тимоша рядом с женщиной и своим топорным лицом, огромными трудовыми, устало выкинутыми на стол руками, этой дурацкой шляпой, громким босяцким смехом еще более оттенял ее утонченность, умение молчать и молча повелевать.

Такие, как Тимоша, были в ту пору еще добрыми мальмы, еще умели и любили подчиняться высшей силе, быть послушными рабами этой силы, благоговели перед чудом красоты, перед тайнами ее и загадочной властью.

Пройдет всего лишь несколько десятков лет, и, истощенный братоубийством, надсаженный «волевыми решениями» и кроволитной войной, потерявший духовную опору и перспективу, превратится он из послушного работника в кусочника, в мелкого вора, стяжателя, пьяницу. Дети, а затем и внуки Тимоши будут с топорами и ножами бегать по улицам сел и городов за женщинами, хватать их, насиловать, убивать, потому что один только инстинкт закрепится в них – немедленное утоление звериного желания, после и он погаснет от вина, и пойдет потомок Тимоши по земле с открытым мокрым ртом, мутным, бессмысленным взглядом, под именем, происходящим от увесистого предмета, от глухого, но точного слова, – дебил. Пьяный еще в животе матери, пьяным отцом зачатый, выжметя из склизкого чрева склизкое одноклеточное существо без мыслей, без желаний, без устремлений, без памяти, без тоски о прошлом, способное только пожирать и убивать, признающее только власть кулака, только приказующую и наказующую команду.

Быть может, это и будет тот идеальный человек под именем «подчиненный», к которому так стремились и стремятся правители всех времен и народов.

Но когда это еще будет?!

А пока! По праву хозяина Тимоша широким жестом обвел застолье и, зажав в жмене налитый до ободка стакан так, что стакан помутнел от боли и неги, прокашлялся:

– Товаришши! Мы собрались вместях, штабы отметить прибытие новых наших товаришшев. Дак, стало быть, за дружбу и штабы война скорей закончилась...

– За дружбы! За дружбу! – заверещало застолье женскими голосами.

Астафьев Виктор Петрович Весёлый солдат [astafevvictor.ru](http://astafevvictor.ru)

– И за любовь! – ввернул Черевченко.

– И за любовь! З-за любовь!

Выпили дружно, почти все до дна. Напарницы подносили на вилке винегрет кавалерам, соря им на гипс и белье, отчего на штанах оставались красноватые, маслянистые пятна, и это обращено было в шутку, мол, дома по гипсу узнают, где боец был и чем занимался.

Хозяйка самогон не пила, лишь пригубила красненького фабричного вина, но и с него порозовела, оживилась. Она чувствовала, что кто-то за ней внимательно наблюдает. Так как я сидел далеко от торца стола и на меня падала полутьма из сада, долго мучилась, отыскивая и тревожась от чьего-то взгляда. И когда наконец нашла меня, то не заметалась глазами, как это делают малоприметливые люди, отведенные косиной моего взгляда на кого-то и ища по взгляду этого кого-то.

Она мгновенно угадала во мне расположение к ней, улыбнулась мне проясненно, чуть заметно кивнула головой. Я отвел глаза и наткнулся на мою соседку слева и почувствовал, как «жжет» от ее сдобного бока. Никогда, ни до этого застолья, ни в последующей жизни, не встречалось мне ухажерки зычнее, румяней и белей, лишь в кино однажды увижу я колдунью, бегущую по лесу так, что лес трещит и качается, да и озарюсь воспоминанием, вздохну – было о чем вздыхать. Перед моею ухажеркой стоял совершенно нетронутый стакан с самогонкой, руки ее покоились на коленях, она обижено смотрела вдаль.

– Ой, простите! – встрепенулся я и стукнулся своим стаканом о стакан соседки: – За ваше здоровье, э-э-э...

– Аня.

– Э-э, Аня, и за знакомство.

– Будем здоровы! – увесисто, отчетливо сказала она и неторопливо, крупными глотками осушила стакан. Я было сунулся с винегретом, но она придержала мою руку своей, крупной, жесткой от земляной работы и тоже горячей, рукой: – Я винегрет нэ им. Брюхо з нього пучить, – выбрала грушу покислей и хрустнула ею так, будто через колено переломила пучок лучины. – А вы шо ж нэ пьетэ и не кушаетэ? Пийте, веселише будэ и... – она покрутила кулаком вокруг головы, – ото расслабиться.

Я сказал Ане, мол, пока не могу, и она с пониманием отнеслась к этому, себе тоже не позволила вторично налить полную посудину, половину стакана отмерила пальцем и снова выпила не морщась, обстоятельно.

Мне сделалось страшновато, но метавшееся в моей башке беспокойство внезапно разрешилось теплотой, разлившейся по моему сердцу, – Аня! Нянечка из санитарного вагона воскресилась в обрадованной памяти – вот бы ее, славненькую, ласковую, да за этот бы стол, да рядышком бы. Выпивка никогда не была моей всепоглощающей страстью, однако заразной болезнью моей родни и народа моего я конечно же вовсе не избежал. Другая страсть – тяга к книгам – еще с детства спасла меня от этой всесвальной русской беды.

Первый раз я до беспамятства напился в тринадцать лет, в детдоме. В ту довоенную пору магазинов и складов в городишке Игарке было мало, больше ларьки, но товаров в них водилось много. Это в расцвет социализма магазины, рынки, базы были – хоть на мотоцикле катайся, ныне и на личной машине, потому что просторные заведения эти опустели. В довоенную пору разгруженные с заморских кораблей, завезенные на долгую зиму с магистрали в Игарку товары из-за тесноты часто в ящиках выставляли в сенцах-тамбурах у задних дверей, во дворах. Ныркая детдомовская братва, не найдя, чего поценнее упереть, озорства ради унесла от ближнего ларька ящик шампанского. Сперва мы учились его открывать – нам нравилось, как пукают пробки, как ударяются они в потолок, как шурует пена из бутылки. Братва пообливала тумбочки, кровати, и сами орлы мокры были от бушующего вина. Кто-то из ребят попробовал шампанского, ахнул от дух захватившей влаги, мы тоже решили попробовать – и нам понравилось. Как этим самым шампанским перехватывало дыхание, как колко простреливало грудь и холодило нутро!

Облеваные, растерзанные, мылись парни в санпропускнике, клацая зубами, натягивали на себя сухие штаны и рубахи, затем прятались под одеялами. Из-за головной боли, из-за всеобщего угнетения два дня весельчаки не ходили в школу. Всех нас позорили в строю и на собраниях, продернули в стенгазетах, школьной и детдомовской.

Хватило надолго! Аж до Польши! Свои «боевые» сто грамм, разведенные в пути до последнего градуса, я, как правило, отдавал «дядькам» и только в лютые холода в крайнем уж случае выпивал – для согрева. Один раз, под Христиновкой, в Винницкой области, в метель, когда и палку-то в костер негде было найти, орлы огневики раздобыли где-то ящик с флаконами тройного одеколона. Я так продрог и устал, что мне было все равно, что пить, чем греться, и выпил из кружки беловатой жидкости – на всю жизнь отбило меня от редкостного в ту пору напитка, и по сей день отрыгивается одеколоном и от горшка ароматно пахнет; я боюсь в парикмахерских облеваться, когда меня освежают.

Астафьев Виктор Петрович Весёлый солдат [astafevvictor.ru](http://astafevvictor.ru)

Ну а в Польшу пришел уже двадцатилетним, шибко боевым и на радостях, по ошибке, я напился так, что и до се содрогаюсь от отвращения и позора.

В городе Жешуве, который мы заняли с ходу, орлы артиллеристы разнюхали склады с водкой. Я как сейчас помню, что бутылки были почти литровые, с красивой наклейкой, на которой какой-то архангел в красной накидке поражал копьем дракона. Архангела и дракона мы увидели, полюбовались картинкой, но вот то, что в бутылке дракон шестидесяти градусов таился, – этого никто не углядел: думали, что на всем свете варится только сорокапятиградусная водка, и вообще предполагали, что везде и все – как у нас.

И вот расположились мы на окраине Жешува, связь в батарее выкинули, хату заняли очень красивую, под железной крышей, с объемистым двором, садом и огородом. Господа офицеры, конечно, в хате, солдаты, конечно, во дворе – готовимся потрапезничать.

По двору ходит поляк в подтяжках и шляпе, следит, чтоб мы лишка чего не вытоптали, не сожгли, не срубили. Колодец прямо во дворе. Умылись, утерлись, кто на кухню с котелками побежал, кто «на стол» накрывает – на расстеленные в огороде плащ-палатки. Вместе с вином раздобыли наши ребята сухого яичного порошка и сухого же сыра. Поляк учил нас сыр смешивать с водой, из порошка приготовил на сковородке омлет-яичницу: женское население не удостоило нас вниманием, оно с панами офицерами компанию водило.

Перед ужином командир отделения связи велел мне на всякий случай пробежаться по батареям, проверить, как там и что со связью. А там почти у всех из дивизиона отосланных связистов бутылки, все веселы и каждый мне, проверяющему, сует выпить. Ну я и выпил на голодный-то желудок и прибыл в наш двор на качающихся ногах. Командир отделения глаза вытарачил: «Ты что, зараза, сдурел?! А ну ешь!» Я потаскал ложкой омлета со сковородки, чувствуя, что ложка делается все тяжелее и тяжелее, самого меня все выше и выше поднимало на воздуси и качало там в тошнотной, провальной пустоте. «Не хочу я этой фрицевской херни!» – вдруг капризно заявил я и с яростью хватил ложкой оземь. «А че хочешь? По шее?» – «Огурца хочу!» – «Дак ты же, морда твоя пьяная, на огуречной гряде сидишь!» я огляделся и обнаружил: правда, сию я на высокой огуречной гряде и огурцов на ней что в речке гольцов. Да все на бутылки похоже! Все катаются, все хохочут человечьими голосами.

Я потянулся за огурцом...

И... проснулся в пятом часу утра, на полосатом матраце, проснулся первым, поскольку и отключился первым. Был я весь облеван, и все вокруг было облевано, мокро – меня отливали холодной водой из колодца. Я пополз, потянулся к ведру с водой и пил, пил из ведра по-коровьи, захлебываясь, гася отравное пламя внутри себя.

Огляделся.

Кто где, кто как лежали по двору мои боевые товарищи, все почти сплошь заблеванные, все в мучительных позах, с припадочно скособоченными ртами.

А на высоком голубом крыльце стоял старый пан в накинута на плечи куртке и родительски-укоряюще качал головой. «Да господи! – простонал я. – Да чтобы еще хоть раз...»

Вот какой крюк я сделал из хасюринского застолья! В угарный, в интригующий момент сделал я поучение себе и потомкам. А на поучения в наше время ни бумаги, ни слов не жалеется.

\* \* \*

Пока я мысленно летал в Польшу, в просторном доме пани Марины начинались танцы. Играл патефон, хрипел патефон, и из-под тупой иглы с шипеньем катились «Амурские волны». Народ танцевал старательно и серьезно. Особенно старателен был Тимоша, видать совсем недавно и с трудом выучившийся держать в полуобъятиях даму и, шаркая сапогами, кружить ее в вальсе.

Эти танцы описывать невозможно, их надо было снять на пленку и показывать во всем мире, тогда, я думаю, понятней бы стало, что такое война, и люди бы меньше перли друг на друга. Страшновато мне было, страшновато и когда пластинка кончилась, и бледные от напряжения и боли партнеры, задевая друг друга гипсами, принялись снова рассаживаться за стол, я с ужасом думал: по каким-то неведомым правилам на обратной стороне пластинки, после вальса, непременно должен быть фокстрот, и что, если захмелевших бойцов подхватит вихрь фокстрота?!

Но моя соседка Аня вдруг сразу, будто с горы бульжину скатив, рывкнула:

Копав, копав криньченьку, У-у-у зэлэно-ому са-аду... И обрадованно, с облегчением и дружеством ринулась компания навстречу Ане: Гоп, гоп, моя малина, Чернбровая дивчина, В са-а-аду ягоду брала... Пели долго и хорошо. Кто-то из хлопчиков плакал, кого-то уводили на веранду – облегчаться. Но фокстрот все-таки наступил. Аня моя крутила и вертела одного молоденького кавалера так, что у него

Астафьев Виктор Петрович Весёлый солдат [astafevvictor.ru](http://astafevvictor.ru)  
началось кровотечение из раны. Быстро восстановили бойца. После танцев компания заметно поредела. Оставались только шибко захмелелые да робкие кавалеры вроде меня.

Я помогал убирать со стола. Тимоша, подпевая себе «Гоп-гоп, моя малина...», мыл посуду, сгребая остатки закуси в корыто для поросенка. Аня протирала посуду, Марина убирала, ставила ее в буфет.

– Ну как вам у нас? Понравилось? – спросила меня как бы между прочим Марина.

Я сказал, что очень понравилось, она сказала, чтоб я приходил еще. И пошел у нас разговор о том о сем, больше о книгах. Я как бы между прочим ввернул, что ранило меня в Польше, под городом Дуклой, там родилась известная историческая личность – Марина Мнишек.

– Да что вы говорите?! – показалось мне, нарочито громко удивилась Марина. – А вы-то откуда узнали об этом?

Я сказал, что солдату положено все знать, и она согласилась: конечно, конечно, иначе, мол, солдату – пропадай! Тимоша перестал петь. Аня насторожилась – они почувствовали какую-то нашу солидарность, мы выключили их не только из разговора, но и из окружения своего, они как бы наедине каждый очутились. Марина почувствовала, что нас «рассекречивают», и со вздохом сказала:

– Ну что ж, милые мои гости! Спасибо, что посетили нас, развеели. Ты, Анечка, не обижай юношу, – уже на веранде добавила она и нежно поцеловала меня почти что в самый глаз, в раненный, и прикоснулась ладонью к щеке.

И губы ее, и ладонка показались мне бархатистыми. Мне вдруг захотелось упасть перед хозяйкой на колени, обцеловать ее руки, плакать и кричать: «Прости! Прости!..»

Марина повернулась и поспешно ушла в дом, скрылась. Тимоша проводил нас до калитки, запер ее на засов, бросив почти сердито на прощанье:

– До побачення!

Мы долго ходили с Аней по станице, постояли над Кубанью, посмотрели на ночные дали. Где-то за рекою реденько теплились тусклые огоньки, но и они скоро погасли. В улицах станицы раздавался шум, хохот, звучала гармошка, песни, затем в станице все смолкло. Аня сидела на круче, спустив ноги с обрывистого берега, и что-то тихонько напевала. Сняла с себя косынку, заботливо расстелила ее рядом, хлопнула по ней ладонью:

– Сидай!

Я послушно сел, но к Ане не прислонялся. А она, я чувствовал, того ждала. Ощущение размягченности, доброты и грусти жило во мне. Из всего вечера, из всех его многообразных событий, осталось во мне лишь прикосновение бархатистой ладони к раненому месту и взгляд, погруженный в себя, чуть лишь прояснившийся в те минуты, когда мы на кухне мыли посуду и разговаривали с Мариной.

– Про какую это польскую шлюху ты говорил с Мариной? – неожиданно спросила Аня.

Я сказал, про какую, и, поскольку не о чем более сделалось говорить, попросил Аню спеть. И она послушно и опять во весь могучий голос огласила окрестности своим грудным, глубоким голосом:

Ой, нэ свиты, мисячэнько-о, Ни свиты – а нікому. Тільки свиты милэнькому, Як идэ-э-э-э до до-о-о-ому-у... – Нет, шось не поется, – буркнула Аня и со смачным звуком зевнула во весь рот. – Спать пора. Завтра на работу.

И опять мы долго шлялись по станице. Аня отчужденно молчала. Надо было взять ее под руку, но я уже упустил для этого момент. Надо было, наверное, потискать ее и поцеловать. Я видел, как за столом, напившись и потеряв стыдливость, орлы боевые начали нетерпеливо лапать и челомкать своих партнерш, как жадно смотрела на них Аня, каким бойцовски-беспощадным огнем светился ее взор.

Аня вела меня к госпиталю тенистыми, путаными тропами, часто останавливалась поправить косынку, волосы, один раз даже ногу заголила: «Резынка риже, спасу нет...» Я всю эту дипломатию понимал, откликнулся бы на тонкие намеки, может, и оскромился бы в ту ночь, но что-то кроме робости, неловкости и неумения удерживало меня, и я сам для себя тихо запел:

На Кубани есть одна станица, В той станице гибкая лоза, В той станице есть одна девица, У девицы черные глаза!.. – О-о! – насмешливо сказала Аня. – Оказывается, ты кое-что умеешь! – и скоро вывела меня к госпиталю, со стороны сарая и умывальника. Здесь, под абрикосами, за сараем, мы еще постояли, потоптались.

– До свиданья, Анечка, – подал я ухажерке руку. – Спасибо за вечер и за ночь.

– За яку ничь?

– Вот за эту! – показал я на темное, усыпанное осенними зрелыми звездами небо и поцеловал ей руку, жесткую даже с тыльной стороны от воды, от земляной работы, пахнущую грушей и сухой травой.

– И усе? – разочарованно произнесла Аня.

Астафьев Виктор Петрович Весёлый солдат [astafevvictor.ru](http://astafevvictor.ru)

– Все, Анечка! Все!.. До свиданья! – бросил я уже на ходу, поспешая к черному ходу госпиталя, который по приказу Черевченко держался в ту историческую ночь до утра отворенным.

\* \* \*

Ах, какие воспоминания были назавтра! Тысяча и одна ночь! Великая Шахразада! Декамерон! И все мировые шедевры померкли б по сравнению с теми воспоминаниями, если б было кому их записать на бумагу. Борька Репяхин убито поперек матраца и не слышал, как его грызут клопы. Я читал книжку «Двадцать тысяч лье под водой», но читал невнимательно, слушал, завидовал хлопцам и презирал себя за малодушие. Ведь «на нос», как говорится, вешали. Э-э-эх!..

Вечером поздно явился один из «братьев» и, тыча в меня пальцем, захлебываясь смехом, сообщил публике:

– Он!.. он.. он руку Аньке целовал!..

Сначала качнулась и грохнула наша палата, потом перекаатилось по всему госпиталю: «Го-о-о-о, го-о-о-о, го-го-о-о!», «Ой, ой, мамочка ридна!», «Ой, нэ могу!», «Та я ж ии пид яром поставыв, та як глянув, та, мамочка моя, там же ж обох госпиталям хватить!.. Ще й военкомату останбэться! А вин ей руку!..».

Даже Борька Репяхин смеялся надо мной.

Мне ничего не оставалось, как закрыться книгой «Двадцать тысяч лье под водой» и лежать, придавленным позором и тяжестью литературы не поднимаясь ни на ужин, ни на завтрак. Даже в места необходимые я ходил поздней ночью и на цыпочках.

Целых двое суток народ ходил на меня дивиться, как на редкостного ископаемого, как на заморскую тропическую диковину. И тогда Черевченко, а это он, сволочь, в отместку за Анкудина подsunул мне Аню, ободрил меня, сказав, чтобы я «нэ журывся», что дело поправимо. И я с визгом, с бешеной слюной, срывающейся с губ, бросился на него, успел поцарапать ему щеку, но меня схватили, повалили. Я еще сутки пролежал на матраце, у клоповной стены, накрывшись одеялом. Борька Репяхин приносил мне пайку, пытался утешать меня. Я упорно обдумывал вопрос о том, как ловчее оборвать эту позорную жизнь, как вдруг приходит Борька Репяхин, теревит на мне одеяло и говорит, что меня ждут в саду, на скамье.

– Кто? – испугался я.

– Да не бойся, не бойся, не Анька это, а Лиза.

– Какая Лиза? – одичало глядел я на Борьку Репяхина. И вдруг вспомнил, вскочил, бросился бежать, запутался в одеяле, чуть не упал.

Лиза утешала меня, будто мать родная, гладила по голове, если приближались госпитальные кальсонники, зыкала на них вроде бы со злом, но вроде как бы не совсем серьезным злом:

– Гэтъ, падлюги! Вам бы только поизмываться над мальчиком!

Лиза рассказала, что было письмо от Анкудина, что с ним все хорошо, скоро его домой отпустят, что привет он мне передает, интересуется, как я тут.

– Правда? – смаргивая с глаза мокро, возвращаясь на свет белый, преодолевая предел никчемности своей, переспрашивал я. – Правда?

– Правда, правда. Вот придешь ко мне и сам прочитаешь. Что ж ты, к Марине так бегом, а мой дом стороной обходишь?! Марина, парень, ягодка с косточкой, об нее зубы ломаешь!..

И я привязался к Лизе, как к старшей сестре, к ее дому, и скоро тут, в доме Лизы, свершилось мое боевое крещение. На этот раз обласкала меня Ольга, уборщица из госпиталя, помощница Лизы по лаборатории, услужливая, легкая на ногу, но тугая на слово женщина, потерявшая мужа на войне, воспитывающая ребенка.

Очень она была бледная, с ранними морщинками на лице, со старушечьими складками у малоулыбчивого рта. Беленькие тонкие волосы коротко стрижены, еще гибкое, но ничем не примечательное тело – все-все было в ней определено на одну судьбу, на одного мужа, на одно дитя. А вот мужа у нее отняли, убили, и она, награжденная природой единственной наградой – глазами, бархатисто-мягкими, как бы из старины, с чужого лица иль даже с портрета взятыми, и потому-то она их прятала все время, прикрывала тоже картинными, бархатистыми ресницами иль глядела в пол, – говорила тихо.

Мне казалось, что я не смогу приставать к этакому комнатному существу, еще больше обижу домоганием своим и унижу женщину, что создана она для уединенного, тихого существования. «У нее ребенок, не блажененькая она, книжки, все это книжки!» – укорила меня Лиза. И я стал действовать, чтобы доказать «братам», и прежде всего Борьке Репяхину, что я тоже не лыком шит, да и надежды Лизы, выступающей в роли сводни, надо было оправдывать, да и хотелось мне приставать-то, тайные страсти угнетали меня. Невыносимо! Болела голова, расстроился сон, плоть требовала утоления, пригибала человека к земле, катала в геенну огненную. Если вспомнить, что папа мой был неукротим в делах любовных, женился в первый раз на восемнадцатом году, а мне уже шел двадцать первый, то



Астафьев Виктор Петрович Весёлый солдат [astafevvictor.ru](http://astafevvictor.ru)

все эти страстные томления легко объяснимы.

Я решил для храбрости напиться и напился у Лизы, пьяный, увел свою ухажерку в кукурузу, свалил ее, не очень-то упорно упирающуюся, детдомовской подножкой, ползал по ней, отыскивая что где, дурно мне сделалось, и прежде чем поиметь удовольствие, партнерша омывала меня и себя из таза.

И снова обдумывать бы мне и решать вопрос жизни и смерти, да партнерша на этот раз попалась очень уж понятливая. Обмывши меня, она тихо миновала комнату со свекровью и ребенком, провела меня в пристенок, уложила на кровать, дала поспать и сама осторожно, приподняв одеяло, легла под него. Я дрожащим телом почувствовал, что она в одной рубашке, более на ней ничего нет, и подумал, что так ведь поступают женщины, по рассказам бывалых мужиков, определяясь в супружескую постель. Деваться было некуда. Оля же еще и обняла меня и зашептала на ухо какие-то нежности, какие – не помню.

Все совершилось быстро и как-то само собой. Ухажерка моя гладила меня по потной спине:

– Бедненький! Бедненький!.. А убили бы?.. Так бы и не познал главной радости... Бедненький... бедненький... Ты меня не бойся – я не гулящая. Я тоже первый раз после мужа... дай я на тебя подую. Весь ты вспотел. Не волнуйся... не волнуйся... и не торопись. Торопиться не надо... не на-а-адо...

Но я и волновался, и торопился, да убежал среди ночи «домой». Как, значит, дрогнусь, будь хоть два, хоть три часа ночи, штаны надерну – и дуй, не стой восвояси.

Кончилось это тем, что Ольга укорила меня:

– Ты – себялюб!

И на этом наши с нею отношения почти кончились.

Приклеился к Ольге один мужичок из выздоравливающей команды, умеющий помочь по дому и по хозяйству, он мне казался стареньким, хотя было ему всего лишь тридцать пять лет. И дела у Ольги с этим мужиком пошли несомненно лучше. Что ей от меня, бестолкового «ветродуя»? Я не ревновал Ольгу к новому кавалеру и даже испытывал освобождение от связи, гнетущей меня, почитывал книжонки да гнил потихоньку под гипсом, и для любовных утех, в общем-то, мало годился по этой немаловажной причине.

Ольга оживилась, улыбочивой сделалась. Лиза сообщила мне, что новоявленный кавалер, мужичок госпитальный, пообещал остаться с нею и даже расписаться. И совсем хорошо мне стало, хоть одна судьба устроилась, хоть одной доброй женщине повезло. Прежний муж, тот, что погиб на войне, рассказывала Ольга, куражлив был и поколачивал ее. Я внимательно присмотрелся к моему сменщику и решил, что этот драться не будет – мастеровой потому что, баб же, да еще смиренных, бьют гуляки и бездельники вроде моего папы.

\* \* \*

В Хасюринский госпиталь зачастили комиссии. С нами-то, ранеными, они не больно общались, ходили вокруг старой начальной школы да о чем-то друг с другом беседовали, записывали в бумаги, покуривая и наслаждаясь последним осенним солнышком, валялись в саду. И хотя раненые сидели на дровах, на скамьях и на земле вокруг школы, их словно бы не замечали и лишь коротко бросали утром: «Здрасьте!», а вечером «До свиданья!» – это по части просвещения, дошло до нас, воображают, как вернуть школу на прежнюю линию и сколько денег надо на ремонт. Подписывают, думают, планируют – на этом деле у нас малого начальства, что вшей на гаснике, говаривала моя далекая бабушка.

Но вот наехал чин так чин, аж в генеральских погонах с малиновой окантовкой, следом за ним частила чищеными сапожонками Чернявская, пыхтел Владыко, скромно прятался за их спины главный врач, мужчина еще молодой, румяный, но весь уже лысый, должно быть, от умственности. Этого главного врача никто из нас еще в глаза не видел. Порхала впереди представителей «сверху» заведующая нашим отделением, и хмурились станичные начальники. Что-то беспрестанно чирикала, показывала, объясняла Чернявская. Перед приездом важного генерала госпиталь наш скребли, белили, даже стены освежили, где от давленных клопов было сплошное абстрактное искусство, сменили белье в палатах и снова нас «побанили».

Заведение наше, должно быть, не очень-то радовало глаз важного гостя и на ответные согласные кивки его не воодушевляло. Он все больше и больше хмурил, что-то резкое сказал заведующей «хвилаала», и она, подавившись словом, всхлипнула и отвалила в хвост процессии.

Ранбольных по одному вызывали в ординаторскую, где госпитальные медицинские светила обрядились в халаты, генерал, больной с лица, лишь снял фуражку и сидел отчужденно за столом дежурного врача, как бы подчеркивая всем своим видом, что к подсудимым, то есть к этой челяди в халатах, расположившейся кто на чем, он

Астафьев Виктор Петрович Весёлый солдат [astafevvictor.ru](http://astafevvictor.ru)

никакого отношения не имел и иметь не собирается.

Я попал на допрос одним из первых, поскольку досталась мне от родителей фамилия на букву «а», и много я из-за этого уже имел неприятностей, особенно в школе. То ли дело фамилия на букву «ч» или «щ», а еще лучше – на «я»: пока до нее доберутся, уже и урок кончится, если комиссия какая, суд, пусть даже и общественный, – ему уж спать захочется от усталости.

На коленях заведующей отделением лежали стопки историй болезней. Когда я вошел и поздоровался, мне предложено было сесть на стул, стоящий посредине ординаторской, прямо против генерала. Заведующая листала мою тощенькую историю болезни, сверху которой была пришта ниткой фронтовая карточка с нарисованным на ней в углу человеком в анатомическом разрезе и черными указками, уткнувшись в него или в наиболее уязвимые места в теле или на теле, где перевязывать. Карточка вся была в отметках, скобках, крестиках, номерах, росписях и в пятнах крови, уже почерневшей, выглядевших отцветающими ученическими кляксами. Большой, извилистый путь прошла эта карточка от Карпат, от Дуклинского перевала и до Кубани, куда я попал на лечение и считал, что здесь все мои муки и потрясения кончатся.

– Инфлюэнция, загноение раны, отмирание нижней части руки, не исключена ампутация.

– Ага! – разом взорвался я. – На передовой, в палатке, под обстрелом, начальник нашего медсанбата не стал отрезать руку, пожалел меня, парнишку...

– А этот парнишка, между прочим, шляется по бабам, пьянствует, – вставила Чернявская.

– Это правда? – спросил генерал.

– В Гамбурге все пьяные!

– При чем тут Гамбург? Фашистский город! С вами серьезно... – побагровела Чернявская.

История про Гамбург проста: это когда русского купца, путешествующего по Европе, спросили в России, какие у него заграничные впечатления. Он сказал, что в Гамбурге все пьяные! Глупый, в общем-то, но очень живучий анекдот. Генерал его конечно же знал, но Чернявская из-за огромной занятости не успела выучить.

Генерал усмехнулся, как бы давая мне понять: ничего, дескать, ты их! Продолжай в том же духе.

– Ну как вас лечат, снабжают?

– А кто вам сказал, товарищ генерал, что нас здесь лечат? – я кивнул головой направо, где сидела и нервно курила Чернявская, за нее пытался и не мог спрятаться обливающийся потом Владыко, стиснувший в жмене комочек мокрого носового платка. – Они?

– Ну а все-таки? Все-таки? – встряла в разговор заведующая отделением. – Мы же не баклуши здесь обиваем.

«Груши», – подхватил я про себя, а вслух спросил:

– Что же, товарищу генералу не видно разве, как нас здесь лечат? В каких условиях мы находимся? Может, достать из-под гипса и показать горсть червей или вшей?..

– Ну, знаете! – вскочила с места Чернявская и заметалась по ординаторской.

– Не нервничай, солдат. Не нервничай! – остановил меня генерал и скомандовал вжавшейся в угол и умирающей там от страха медсестре: – Дайте раненому воды, порошок какой, что ли, успокоительный. Есть у вас порошки-то хоть какие-нибудь, или все продали и пропили? А вы съядьте! – указал он Чернявской на деревянный диван. – Привыкайте сидеть, – мрачно добавил он.

Порошок и воду я отстранил и, собравшись с силами, рассказал подробно, как раненым тяжело после передовой, как одно доброе и святое уж теперь, по воспоминаниям, место было на моем пути – санпоезд, люди в нем по-настоящему милосердные, сестрам же Клаве и Анечке надо по ордену дать за их трудовой подвиг.

– Они в пути нас сохранили, сберегли, а эти Петю Сысоева угробили, богатыря, Стеньку Разина.

– Вы подбирайте выражения! Ну, книгочей! Ну-у, книгочей!..

– Любишь читать, солдат?

– Читал и читаю всюду, чтоб спрятаться...

– Язык у тебя, однако... – буркнул генерал. – Иди давай! Пошли следующего.

\* \* \*

Через несколько дней после той исторической беседы я уже был в Усть-Лабинском госпитале вместе с большой партией «хасюринцев» – началась полная ликвидация паскудного, страшного заведения, грязного гнезда, свитого под благородной вывеской «Госпиталь».

В Усть-лабе госпиталь был большой, тоже бедный, тесный. Но порядок царил

Астафьев Виктор Петрович Весёлый солдат [astafevvictor.ru](http://astafevvictor.ru)  
строгий, койки стояли сплоченно, с матами, витыми из ивы вместо досок, с набитыми соломой матрацами. Кормили здесь бедно, но опрятно. В Хасюринской мы привыкли жрать супу и каши кто сколько хочет, оттого что многие раненые столовались у своих шмар или кто подрабатывать мог в колхозной столовке, которые и вовсе не питались, жили где-то, воровали, пили.

В Усть-Лабе я пробыл декаду. Хасюринцев все валили и валили сюда – благо близко и почти всем был вынесен приговор от осматривающих врачей: «Рана запущенная – ампутация», «Рана запущенная – операция», «Рана запущенная – срочно в госпиталь такой-то...».

Борьке Репяхину отхватили выше колена ногу, и он узнал, что если бы еще маленько погулял по Хасюринской да покрутил дальше свою испепеляющую любовь, то мог бы вообще более ни разу не успеть влюбиться.

Борька Репяхин лежал бледный от потери крови и растерянности, пытался бодриться: мол, хрен с ней, с ногой, – еще отрастет, какие его годы, зато уж дал жизни, повеселился. А на ухо мне шепнул: «Говорят, хасюринские начальники скрывали смертность или переталкивали в другие госпиталя обреченных людей»...

– Не-ет. Я буду учиться на юриста! Буду! Чтоб давить таких сволочей! ..

Сырым и холодным днем я вместе с двадцатью ранеными прибыл на поезде в Краснодар. Со станции не пешком, в санитарной крытой машине был доставлен на улицу Чкалова, в маленький госпиталек с длинным и витиеватым названием, где лежало много контуженых, память и прошлое свое утративших, где четыре раза ложился я под наркоз на чистку кости и оставался хоть со слабою, но своею рукой, где я пережил свою первую и светлую любовь, где, пробыв до марта, увидел я много страданий и сам страдал, где бедность, убожество, недостатки возмещались стараниями, заботами и добротой obsługi госпиталя да нашим солдатским неунывающим нравом.

Из Краснодарского госпиталя я был отправлен в запасной полк, располагавшийся на окраине героического, в прах разбитого города Сталинграда.

\* \* \*

К моему удивлению, город был уже немного восстановлен и пробовал жить, во всяком разе, по всем развалинам копошились люди и дым шел из куч кирпичей, хоть и не очень густой, но все же живой.

На каком-то холмистом пустыре, со всех сторон обрезанном оврагами, уже собрано было и слеplено несколько казарм. В одну из них, еще строящуюся с другого конца, забранную посередине досками, поселили нас, сброд из госпиталей, пересылок, разного рода людом привитыми военными волнами к трагическому берегу, к разрушенному историческим землетрясением городу Лиссабону. Впрочем, думаю, что Лиссабон после землетрясения выглядел получше, там хоть деревья, какая-то трава, кустарники, случайное строение уцелело, здесь же было все выжжено, свалено в кучу, редкие скелеты домов по центральной части города зияли пустыми черными зеницами, ночью в них мелькала, будто ныряла в ледяную прорубь, горя не ведающая луна.

Все в бывшем городе пропахло гарью, пеплом, кирпичной пресной пылью, убитые люди были захоронены лишь в самом городе, но в развалинах, по глухим оврагам, под осыпным берегом все обнаруживались и обнаруживались полуистлевшие трупы.

Здесь, под городом этим, сложил свою голову мой дядюшка, Иван Павлович Астафьев, с четырнадцати лет как подкулачник, стало быть, непримиримейший враг родного народа и власти, высланный в Игарку с мачехой, большим дедушкой и пестрым семейством. Отца его и моего деда вместе с другим дядей, Василием, на всякий случай припрятали в тюрьму, сделали им выдержку, чтоб поняли они, что советская власть шуток шутить с разным «элементом» не собирается.

Ваня сразу же определился на работу, ворочал на бирже древесину для заграницы, бил «лучшим в мире стандартом» по голове мировому капитализму и империализму. Был Ваня певун, книгочей, спортсмен, когда-то свел меня за руку в городскую библиотеку и некоторое время следил за тем, чтоб я не придурился, не шелестел страницами, а читал. В 1940 году, уже после начала учебного года, в Ачинске открылся сельхозтехникум, в котором был большой набор, и в «порядке исключения» разрешено было поступать туда – значит, выехать из Заполярья – детям спецпереселенцев. Обработанной толпой ринулись молодые куркули в науку, но через год так же дружно встали на защиту Родины – никто уже не брезговал ими, не считал их недостойными держать «святое» советское оружие в руках.

А держать его парни-спецпереселенцы умели! У Вани оборонными значками была увешана вся вельветовая куртка, с винтовкой он выделял такие кренделя, что любого врага мог на штык посадить или прикладом забить. Да вот не знаю, пришлось ли ему штыком-то?

Здесь, в Сталинграде, танками да минометами давили и глушили. Могила братская,

Астафьев Виктор Петрович Весёлый солдат [astafevvictor.ru](http://astafevvictor.ru)  
в которой покоится Иван Павлович, находится в пригороде Волгограда, в деревне Селиванихе.

Стала ли моему дяде пухом эта жесткая, малородная, кровью пропитанная земля? Сброду солдатскому в Сталинграде жилось глухо. Резервный полк ел клейкую пайку хлеба с вареной капустой, иногда каши половник перепадал. Заставляли работать. Но какова кормежка, такова и работа. До обеда доходяги приносили из развалин на стройку два кирпича, которые добывали и очищали там наши же резервники, после обеда приносили уже по одному кирпичу, итого три кирпича в день. Тут же их, эти кирпичи, бригада каменщиков «сажала на раствор», продолжая казарму вдоль и вдаль. По мере сотворения сырого пегого солдатского прибежища передвигалась внутренняя перегородка, и тут же пространство заполнялось вновь прибывшим контингентом. Сперва солдаты лежали на полу, застеленном польнью и колючкой, растущей по оврагам, потом откуда-то брались доски и возникали нары.

Прошла неделя, другая, третья. Резервники начали жаловаться на головокружение; обмундирование, уже и до того не раз бывшее в употреблении, от кирпича, пыли и лазанья по развалинам обрело единый цвет и вид. Вечером его хлопали о стену, починивали, латали, но тлея материя расплзлась по швам.

Назначенный старшим десятка, как-то под вечер неспешно вел я свою команду, вооруженную кирпичом, и сам нес его под мышкой, озирая окрестности и редкую, уныло бредущую, даже ползущую по ним толпу бесцветных, вялых людей. Взял да и запел: «Сколько их! куда их гонят? Что так жалобно поют? Домового ли хоронят, ведьму ль замуж выдают?..»

Послышались смешки, в массах работяг возникло некоторое оживление. Тут, в Сталинграде, слыл я уже «веселым солдатом», но я не был веселым, взвинченным был, тяжело перенося разлуку с первой моей любовью, отчего-то запрезирал себя с этими кирпичами, в этой драной одежде, в сырой полутемной казарме ворочался ночами на смятых колючках и упорно сопротивлялся, чтобы не написать «ей» письмо. И чем больше я опускался, превращаясь в доходягу, тем сильнее сопротивлялся, чем дольше не писал, тем красивей, дороже становилась мне моя возлюбленная, но какое-то мелкое, мстительное отчуждение или даже закоренелое чисто российское зло: «Мне худо, и ей пусть будет худо. Пусть! Пусть!..» – тешило меня и что-то во мне разжигало или, наоборот, спало.

«Пой еще, солдат. Пой!» – попросили меня доходяги из моей команды. Я окинул взглядом лежащий внизу город, уныло одноцветный от пепла и пыли, неподвижный, вроде бы запланетный; светящуюся вдали лунным серпом широкую реку под названием Волга, никого и ничего в себе не отражающую, пустынную. Над рекой медленно и безразлично садилось усталое солнце, разливая вокруг себя лампадный свет. От солнца этого уже сейчас, ранней весной, веяло сохлостью, но не теплом, трава, едва пробудившаяся по взлобкам, утайкой пробуящая зеленеть, редкие кусты над оврагами и по вымоинам не скрашивали, не заполняли, не пробуждали пережатой, оглохшей, мертвой земли, мертвого города. По оврагам давно иссохли, только зародившись, может, и не зарождались вовсе, весенние потоки, сорила липким семенем прошлогодняя польнь, колючка, костистый низкий татарник, что так вот после потопа, сухие, бескровные, вроде бы и родились сто, а может, и тысячу лет назад, сорили семя на горячую золу извергшихся вулканов, на вывернутую, съжившуюся от страха землю...

«Спускается солнце за степи, вдали золотится ковыль, – колодников звонкие цепи взметают дорожную пыль...» – сразу звонко и высоко взвился мой голос. Доходяги моего десятка, затем и разбродно бредущая по неровной польинной дороге толпа, давно уж разучившаяся петь и говорить нормально, сперва разрозненно, но все ладней, все пронзительней повела: «Идут они с бритыми лбами, шагают вперед тяжело-о-о...»

Сзади скрипнули тормоза, и облаком овеявшаяся автомашина с откинутым верхом остановилась подле меня.

– Эй ты, соловей! А ну поди сюда! – махнул рукой поднявшийся с сиденья полковник.

Я подошел с кирпичом под мышкой и не доложил ни о чем. Мимо автомобиля брели солдаты и сами уже продолжали песню: «Уж видно, такая невзгода написана нам на роду-у-у...»

– Поешь, значит? – нагоняя на себя суровость, поинтересовался полковник. Я покивал ему головою. – А что поешь-то, понимаешь?

– Песню русского классика Алексея Константиновича Толстого.

Полковник еще пристальней меня оглядел и скривился:

– Гр-рамотей! Ты понимаешь, что это значит? Тут, в городе, названном именем великого вождя, где кругом героические могилы...

Я улыбнулся, мне думалось, презрительно или надменно, но вышло, поди-ка, просто печально.

– Ты понимаешь?

Астафьев Виктор Петрович Весёлый солдат [astafevvictor.ru](http://astafevvictor.ru)

– Понимаю, понимаю! – начал звереть я, и спутники большого начальника, молодящаяся дамочка и хлыщеватый лейтенант, встревожились. – Тут полагается петь только бравые песни и плясать гопака...

– Ты у меня с-смотри!..

– Смотрю. Одним уже глазом...

– Ишь распустились! Под трибунал бы тебя, за вредную пропаганду!..

– А тебя за тупоумие и жирную харю – в генералы!

– Ч-что?! Что ты сказал?! Да я!..

– Не якай, тыловая крыса, а то как хуякнем по кирпичу – и отъекаешься сразу! Эй, ребята! Приготовили кирпичики! – скомандовал я, когда экипаж машины боевой утянулся, вжался в сиденья, и, несмотря на пыль, сделалось видно, как бледнеют бравые командиры.

Доходяги мои, хорошо понимая, чем это может кончиться, все же перехватили кирпичи из-под мышек в руки. Шофер, наверное, вспомнил сразу про четвертую скорость, полковника, онемело махающего руками, бросило боком на сиденье, машина юркнула за поворот и скрылась, оставив после себя труху медленно оседающей пыли.

Мы покурили, передавая друг другу сигарку.

– Ну какая только тварь не командует и не распоряжается в тылу, – заговорил пожилой солдат с завязанным ухом. – А на передовой один главнокомандующий – Ванька взводный! Развелось этих комчиков, чисто вшей на святом гаснике...

– Затаскают тебя теперь, парень, – пообещал другой солдат.

– Дальше фронта не пошлют, больше смерти не присудят.

– Это так... Пошли давай. Ужин скоро. А то вынут наш капустный лист из хлеба.

\* \* \*

В недостроенной казарме за досками начиналось шевеление, звяк котелков слышался, звучные команды, начало до потемок бегать и даже петь строевые песни какое-то войско. Приходили из-за стенки офицеры в новом обмундировании, выстраивали нас, оглядывали, несколько человек, не совсем еще разбитых, увели с собой – формировалась команда для пополнения стрелковой дивизии. Я уж из кожи лез, чтобы выглядеть бравым, шурил кривой глаз, чтобы сойти за огнеубойного стрелка, говорил даже одному офицеру, что провоевал почти год с ним, с кривым-то глазом, и стрелял отменно, из карабина угрожал немца, – не помогло, не брали меня за заборку.

Но в заборке были уже проделаны ножами дыры и дырки, две доски были отняты от бруса – мы вплотную начали общаться с маршевой командой, искали и находили земляков, вели мелкий торг и обмен, и – о радость! о счастье! – нашелся боец из нашей дивизии. Мы с ним договорились вместе добираться до фронта, там отрываться от пехотной команды и начинать поиски родных артиллеристов. У меня уже такой опыт был, я искал после госпиталя родную часть и нашел! Боец был ободрен, говорил, что надеется на меня, а я на него, и когда началось переобмундирование маршевиков, мой новый кореш приделался в помощники пэфээховцам, увел у них комплект оборудования, и, переодевшись, я забрался рядом с ним на вагонные нары спать. Утром уже гремел под нами колесами вагон, от всей души я отрывал то, что непременно понравилось бы полковнику, так истово отстаивающему идейность за десять тысяч километров от фронта: «В бой за Родину, в бой за Сталина, боевая честь нам дорога...»

На станции Волочивск, на старой нашей границе, встречал эшелоны военный кордон, настырный, пронизательный народ служил на том кордоне.

Оказалось, что не один я был такой находчивый и ловкий! Много желающих было увильнуть с фронта, но и не меньше желающих устремлялось на фронт или просто с разными неотложными делами пошиваться за кордоном: беглые из тюрем, любители приключений, жаждущие поднажиться, скрывающиеся от властей, кто и от семей. Жизнь многообразна.

Отсеяли меня из эшелона, под конвоем увели в комендатуру – довоевался! Допрыгался! Долго проверяли собранную в комендатуре толпу и которых вояк оставили для «дальнейшего прохождения», нас же, нестроевиков, жаждущих попасть в Германию, «к своим», насрамили, накормили, сказали, чтоб мы «не дурели», что без нас уже «большевики обойдутся», и загнали в Ровно, в конвойный полк, дослуживать «на легкой службе» остатные воинские сроки – победа уже близилась, уже ее дальние вспышки опалили «логово» и громы сотрясали и рассыпали ненавистный город Берлин.

\* \* \*

Этот сбродный полк и «легкая» в нем служба сидят у меня в печенках до сих пор. Казармы полка располагались в старых не то польских, не то наших, еще царских времен, строениях. Скорее всего, строили их и гноили в них молодой люд и те и

Астафьев Виктор Петрович Весёлый солдат [astafevvictor.ru](http://astafevvictor.ru)

другие, да еще, наверное, и третьи – немцы, которые не могут пройти равнодушно мимо любой казармы, чтоб не помаршировать вокруг нее, не полежать на ее нарах, не порадоваться спертому, затхлому казарменному духу, нанюхавшись которого можно и нужно одурело и угорело переть в поход, тыряться на что и на кого угодно.

Казармы располагались на самой окраине Ровно, кажется на западной, и наша глубокомысленная советская система, не терпящая никаких вольностей и излишеств, внесла некоторую привычную прямолинейность в образ и архитектуру старорежимных помещений: были убраны перегородки и вместо трехъярусных топчанов сколочены сплошные низкие нары. Тюремное привычное удобство, и главное, есть возможность наблюдать дневному и одновременно всякой казарменной твари за всей казармой, теплее спать, способней вше плодиться. А что будут хромоногие, больные, припадочные, гнилобрюхие и гнилодыхие недобитые солдаты «дослуживать» и теснотиться – об этом как-то никто не подумал, стандарт, хоть из устава, хоть из башки, он человеческих отклонений не признает и с индивидуальными запросами да хворьями подчиненных не может считаться.

Сырые, мрачные, бесконечно длинные и глубокие, как братская могила, склепы поглотили нестройной, пестрый люд, которому посулили в мае переобмундирование, но так на посуле и остановились – вот-вот должна была наступить долгожданная победа, до тряпок ли тут. Надо фанфары готовить, медные трубы и тарелки чистить, речи писать, плакаты малевать, флаги шить.

Из Ровно ощущение весны и победы как-то вроде бы отдалилось на неопределенное расстояние и сроки. Конвойный полк не только конвоировал арестованных в ссылки, он охранял тюрьмы, эшелоны, нес патрульную службу, помогал комендатуре, добывал по селам харчи и часто при этом «вступал в боевые контакты» с бандеровцами.

Час от часу не легче! Мне для разнообразия жизни только этих «контактов» и недоставало на достославном пути.

Что за «контакты» происходят на ровенских землях, мы узнали очень скоро: по тревоге были подняты все, кто был вооружен и мог двигаться; под утро в машине, в глухо закрытом брезентами кузове, привезли четыре горелых трупа. Куда, зачем они ездили – я не сразу узнаю, но солдаты-знатоки уверяли, что сожгли их живыми.

Были похороны. На машинах везли заколоченные гробы. Оркестр играл марш Шопена. Жители города Ровно за процессией не шли, двигались одни лишь военные из конвойного полка и от комендатуры. Военный эскорт с заряженным оружием сопровождал процессию, идя спереди, сзади и по бокам ее. «Могут гранатой лупануть», – разъяснили старожилы полка.

Я смотрел на лица западных украинцев, в тридцать девятом году по сговору с Германией освобожденных из-под чьего-то ига, правда непонятно, из-под чьего. По выражению глаз и по стиснутым губам украинцев было видно: они тоже не поняли и, главное, понимать не желали. Большая часть гражданских шла себе по своим делам, не обращая никакого внимания на похоронную процессию, молодые, показалось мне, нарочито громко разговаривали, смеялись. Были люди, что скорбно прикладывали платки к глазам, крестясь, стояли обочь дороги, но то были все больше старые люди или переселенцы из России.

На ровненском кладбище большая территория была заселена свежими могилами. Пирамидки в отдалении уже смыкались в этакий голый срубленный лесок, на пеньки которого воткнуты стандартные железные звездочки. «Это ж по всем западным селам и городам такие украшения?! Да тут идет война!» – ахнул я и скоро убедился: да, война! И очень непонятная, но жестокая, и в ней больше всего достается мирному, ни в чем не повинному люду да недобитым на фронте солдатам.

\* \* \*

Четырех женщин привели из ровненской тюрьмы под конвоем – стирать солдатское белье. Мне и припадочному женьке-морячку выдали по автомату, велели зорко стеречь этих женщин в прачечной, не вступать с ними ни в какие разговоры, тем паче в «отношения», «делки» иль «половые контакты»: всякое нарушение сих правил рассматривается как «враждебная вылазка, несоблюдение устава и карается...».

Ну, этим нашего брата не возьмешь! Мы и посерьезней кой-что читали, привыкли к писаному настолько, что буквы на нас, как звуки на глухонемых, не производили никакого впечатления, если и производили, то следовало обратное действие – тихое им сопротивление.

Скинув с себя верхнее, оставшись в том, в чем купаются деревенские женщины, прачки круто взялись за дело: одна обдавала белье кипятком из крана и оставляла его париться в деревянных чанах, другая ворочала толстым стягом это кисельное варево из белья и на стяге же разносила его по корытам, третья молотила его, громыхала по стиральной доске, будто лупцевала из малокалиберной зенитной пушки по вражеским самолетам, четвертая была беременная, звали ее Юлия, отжимала и развешивала белье. С самого начала, как пришли жинки, все они говорили разом, кроме Юлии; та, что громыхала стиральной доской, попросила закурить, женька ей

Астафьев Виктор Петрович Весёлый солдат [astafevvictor.ru](http://astafevvictor.ru)  
дал закурить, огоньку поднес, да еще и на ухо ей что-то шепнул. Она захохотала, прикрывшись тыльной стороной руки, поводила черными глазами по помещению и сказала: «Гэтэ, маскаль!» Эту звали Тамарой.

Целую неделю шла стирка, и неделю мы с Женькой стояли на посту в прачечной. За это время было перестирано не только наше, но и офицерское белье, в том числе и постельное. Что-то ценное принесли жинки из тюрьмы, где народу было видимо-невидимо и порядки были не очень железные. Это ценное – золотые сережки, узнал я после – Женька сбыл на рынке, накупил выпивки, еды. Прикончив дневную стирку, закрыв вход простынями и выдворив меня в тамбур, на пост, как малоценный кадр, заключенные и постовой загуляли, предварительно вынеся мне на газете еды и яблочного забродившего сиропа в бутылки.

Разика два Женька уединялся с Тамарой в карантинном домике, находившемся через двор от прачечной. Там, в углу территории полка, зябко и стеснительно кособочился нужник с буквой «ж», написанной «вуглем». На сооружении были сорваны с одной петли дверцы, и с боков оно было источено и издолблено ножиками, чтобы, если какая «ж» решится посетить нужное позарез заведение, можно было подсмотреть, что оно и как там. Никто из офицерских жен в нужник тот не ходил, если и посещался он, то глухой ночью. Жинкам-прачкам куда было деваться? Бывший матрос Женька стоял на расстоянии, доходяг, желающих смотреть «кино», отгонял прочь заряженным автоматом.

Проныра Женька изловчился добыть ключ от карантинного домика и обходным манером уводил в него «на осмотр» смуглую, затаенно жгучую Тамару. За это за все – за организацию пьянки, за наслаждения – Женька мог получить десять лет штрафной, я, как пособник, – пять или тоже десять. И когда он предложил мне «прогуляться» с одной жинкой, я, подавляя в себе низменные страсти, честно признался, что боюсь за себя и за него, вообще за все боюсь: ведь Победа, жизнь – вот они, рядом, мы погубим себя ни за понюх табаку. С облегчением я вздохнул, когда стирка закончилась, мы отвели жинок к воротам тюрьмы и сдали их тамошней охране. На прощанье советский боевой моряк взасос, если не взаглот, целовался со смертельно сцепившейся с ним смуглой украинкой, и еле их, этих полюбowników из разных вражеских лагерей, мы расцепили; только моя бывшая специальность сцепщика, громко именуемая «составитель поездов», небось и спасла положение.

Пока жинки стирали да тараторили, узнал я, но не до конца понял, что творится в Западной Украине – кто тут кого бьет, кто за кого и за что борется.

Со времен «освобождения» западных областей в глухих лесах и ковельских болотах завелось и не утихало партизанское движение – недобитые поляки, сидевшие по норам города Львова, переименованного немцами в Лемберг, и вокруг него, по лесным ямам, истребляли и немецких, и русских, и украинских людей, разумеется из-за угла, они называли себя повстанцами; немцы, затем и наши наименовали их бандитами.

Украинцы сперва били друг дружку, затем попробовали пощекотать пулями из леса немцев, но рейхскомиссар Кох так неласково обходился со всеми, кто обижал оккупантов, что потом украинские самостийчики лишь отбирали у немцев оружие и имущество, самих же оккупантов отправляли с богом на все четыре стороны. Сельские украинцы выбивали городских, те и другие презирали и выбивали поляков, поляки поляков тоже били, утверждая лучшую в мире демократию, и одни защищали правительство, сидевшее в Лондоне, другие боролись за боевой дух маршала Смиглы, ведущего разгульный образ жизни в Европах, третьи с оружием в руках защищали только свой дом, свою удобу и семью, потому что все от них требовали, отнимали, что можно было сожрать, выпить, продать, обменять. Были еще и четвертые, и пятые – всеми брошенные, всеми преданные, одичавшие, усталые до смерти, доведенные до отчаяния.

Но вот появилась сила, которая все эти разложенные банды, ячейки, отряды, села, хутора объединила в борьбе против себя, – это наши доблестные партизаны, все сметающие в рейдах по Западной Украине. Огромный, сокрушающий удар они нанесли немецким тылам, много немецких войск сковали и заставили держать большие гарнизоны возле железных дорог, мостов, в городах и на станциях. Мне довелось видеть Ковельскую железную дорогу, буквально засыпанную вагонами по ту и другую сторону, паровозами, боевой техникой, – важная эта артерия, по существу, была под контролем партизан, да и шоссейные дороги свободой передвижения не могли похвастаться.

Но целым соединениям партизан надо было чем-то кормиться, чем-то отапливаться, согреваться, обстирывать и обмываться, стрелять и вооружаться, лечиться, бинтоваться. И черной грозовой тучей, все пожирающей саранчой плыло по Западной Украине партизанское войско, в котором, конечно же, было всякого «элемента» хоть пруд пруди. Не очень-то наши партизаны разбирались, где «свои», где «чужие», где «наши», – мародерство, грабеж, насилие переполнили чашу терпения

Астафьев Виктор Петрович Весёлый солдат [astafevvictor.ru](http://astafevvictor.ru)  
крестьян-западников, они примкнули к разрозненному еще движению «самостийщиков»,  
взялись за оружие, тут и «вожди» сразу же нашлись, и «отцы», и борцы, и братья  
идеологи, и направители, и миссионеры, и спасатели, и миротворцы.

И вот фронт давно перевалил западные области, войско достигло Германии,  
«герои-ковпаковцы» и прочие «герои», кто влился в войско, по привычке  
мародерствовали, насиловали и грабили уже в «логове», кто дома горилку пил и по  
своему усмотрению правил в деревнях, чинил суд и расправу вокруг Лемберга, снова  
сделавшегося Львовом, вокруг Ровно, Ковно, Станислава, Ужгорода, по всем  
западным областям. «Выплескиваясь» и через «старую границу», в Радяньскую  
Украину, шла скрытая подлая война, и пока что конца ей не было видно.

Я никогда не видел вживе «батьку Ковпака», но одного его сподвижника, героя  
Советского Союза Умова, мне лицезреть довелось. В Доме творчества в Ялте. Он сам  
ко мне подошел, представился, при этом раньше, чем «Герой и генерал», произнес с  
очень важной интонацией: «Член Союза писателей». Был он суетлив, малограмотен и  
жаден до беспредельности. Жадность-то и жажда самовозвеличивания и бросили его  
на стезю творчества. Как и всякий обыватель, да еще из военной среды, он был  
уверен, что писатели и артисты деньгу гребут лопатой, да все «задаром», и деньга  
та им «не к руке» – пропивают они все, а вот бы ему...

Генерал Умов имел в Киеве одну из лучших квартир, на Крещатике, в  
правительственном доме, бесплатную дачу под Киевом, бесплатный проезд, пролет и  
проход, снабжался из «отдельных фондов», где за продукты платил ровно столько,  
чтоб была видимость платы, получал огромную пенсию, имел машину, шофера,  
потихоньку реализовывал урожаи фруктов и ягод с казенного участка, но «оптом же,  
оптом приходится сдавать – мне ж самому неудобно торговать на рынке, – а оптом  
какая плата? Грабеж!». И в литературе грабеж. Сам-то он писать не может, учиться  
уже поздно, выходец же из бедноты, какая грамота? А материала у него в памяти,  
материала! И карты есть, и дневники, и бесценные документы, и редкие книги, и  
партизанские записные книжки, и немецкие, и бандеровские письма, и  
фотоматериалов куча – он же знал, что все это пригодится потом, старательно  
готовился к мирным трудовым будням.

Но талантливые писатели сами пишут, на уговоры и посулы не поддаются,  
приходится нанимать поденщиков, чаще всего пропойц или несостоявшихся писателей,  
или еще хуже – тех, кто писал когда-то здорово, да загудел и живет шашками.  
Живут на даче, жрут, пьют, дебоширят, дело идет с пятого на десятое. Две  
книжечки, правда, вышли, сдана третья, но ведь и в издательстве тоже надо  
подмазать: рецензентам дать, редактору дать, директора свозить на дачу,  
поугощать, да еще править, редактировать рукопись, без этого у них уж никак! А  
правщику опять плати, корми его и пои. Вот найти бы ему хорошего, постоянного  
писателя, ну пусть бы он днем свое писал, вечером бы его, генеральские, записи о  
рейдах, походах и партизанском героизме до ума доводил. Он бы тогда ни за чем не  
постоял: пятьдесят процентов гонорара, само собой – дача, питание, фрукты,  
купание – все-все пожалуйста, даже с семьей можно...

Я спросил генерала, почему он адресуется ко мне с этими делами, ведь я никогда  
литработчиком не был, ни с кем вдвоем не работал, да и материала своего у меня  
столько, что дай бог его хоть частично реализовать за свою жизнь, да и голова  
моя больна после контузии, глаз видит только один, хватает меня лишь до обеда.

– Вы знаете, – зарделся старческим румянцем седой генерал, отпустивший по моде,  
как «у писателя», длинные волосы. – Вижу, люди русские приехали, скромно одетые,  
скромно себя ведут. Спрашиваю ребят: кто такие? Они мне сказали. Я, конечно,  
ничего, к сожалению, вашего не читал – некогда читать-то, да и тихо читаю,  
говорю, грамота мала. Вот взял в библиотеке вашу книжку, прочитал кое-что.  
Тала-а-антли-иво-о-о! Ничего не скажешь, та-ала-антливо! И смело! Молодец! Вот я  
и подумал, что вам совсем нетрудно... А у вас дети... всякая копейка не лишняя...  
Может, бы вы...

Разумеется, я решительно отказался от творческого содружества с генералом, но  
он надежды не терял, все приставал ко мне с предложением подумать, и однажды я  
не вытерпел, дерзко спросил его: куда ему столько денег? Ведь они, и только они,  
да жажда славы влекли его в литературу.

– А внуки?! – как мальчику-несмышленишу, ответил он. – Что ж им, моим внукам,  
ни с чем оставаться на этом свете...

Думаю, что ни внуки, ни правнуки этого героя и члена Союза писателей ни с чем  
не оставались и не будут оставаться, будут довольствованы по первой  
коммунистической категории.

\* \* \*

Женя-морячок все-таки влип в историю. У него, видать, что-то осталось от  
продажи сережек, и он, вырвавшись в город, напился, напившись, явился в нашу  
нестроевую угрюмую казарму и нарушил ее покой морской песней: «З-закурим



Астафьев Виктор Петрович Весёлый солдат [astafevvictor.ru](http://astafevvictor.ru)  
матросские трубки и выйдем из темных кайют, пу-усть во-волны да-аходят до рубки, но с ног они нас не собьют...»

На голос певца из каптерки выполз ротный старшина Гайворенко или Пивоваренко, не помню, и рявкнул:

– Пр-рэк-ратыть безобразе!

– А пошел бы ты на хуй! – последовал незамедлительный ответ.

– Шо? Шо? Та я тя!.. Та я тоби!.. У штрафной миста хватэ!

– Что ты сказал, гнида? – взяв за воротник ротного старшину и завернув на нем гимнастерку так, что заскрежетали и начали отскакивать железные пуговицы, хрустнула материя, поинтересовался боевой моряк.

– Та я лично ничего! – задергал усами, засипел старшина, который был, между прочим, и здоровее, и старше Женьки.

Матрос благородно отбросил его прочь и брезгливо вытер о штаны руки. Он бы еще попел, поколобродил, но явился вооруженный наряд из пяти человек, сзади которого скулил старшина и хмурился пожилой капитан – дежурный по части.

Женька не давался патрулю, пытался вырвать оружие, крыл безбожными словами всех и вся, вдруг вскрикнув: «А-а-ах!» – высоко подпрыгнул и свалился на пол, забился затылком о каменный, сырой пол.

Все в ужасе смолкли и расступились.

Пролежавши в госпитале, где эпилептиков было считай что половина среди больных, я бросился сверху, сел на грудь моряка, пытался разжать его стиснутые руки. Сил моих не хватало. Женька тупо колотился о каменный пол. «Ну че стоите?! – рявкнул я на патрульных. – Голову!..» И они прижали голову Женьки к полу.

Через какие-то минуты у Женьки выступила на губах пена, он глухо простонал, сморился и впал в беспамятный сон. Патрули помогли поднять Женьку на нары, затоптались возле них.

– Напывсь. Придуривается... – начал было старшина.

Я сказал тоскливо стоящему в стороне капитану с орденскими колодками и тремя ленточками за ранения, показывая на старшину:

– Товарищ капитан, уберите это барахло. И сами уходите. Тут бы врача...

Старшина Гайворенко или Пивоваренко был настоящий, дремучий хохол и обид, ему нанесенных, никому не прощал. Он преследовал нас с Женькой денно и ночью, напускал на нас тайных своих фискалов и сам не стеснялся подслушивать и подсматривать за нами. Он же спровадил нас с Женькой в поездку за картошкой в такое место, о котором услышав старожилы полка заявили, что едва ли мы оттуда вернемся.

\* \* \*

Конвойный полк, как и всякий другой полк, хотел жрать не один раз в сутки, и жрать хотел получше, чем какая-то там пехота или артиллерия в боевых порядках фронта. Овощи, мясо, фрукты конвойный полк добывал себе сам с помощью давно проверенной и надежной системы обложения. Там и сям по украинским селам местные власти, еще недорезанные националистами, обязаны были в счет налогов и сельхозпоставок подготовить столько-то и столько-то тонн съестного, а уж грузить и вывозить приходилось самим военным.

Под команду капитана Ермолаева, того самого, что возглавлял патруль, зауральского уроженца и бывшего пехотного командира роты, батальона и снова роты, но уже состоящей из доходяг и приспособленцев, кроме меня и Женьки угодило три молчаливых хлопца, крепко побитых, но оружие держать еще способных, хотя ладом стрелять никто из нас уже не мог и оружие было «не свое», где каждый стрелок знал каждую гайку, шурупину и «ндрав» его. Оружие было выдано с полкового склада по случаю поездки за картошкой.

Вез почти незнакомую дружину шофер по фамилии Груздев, грудь которого украшала узенькая желтая ленточка за якобы тяжелое ранение, и два военных значка, свидетельствующих о том, что он служил в кадровой армии. Вояк, видавших виды и познавших людей, одно это уже настораживало – как мог умудриться кадровик уцелеть до сих пор, не продвинувшись ни в гренадеры, ни в офицеры. Что же касается ленточки за ранение – тут нас тоже не объедешь, почти весь доблестный конвойный полк украшен был всевозможными лентами и ленточками, значками и значочками.

Еще когда мы снаряжались в поход за картошкой, шофер Груздев, осмотрев нас внимательно, сказал, что лучше бы не ездили никуда. Мы, естественно, поинтересовались, почему и как это мы можем не ехать, коль приказано.

– Мне ль вас, бывших вояк, учить придуриваться? – криво усмехнулся Груздев. – Да вы самого сатану объегорите и до припадку доведете.

Мы между собой решили, что, призывая нас придуриваться и не ехать, шофер Груздев тем самым хочет избавиться от поездки сам, но с нашей помощью. Дорогой мы придумали самую близлежащую версию о том, как Груздев избежал передовой, но

Астафьев Виктор Петрович Весёлый солдат [astafevvictor.ru](http://astafevvictor.ru)  
все же угодил в полк, где и убить могли: возил на машине крупного военачальника, воровал и развращался, наглед до поры до времени в меру, но потом зарвался, воровать стал больше, и ему мало сделалось штабных секретуток, и он зашурупил жену своего любимого командира – и за это за все поехал бить врага беспощадно, однако по пути в Берлин зацепился за эту вот боевую конвойную единицу и еще недоволен, харя!..

Однако ж шофер Груздев водил машину и в самом деле классно, чем еще больше утвердил наше мнение о нем как о воре и соблазнителе.

А кругом и обочь дороги, утонувшей в желтых уже умиротворенно и сухо колыхающихся хлебах, лежала холмистая, пространный земля в разложьях, высохших за лето и выкошенных, усыпанная стожками, цветом и формой похожими на успокоенные, на зиму запечатанные муравейники.

Там и сям по зеленой отаве ложков, из желтых хлебов молчаливо наступали лохматым войском кустарники, прошивающие желтые нивы крупными и темными солдатскими стежками, в дальней дали и по горизонту суслоны на фоне кустов как бы на всплеске замерли темными разрывами. Кое-где горизонт протыкал острой иглой темный костел, либо упрямо белела и золотилась крестиком подбористая церковка. Чем далее к горизонту, тем более сгущались и смешивались меж собой выводки деревьев, под которыми ютились хутора, деревеньки и хуторки, почти растворенные в исходном ослепительном солнце, под которым синим дымком низко стелились глухие ковельские леса.

Никакой враждебности и настороженности вокруг не ощущалось. Наоборот, все напоминало что-то далекое, полузабытое, из детства. Тянуло молчать и вспоминать лучшие отдаленные дни и потосковать о них да еще о чем-то, уже отдающем грустным ликом осени – усталостью ли от войны, пустых иль спаленных хуторов, неуютом ли полей, заброшенных и не убранных во многих местах, – но земля же, ее с детства привычный облик и величаво темнеющие леса вселяли в сердце успокоение, и это вот бескрайнее человеческое прибежище под названием «земля», осененное спокойным солнцем, вселяло в сердце и во все вокруг твердое и молчаливое право дышать, зреть, рожать во имя и для вечной жизни.

Село, куда мы приехали, тоже было пустынно, и в нем, разморенная предвечерним солнцем, была та ни с чем не сравнимая тишина, которая бывает в сельском месте после уборки урожая, полноправно царила тут сельская идиллия.

Угрюмый, в кирзачи обутый председатель сельского Совета встретил нас и проводил к кагатам – траншеям за селом, засыпанным картофелем, откуда мы быстренько и загрузили кузов машины, собрались уж было уезжать, но председатель молча указал нам на обширный запущенный сад, меж деревьев которого слоями желтели гниющие яблоки, чернела сгнившая черешня, вишня и еще неполностью опавшая переспелая слива отяжеляла прогнутые ветви. Мы набрали полные рюкзаки фруктов, собрались умыться у колодца, здесь нас переняла учительница, молодая, кругленькая, говорливая, пригласила к себе пообедать.

В доме, просторном и пустом, нас встретил учитель, синюшно-тощий, степенный, за которого говорила почти все слова учительница. Они быстро собрали на стол, выставили две бутылки фруктовой настойки.

Мы с радостью выпили и поели. В полку нашем отчего-то не принято было давать паек в дорогу, надеялись, видимо, опять на ту самую «находчивость», которая чаще всего проявлялась в том, что солдаты ломали ветки в саду или чью-нибудь старую ограду, пекли картошки и ели их от луза.

Учитель и учительница были ярославские родом, присланные сюда по распределению учить детей, и учили, как могли. Бандеровцы? А где они, кто их узнает? Они кругом – и нигде их нету. Просто ночью они, учителя, стараются никуда не выходить, днем селяне с ними приветливы, помогают им, чем могут, детей в школу отдают охотно, хотя есть семьи, из которых детей в школу не отпускают и дружелюбия никакого не проявляют ни к властям, ни к приезжим. Первоначальная тревога в страх еще не переросла, хотя они и слышаны о зверствах националистов, конечно же, могут прикончить и их. Ну так что ж – ведь «коль придется в землю лечь, так это только раз!..». Председатель сельсовета? Он тоже приезжий, угрюмый же и молчаливый оттого, что изранен, семью потерял на Смоленщине. Но у него, да и у них, учителей, все чаще мелькает мысль, что они здесь заложники, присланные для того, чтобы «ограждать» чьи-то интересы, в случае чего, их если схватят, может, обменяют на какого-нибудь отъявленного бандита или повесят. В последнее время зачастили в волость военные чины из Ровно, спрашивают, дознаются насчет бандеровцев. А что они знают? Да если и знают – не скажут, потому что военные те покрутятся, покружатся и уедут, а они вот тут как на куче горячих углей...

– Неправильно ты говоришь, Ляля, неправильно! – поправил свою спутницу учитель, куривший сигарку за сигаркой. – Нужно добросовестно, честно исполнять свои

Астафьев Виктор Петрович Весёлый солдат [astafevvictor.ru](http://astafevvictor.ru)  
обязанности, не чваниться, не чиниться, не хвалиться – и народ в конце концов поймет, кто ему хочет зла, а кто добра... – Он закашлялся, растер сигарку в консервной банке. – Кроме того... – сходил сплюнул за веник, в угол. – Кроме того, мы как-то мимо уха, не вслушиваясь, пропускаем гениальные слова Пушкина: «И милость к падшим призывал...» Милость! А не зло за зло, не презрение, не месть.

– Ой, Гена! – спохватилась учительница. – Милость милостью, а мы хлопцев задержали. Наговорились хоть. Я вас провожу до околицы.

Учительница долго стояла у околицы, под старым дубом, и махала нам рукой. За селом от дальнего леса наплывали сумерки, и темной сделалась крона дуба и сама одинокая фигурка женщины, которую отчего-то было жалко и не хотелось оставлять одну, – мне показалось, перестав нам махать, она сжала руки на груди и сама сжалась в узкую, беззащитно-одинокую, бесплотную былинку.

Вот на этой мирной и тревожной картинке я и остановлю рассказ о службе в армии и о войне. Уж очень хочется поскорее поведать о главных событиях в моей жизни – о женитьбе, а то казармы да казармы, будни да будни серые, военные. Должен же у человека быть какой-то если не праздник, то хотя бы роздых, ну не роздых, так хоть перемена, ну не перемена, так пусть крутой поворот к лучшим дням, надеждам, потому как все мы живем под одним красным солнышком, на Божьей росе, говаривала моя бабушка, и должны же у каждого из нас быть исполнены Создателем нам предназначенные дела земные и мечты пресветлые.

## Часть вторая Солдат женится

Служил солдат четыре года и холостым побыл четыре дни. Такая вот баллада на старинный жалостный лад слагалась в моей башке под стук вагонных колес и под шум встречного ветра. Путь с войны я довольно подробно описал в одной из повестей и повторяться не стану – противно все это не только вновь переживать, но даже и на бумаге описывать.

Катил я с незнакомой почти женщиной на ее любимую родину, на Урал, в ее любимый город Чусовой. Катил и все время ощущал томливое сосание под ложечкой. Куда меня черт несет? Зачем?

Но в той нестройной части, куда я с отрядом искалеченных фронтовиков, у которых открылись раны, угодил после конвойного полка и госпиталя, была туча девок-перестарок, и взялись они за нас решительно, по ими же установленному суровому закону: попробовал – женись! Были, конечно, среди нас архаровцы с опытом, уклонялись от оков, выскользали из цепких рук, что налимы. Конечно, и девки среди девок были, которым все равно как давать, по правилу или без правил.

Я же сам добровольно отдался провидению – ехать-то не к кому, вот и пристроился, вот и двигался на восток, намереваясь в пути узнать характер своей супруги. Наивняк! Проживши бок о бок с нею полсотни с лишним лет, я и сейчас не убежден, что постиг женский характер до конца. Знаю лишь доподлинно и твердо одно: баба есть бездна.

В пути, в народной стихии, баба моя присмирела, ужалась, в тень отодвинулась, и волей-неволей пришлось мне брать руководство семейной ячейкой на себя. Хватили мы под моим опытом не имеющим предводительством столько мук, страхов и горя – в мой солдатский рюкзак не вошло бы. А рюкзак был уемистый, цвета неопределенного, сине-серого, безо всяких излишеств и затей, полубрезентовый мешок с крепкой удавкой – ни карманов, ни клапанов, ни внутренних перегородок.

Я назвал это сооружение сталинским подарком солдату-победителю. С тем рюкзаком моим и с чемоданчиком, вдетым в кокетливый чехол, застегнутый на пуговицы, да еще с узелком, в котором были женские нехитрые пожитки, добрались мы до станции – столицы нашей Великой Родины, только-только спасенной от фашизма. Как поется в пионерской патриотической песне, в столице я «ни разу не бывал», супружница ж моя посетила ее два раза – по дороге на фронт и когда-то ее отпускали в связи с бедой, постигшей семью: украли корову, смыло огород вместе с урожаем.

По пути на Урал супруга моя останавливалась у тетушки – проводницы спецвагонов, квартировавшей в городе Загорске. И вот к этой самой тетушке наладилась супружеская пара, чтобы передохнуть, набраться сил для дальнейшего продвижения в глубь нашей необъятной страны.

Жена моя, попав в столицу, воспрянула духом, расправила крылья, взнялась во весь свой исполинский рост, ленинский, – метр пятьдесят два сантиметра. Мощь эта, группа крови и прочие подробности были означены в красноармейской книжке. Она сразу дала понять, что столица имеет дело с бойцами, повалившими матерый фашизм, что человек она только с виду незатейливый, на самом же деле о-го-го какой разворотливый, прыткий и бедовый.

Астафьев Виктор Петрович Весёлый солдат [astafevvictor.ru](http://astafevvictor.ru)

Для начала баба моя пихнула плечиком под задницу какого-то неповоротливого москвича, тот пошатнулся, но не упал, однако за очки схватился, отыскивая обидчика, уперся в меня взглядом и завел: «Поз-во-о-ольте!» Супругу мою, подлинную обидчицу, он и не заметил. Она ж, никого и ничего не признавая, никого и ничего не страшась, рвалась сквозь толпу, вонзалась в нее, будто остро откованный гвоздик в тухлую древесину. Но на мгновение опаматовавшись – не одна ж она движется с фронта, семейной ячейкой движется, – хватанула меня за полу шинели и поперла вперед и дальше, вместе с чемоданчиком, с узелком, с полным брюхом отходов, так как мы оба давно уж не ходили до ветру, и я опасался, кабы из меня прямо в метро чего не выдавилось.

Так вот, где несомые толпой, где самостоятельно, рубились мы в метро, проявляя истинный, не плакатный героизм, жена моя таранила всякие на пути преграды. И я еще успел мельком подумать, что с такой бабой не пропаду и всего, чего надо в жизни, достигну.

В неловкий час, в неловком месте пришло ко мне это умозаключение. В неловкий час, в неловком месте возникла наша семейная ячейка, и много ей всяких испытаний и приключений еще предстояло изведать.

Одно из них уже подстерегало нас тут, в метро, через какие-то минуты. Потом уж, на индустриальном Урале, услышал я индустриальную поговорку: рад бы вперед бегти, да зад в депо.

Но существу женского рода плевать на то, что сзади, ее занимало только то, что спереди. Кроме всего прочего, коммунистка она у меня и, значит, должна стремиться только вперед, только в борьбу, только к победам. Народ в метро тогда, в сорок пятом, если садился, то выйти никто не успевал, и, наоборот, если выходил, то войти времени не хватало.

Пропустив несколько поездов, жена моя с моим полупустым рюкзаком, достававшим ей почти до пят, хотя я и убавил лямки в два раза против нормы, уцелилась для броска в вагон. А я стою с чемоданчиком и узелком жены, уныло глазею на приближающийся поезд, в котором притиснуты, расплющены о светлые стекольные стены люди, и думаю: уж лучше бы нам пешком идти в Загорск, скорее добрались бы до тети...

А поезд шик-пшик – и двери в обе стороны, рокоча, отворяются. Жена дерг меня за рукав и поперлась прокладывать дорогу, где-то кому-то под мешок поднырнула, меж двумя толстыми бабами протиснулась, обернув их, будто матрешек, бордовыми лицами назад, узлами к поезду. Я меж этих толстых баб застрял, в привязанных за их спинами узлах запутался и потерял жену.

Показалось мне, видел, как она, наклонившись, юркнула меж ног какого-то гиганта, несущего на груди своей кучу народа. Он и жену мою внес в вагон. Я же принялся в панике толкать плечом и грудью человеческие спины, сдвинувшиеся одной неприступной стеной, не щадил вроде никого. Двери в вагон – вот они, рядом, но в воздушном пространстве раздался спокойный голос: «Осторожно! Двери закрываются!» – где-то шикнуло-пшикнуло, и сомкнувшимися дверьми отсекло меня от народа, едущего вперед и дальше, отсекло и от моей законной жены, которую я под жмеринкой «раздобув».

Как же так, товарищи?! Катастрофа ж семейной жизни! Мы ж можем потерять друг дружку навеки! В последней надежде бегу следом за набирающим скорость вагоном, бью напропалую и беспощадно народ оставшимся от жены чемоданом и чувствую крах всех планов и надежд, а бегу, бегу и с каждой секундой все трагичней ощущаю бесполезность своих усилий: жена, вот она, рядом, за стеклышком, но вроде как ее уже и нету, вроде как она мне приснилась. Но нет, вон она, все еще живая, притиснутая к стеклу, что-то мне кричит, пальцем на стекле чертит...

Ушел поезд, огоньки хвостовые в тоннеле погасли, в голове моей, в душе ли, с детства песенной, вертится и вертится: «Вот умчался поезд, рельсы отзвенели, милый мой уехал, быть может, навсегда, и с тоской немою вслед ему глядели...» – модная эта песенка в ту пору была, сочинил ее еще юный и тогда не толстый Коля Доризо. Ну, это про Колю-то и про то, что он сочинил и сочиняет, я узнал после. А тогда, в победном сорок пятом году, стоял середь люду, темной, грозовой тучей кружасьегося. В дыры, в двери, в преисподнюю, на эскалаторе уплывало человеческое месиво, в котором я не вдруг различил лица и не сразу вспомнил, что называется оно – народ. Но народ сам по себе, а я, бабой покинутый, сам по себе. Стою, значит, с чемоданчиком, с узелком, мешаю этому народу, очень мешаю ему течь, куда ему хочется, и вдруг в моей голове сверкнула мысль – употреблю заезженное выражение, – что сабля вострая, просекла она мою башку до самого отупелого мозга: «А если жена моя подумает, что я на ней поджегился и нарочно отстал от поезда с ее манатками?»...

В долгом пути мы таких случаев навидались и еще больше наслушались. По теперешнему разумению, мысль нелепая, глупая и даже абсурдная. Но войдите в мое

Астафьев Виктор Петрович Весёлый солдат astafevvictor.ru

положение, вспомните, сколько мне было годов, какое шаткое время стояло на дворе, где кто что урвет, тут же и проплет. Главное дело: при мне не только манатки, но и все документы жены, шмыргалки этой, которую на ту минуту спереду я любил бы, а с заду убил бы! Вот они, документы, на груди моей горячей, под сердцем, пристегнутые булавкой с исподу к гимнастерке, в мешочке-кармане – у нас, в семье нашей новоявленной, так уж повелось: по Божьему завету за главного выступал я и при многочисленных дорожных проверках документы предъявлял я надзорным и всяким прочим властям, потому как я мужчина, руковожу, стало быть, семьей – распрямить ее, перемать, – осуществляю правопорядки и направление держу.

«Э-эх ты! Ах ты, в кожу, в рожу, в кровь, в печенки и в селезенки, если они во мне еще не сгорели. Женился, будто в говно рожей вlepился! Зачем? Зачем?»

И вдруг завело, запело во мне, с детства порченном, по утверждению бабушки: «Ах, зачем эта ночь так была хороша, не болела бы грудь, н-не страдала душа». Ночь! Она, она, курва, во всем виновата. Тогда ведь не то что нынче: провел ночь-то, джинсы в беремя – и ходу. Нет, тогда, коли поблаженствовал, понаслаждался, – неси ответ, не отлынивай. Ан и тогда не все же так безответственно собой распорядились, как я, рассолодел, растворился, мечтой вдаль простерся о семейном уюте и счастье... Вот и блаженствуй, вот и наслаждайся – книжек начитался, по книжкам и живи, сам, один, но не смущай людей и судьбы их не запутывай, девок в ночь не уводи...

«Че же делать-то, а?» «Ах, зачем эта ночь...» – привязалась песня, звучит и звучит, курва, в башке.

Подниматься пожалуй что надо наверх, искать в Киевском вокзале комендатуру – поди-ка не один я тут такой удалой, мечтой о счастье ушибленный, и не одна такая на свете удалая баба?! Сдам ее документы и вещички в какой-нибудь отдел потерь и находок, пускай они ее ищут или она их, я же поеду дальше, в Сибирь, к бабушке, к теткам, к родне. Эк они мне, голому и голодному, сами голые и голодные, обрадуются! Рюкзак! Хер с ним, с рюкзаком! Увезла и увезла стрикулистка эта шалавая. Там и добра-то: пара белья, портянки, да в узелок завязанные альбомчик солдатский, да письма друзей и любимой медсестры.

Гром бы всех этих баб порасшиб! Ходят в беретах, в нарядах, да как их много-то, гораздо больше, чем мужиков! Вон без них, без баб, как хорошо жить было...

Постой, постой! А что это она, супруга моя, мне кричала через стекло и пальцем на стекле чертила? Буквы какие-то? По пальцу, по движению его, буквы знакомые. Стоп! Ведь она чертила в воздухе и на стекле вроде как давно знакомое слово... Уж не «Ленин» ли?.. Вроде бы как вождь мирового пролетариата, Владимир Ильич? К чему это она покойника беспокоит? Партийная она – понятно, в пионерах еще Ленина полюбила, после Ленина еще кого-то, потом еще кого-то. Напоследок вот меня, беспартийного, из пионеров на третий день за недисциплинированность исключенного.

Я выбрал из толпы наиинтеллигентнейшего вида человека, в очках, конечно, в шляпе, конечно, учтиво поклонился ему и спросил: нет ли в метро станции с названием «Ленин»?

– Как нет? Ленин везде есть, он, всюду любимый, с нами, – охотно, как бы даже озоруя, отозвался московский интеллигент. – «Библиотека Ленина».

– Ой, спасибо! Вот спасибо! – вскричал я, пятась от московского интеллигента, лицо которого вдруг разгладилось. Шутил насчет Ленина, опасно прикалывался. Ну и народ эти москвичи! Да нет, улыбку веселую, скорее изгальную вызвал у него не Ленин, а я, такой, должно быть, блаженненький вид у меня сделался.

Вдали загудел поезд, публика придвинулась к краю перрона и сомкнула ряды.

«Ну, теперь уж я не уступлю, теперь уж я поведу себя как в бою, чтоб бабу не потерять совсем», – готовясь к штурму, взбадривал я себя и со второго ряда как двинул в вагон, прорвал на пути цепи, кого-то ушиб чемоданом, кого-то вроде бы уронил, меня ругательски ругали, даже в загромок долбанули чем-то жестким, кулаком скорее всего. Но я жену богоданную, в красноармейскую книжку записанную, ищу. Тут уж не до этикету. Бой есть бой. Тут уж кто кого. Знали бы они, пассажиры, что я за спасение семьи борюсь, по трупам пойду, пол-Москвы вытопчу! У-ух, какой я отчаянный боец!

Вот и покатило вагон! Вот и повезло меня вперед и дальше, к остановке «Библиотека Ленина». Там уж быть или не быть, но в голове-то звучит и звучит под стук колес: «А-ах, зачем эта н-но-очь так была хороша, та-та-та-та, та-та-та, та-а-а-ата-та, та-а-ата-та-а-а»...

Ехать бы и ехать, долго ехать и звучать внутренне, потом задремать. Но вот она – «Библиотека Ленина». Народу на ней побольше, чем на «Киевской», да и сама остановка пошире, поразветвленней: туда и сюда ехал на эскалаторах, бежал, мчался, толкая друг дружку, народ. Меня притиснули к стене.

Я устало приопустился на выступ какого-то памятника или мраморного украшения и

Астафьев Виктор Петрович Весёлый солдат [astafevvictor.ru](http://astafevvictor.ru) решил, что буду сидеть, пока метро не закроют, только вот попить бы где раздобыть? И еще я думал, что если баба моя раздолбанная найдется, я ей ка-ак дам! Ты, скажу, че, совсем ополоумела?! Ты, скажу, че прыгаешь, как цыганская блоха по хохлацкой жопе! Ты, скажу, об чем своей башкой думала, когда такой номер выкидывала?! Ну и так далее тому подобное.

Словом, только бы нашлась, тогда бы я сумел всю душу излить. Но моя жена, баба по-нашему, по-сибирски, не находилась. И один, и второй поезд, и десятый прошел, и «полночь близится, а Германа все нет! Все нет...» – нервно пело радио над моей головой. Я уж задремывать начал, как слышу – кто-то дергает меня за рукав и восклицает ликующе!

– Вот ты где!

Все заготовленные речи мои как-то остыли, угасли в моей истерзанной душе, я лишь отрешенно сказал, не открывая зрячего глаза:

– Ты вот что!.. Ты теперь завсегда будешь ходить только сзади меня и за мной. Иначе я тебя пришибу! – и решительно шагнул вперед, к желтому вагону. – Поняла? – обернулся я.

Баба моя семенила за мной и согласно кивала: «Поняла, поняла...» – и мой знатный, выданный РКК рюкзак подпрыгивал, бил ее по заднице так, что в рюкзаке звучало боевым маршем: ложка билась о ложку и еще кружка звякала.

Мы ехали в Загорск, к тетке моей жены, и попали в сей блаженный город уже с последней электричкой, во втором часу ночи.

\* \* \*

Вы думаете, тут, в Загорске, наконец-то все и кончилось, сейчас вот молодожены попадут к тете, помоятся, поедят и замертво упадут в супружескую постель? Глубокое это заблуждение. Наша семейка возникла из военных событий и с событиями вступала в мирную жизнь. В пьесе одной герой, глядя на возлюбленную, восклицает: «Эта женщина создана для наслаждений!» А моя баба была создана для приключений! Приключения ждали нас почти на каждом шагу.

Тут, в Загорске, среди темной ночи, по причине позднего часа, в совсем обезлюдившем городишке приключения развернулись очень скоро. В городишке том не звонили колокола, во всяком разе тогда, ночной порой, я и не слышал их, ничего нигде не светилось, не горело, не сверкало, никаких куполов в поднебесье не виделось, даже собаки не брехали, ни пьяных, ни трезвых, ни богомольцев, ни юродивых, которые ныне там толпами шляются, форсят золотыми крестами на молодецких грудях, потряхивают кудрями на пустых головах, предаваясь ленивой вере в Бога. Мода на Бога пошла!

Бодро перемахнули мы с супругой через виадук, разъезженной улицей спустились под гору, мимо мрачных соборных стен, в витые и широкие щели которых сочился слабый небесный свет, слышался звяк оторванного железа, скрежет кровли вверху, в решетках церковных куполов пропечатались темные крестики, один вроде бы даже и блеснул испуганно в прорванной глубине ночного осеннего неба, брюхато провисшего над спящим благодатным обиталищем душ живых, как выяснилось скоро, барышних, любящих драть с мирян, особенно с военных, копейку на привокзальном торжке. Пыльной, путаной российской историей напичканый городишко, по тогдашним его достижениям и заслугам, справедливо переименован был в честь бандита большевика.

Впереди нас блеснула вода. Скоро мы поднялись на земляную плотину, довольно высокую и, судя по сваям, торчавшим из земли вкривь-вкось, древнюю, густо заросшую крапивой, бузиной и прочей сорной благодатью, в которой глубоко внизу поуркивала, пошумливала живая вода, падающая на всякое бросовое железо, тележные колеса, обломки рельсов, бочонков, проволок и цепей.

Я это все угадал или разглядел потому, что супруга моя по мере удаления от станции все замедляла, замедляла и без того не саженный шаг свой. Предложила передохнуть, посмотреть вниз, побросала туда камешки, чтоб видно было, как они падают в воду, подымая брызги, и звякают о сплюснутые ведра или прогорелые и выброшенные по причине технической непригодности железные печки.

Во мне ворохнулось нездоровое подозрение, но камешки я люблю бросать с детства, в Енисей их перепулял вагон, не меньше, и хотя сейчас мне в тепло скорее хотелось, лечь, вытянуться, уснуть, я, однако, тоже начал бросать камешки: «если женщина просит...» – как поется в современной песне, то отчего же и не уважить ее просьбу, не побросать камешки.

Побросал я, побросал камешки вниз без всякого азарта и интереса.

– Ну, пора уж и к тете, – говорю.

Жена моя пошмыгала, пошмыгала носом, и опять поговорка во мне возникла: «Тому виднее, у кого нос длиннее», – ан поговорка та тут же и скисла, протухла. Не отрывая глаз от бездны, где пожуркивала вода, падая из запруды, качая сломанный бурьян и позвякивая железом, жена молвила, что она не знает, где живет тетя.

Астафьев Виктор Петрович Весёлый солдат [astafevvictor.ru](http://astafevvictor.ru)

Я ей в ответ: «Ха-ха-ха-ха!» – через силу выдираю из себя хохот. Не зря, говорю, считался ж веселым солдатом, сам, говорю, люблю и ценю шутку, но уж больно не ко времени, не к месту подобные шуточки!..

А она, баба-то моя, супруга богоданная, в ответ чуть не плача: мол, не шучу, я раз только была у тети, проездом, забыла место и дом, где она живет. А письма... все!.. в том числе и тетины, чтоб они сохранились для памяти, связала в пакетик и домой отослала, так что даже и записанного адреса тети тоже нету. Днем-то, говорит, да не такая усталая, я, может, и нашла бы дом тети Любы, хозяйки, у которой наша тетя квартирует, но ночью плохо ориентируюсь, хоть в лесу, хоть в городе.

– И что же нам теперь делать?

– Не знаю.

– Не знаешь?!

– Не знаю.

– Хорошо! – произнес я и херакнул какой-то булыжник вниз, в воду, так, что плеснулось там и брызнуло, и вдруг запел голосом Буратино: «Хорошо, хорошо, эт-то очень хорошо!.. Эт-то очень хорошо, за-а-амеча-ательно-о-о!» Пластинка у нас в детдоме была, вот я и запомнил с пластинки эти слова.

– Да т-твою мать! – стукнул я себя кулаком по лбу. Далее пошло, поперло: – Да где же мои глаза, глаз тоись, где он, зараза, глаз тот был, когда я высматривал во многочисленном коллективе себе невесту?! Да вон их сколько, девок, кругом: хоть на зуб, хоть на цвет, хоть на калибр любой подходящих, хоть соли их, хоть мочи, хоть на приправку, хоть на прикорм, на мясо, хоть на уху, хоть на ферму в колхоз, на почту, на икону, на фабрику, даже в артистки, даже в зверинец годных!

Говоря театральным языком, жена моя сполна получила весь деревенско-детдомовский репертуар на этот и на все последующие сезоны. Все, что за дорогу с войны скопилось в моей негодующей груди, всю тяжесть необузданного чалдонского гнева, все бешенство человека, измотанного войной, неурядицами жизни, – все это обрушилось на маленького человечка женского пола.

Я ожидал, она хоть заплачет или отбежит на безопасное расстояние, но она стояла отвернувшись от меня, и рюкзак этот, сталинский подарок, чтоб ему в лоскутья изорваться, висел на ней до самой земли. От ругани моей, должно быть, содрогнулось, сотряслось само небо, отхлынули хляби небесные, появилась, пусть и ущербная, луна. Мне сделалось видно согбенную, пустым мешком-котомкою придавленную к самой земле мою бабу, природой самой и жизнью приуготовленную в страстотерпицы российские.

И мне ее жалко стало.

Все еще клокоча и негодую, я грубо попросил, чтоб она вспомнила хоть какую-то приметку, местность, ориентир. Я – беспризорщина, бывший таежник, бывший артрязведчик, связист и вообще на войне во всяких переделках побывавший – уж как-нибудь соображу, уж не сплочую, уж разнюхаю, уж...

– Дом на берегу пруда.

– Охо! Это уже кое-что!

– Но на каком берегу – не помню. Берега-то два.

Да, как это я не сообразил сразу, что у всякого водоема бывает два берега, только у обители небесной нет никаких берегов, и у моря, говорят, их не видать, но на морях я не бывал. У нас же, в России, куда ни хвати – где вода, там тебе и два берега. Правда, озера круглые бывают, но в данный момент нас никакие озера не интересовали. Мы находились на плотине пруда, перед нами два берега, и на одном из них живет тетя моей жены. Живи она не у пруда – вовсе не за что было ищущему зацепиться. Узнать бы еще, на каком именно берегу живет тетя – на правом или на левом?

Жена моя, стоя лицом к свинцово под луною светящемуся пруду, переменчиво покрываемому тенями, реденько вструенными в него отголосками чьих-то огней, тыкала рукой то влево, то вправо. Тут я с изумлением вспомнил: да она же левша! Ей же трудно ориентироваться вообще на свете, тем более у водоема. Взял и повернул ее на ход воды, спиной к пруду, лицом к пустыне ночи, – вот теперь давай действуй смело и наверняка: с правой руки у тебя правый берег, с левой, значит, левый...

Она постояла, постояла и, поскольку была левшой, подняла левую руку:

– Однако, здесь.

– Х-хэ! – взбодрился я. – Конечно же на левом, мирном, сельском берегу живет наша тетя. Че она, охерела снимать квартиру на правом берегу, в дыме, в копоти, на самом бую, в густолюдьи, на грязном, разъезженном месте! Она – проводник вагона, ей люди да дороги надоели.

Хозяйка ее, по рассказам жены, занималась садом-огородом, драла с народишка копейку за овощ и фрукты. Самое тете тут место, здесь, где гуси живут, ласточки вьются в небе, голуби под застрехой воркуют, скворцы веснами свистят, сама же

Астафьев Виктор Петрович Весёлый солдат [astafevvictor.ru](http://astafevvictor.ru) говорила, что тетя – человек неунывный, очень трудолюбивый, из вятской деревни. А они, вятские, хоть мужики, хоть бабы, – ох какие хватские!

Я вилял хвостом, льстил, ободряя супругу, делал вид, что вовсе никого не материл, не бросал камнями в кромешную тьму, и что-то оптимистичное беспрестанно болтал. Привел жену на левый берег пруда – он и в самом деле оказался ликом деревенский. Строения вдоль него все одноэтажные, заплотами один к одному слепленные, индивидуальные, свои ряды сомкнувшие, до конца не покоренные все сметающей силой большевизма.

– Теперь бы мне хоть какую-то приметку дома, двора, палисадника, ворот?..

– А-а! – пикнула моя жена. – В палисаднике тети Любы растут рябина и черемуха! Может, две черемухи и рябина или одна черемуха и две рябины, да еще, кажется, береза.

Если б был день, а не ночь, пусть и с огрызком луны, уже норвящей укрыться в мохнатую постельку облаков, спутница военных дорог прочитала бы на моем лице укоризну: ну в каком русском палисаднике, тем более пригородном, где живет и плодится межклассовая прослойка – не то рабочие, не то крестьяне, по-бабушкиному просто – межедомки и пролетарьи, по-дедушкиному – «советские придурки», – в каком палисаднике этих межедомков не растет черемуха и рябина?! Они ж, эти межедомки, из села нарезали, но в город не вошли, прилепились к нему, потеснили его. Они ж вприсак попали, а что это такое, я уж объяснял. И здесь они тоскуют по отеческому уголку и тоску выражают посредством русских печек, бань во дворах, черемух, рябин в палисаднике, березок у ворот, свиньями, курами и коровами во дворе, гусаками на пруду.

Дети этих, умеющих еще трудиться и плодиться, межедомков со временем подчистую сведут скотину, сделают в избах паровое отопление, поставят чешский или румынский гарнитуры, заведут магнитофоны и запрыгают вокруг них. А дети этих уже деток наденут брезентовые или вельветовые штаны с иностранными нашлепками на зад и станут, тоскуя о чем-то, петь под собственный аккомпанемент песни на собственные слова, в которых мелодия и голос совсем не обязательны...

Но полно, полно, в другое время, в другом месте об этом.

Я показал жене на несколько палисадников, она, обреченно вздохнув, предложила посидеть на ближней скамье у ворот и успокоиться. Мы присели на холодную, росой иль инеем увлажненную скамью и молча смотрели на воду пруда сквозь тополя, до того пообрезанные, что только прутья и росли на обезглавленных пнях, не отражаясь в воде. И вообще в пруду уже ничего не отражалось: слабый свет все дальше и выше уходящей, даже вроде поспешно и радостно улетающей в варево туч и облаков, в небесные бездны луны едва уже достигал поверхности пруда со все более и более густеющей водой. Смола уж прямо, не вода, даже сгусток огней какой-то артели или фабрички на противоположной стороне пруда, ввинчиваясь штопором, не оживлял эту черную, густую жижу, все в ней увязло. Бледный свет в вышине, в куполах соборов, звонниц был потаен, высок, смешивался с отблесками небесных светил.

В этот таинственный час ночи наше с супругой горе и вообще ничто земное, бренное их не трогало и не волновало. А нас и подавно не касалась высота соборов и церквей, соединившихся с тьмой мирского. Бог давно уж отдалился от нас, а может, и забыл про всех, и про эту сиротскую пару – тоже: нас много по земле бродит после такой заварухи, Он же один – где за всеми уследишь.

Я тормозил супругу расспросами практического порядка, а она пыталась задремать на мокрой скамейке – валилась на мое плечо. Выяснилась еще одна подробность: ворота и заплот тети Любиного дома крашены желтой краской, – и это тоже мало чем могло нам помочь: в России на железной дороге с царских времен желтой краской крашено большинство построек, начиная от станционных сортиров и кончая бабушкиным коромыслом, не говоря уж о баржах, пароходах.

– Давно?

– Что – давно?

– Давно крашены тети Любины ворота, забор и палисадник? Да не спи ты, не спи, т-твою... – начал я снова заводиться.

– Когда я в сорок втором заезжала, краска уже выгорела...

«Э-эх, любви военных дорог, кружения голов и кровей – совсем недавно, оказывается, в сорок втором, была тут, мандаплясина, и все позабыла!» И я язвительно еще поинтересовался, хлопая себя по заду:

– И скамейка небось есть?

– Есть! Есть! – откликнулась жена, зевая, и чтоб она не раскисла совсем, я ее взял за лямки рюкзака с отогретой скамейки – еще разоспится.

Мы побрели дальше. Редкие собачонки, с начала нашего пути подававшие голоса из-за ворот и дворов, вовсе унялись, видно, привыкли к нашим негромким шагам и сдвоенным запахам. Переворачивая слова жены протопота на самого протопота



Астафьев Виктор Петрович Весёлый солдат [astafevvictor.ru](http://astafevvictor.ru)  
Аввакума, спросить бы мне: «Доколе сие будет, супружница моя?..» И она бы мне ответствовала: «До смерти, Петрович, до смерти...» И я бы вздохнул: «Ну што? Ино поплелись...» Да ничего я тогда про протопопа слыхом не слыхал и не читал – запрещено было читать поповское.

Однако ж начал я ободряться вяло зашевелившейся в башке мыслью: загорские миряне покупали, а скорей всего воровали краску с той же самой фабрики, что светилась на другом берегу пруда, в основном зеленую и суриковую. Фабричонка работала на железную дорогу, когда-то успела сообщить мне супружница, и сообщение это не сразу, но все же пало на душу бывшего железнодорожника, родственно в памяти держащего все, что касается желдордел. Мысль моя заработала обрадованно, во всю мощь.

«Так-так-так!.. Та-ак-с!» Не давая радости разойтись, оглушить меня, разорвать грудь на части, я даже хихикнул и потер руки.

– Ты что? – испуганно спросила спутница, очнувшись.

– А ништо! Вон тот тети Любин дом! – остановившись перед воротами, я осветил их зажигалкой и убедился, что все тут крашено желтой краской, правда оставшейся больше уж только по щелям и желобам.

– Как ты узнал? Откуда?

– Стучи! Стучи, говорю! – повелительно приказал я, упиваясь могуществом своего мужицкого поведения и железнодорожного наития. – Ты думаешь, я зря на родине колдуном зовусь? Ты думаешь, приобрела себе в мужа Ваньку с трудоднями?! Эта голова, – приподняв пилотку, я звонко постучал по ней, – способна только военный убор носить?!

Супруга обшарила, ощупала ворота, потрогала щеколду, поднявшись на цыпочки, заглянула в палисадник, на закрытые ставнями окна, велела высветить зажигалкой номер и, упав на скамейку, суеверно обмерла:

– Ой, я думала, ты дурачишься, когда говоришь о колдуне! Это и в самом деле тети Любин дом! – в полном уж потрясении заключила она.

– На загорские соборы перекрестись, хоть и коммунистка, и стучи, стучи давай – убедишься, что есть еще люди, способные творить чудеса! Изредка, но попадают... Вот и тебе в мужа угодил не человек, а клад... с говном...

Я еще чего-то травил. Супруга моя, сперва робко, затем сильнее, настойчивее, стучала в ворота, и со двора не откликнулась собака, которая, ожидал я, поможет разбудить хозяев.

В кухонном окне, запертом ставней, вспыхнул свет, выплеснулся сквозь щели старой ставни, вырвал кипу цветов или бурьяна из темноты под окном. Спустя время прогремел запор, приоткрылась дверь, сонный женский голос спросил, кого это черт носит в такой, уже совсем Божий, час.

– Ой, правда тетя Люба! – прошептала моя спутница, все еще не до конца поверившая в мое колдовство. – Тетя Люба! Тетя Люба! – звонко закричала она, чтоб только ее услышали, не ушли чтоб. – Тетя Люба! Это я, Миля! С фронта еду, тетя Люба!..

«Какая еще Миля?!» – промелькнуло в моем перетруженном сознании, но удивляться уже было некогда. Сразу ударившись в голос, тетя Люба запричитала, хлопая галошами, прытко и грузно поспешила к воротам.

– Милечка! Девочка ты моя! Да голубонька ты сизая! Да крошечка ты моя ненаглядная! – возясь с запорами, которых ох как много оказалось по ту сторону ворот, все причитала тетя Люба, между делом разика два матюкнулась, и я почувствовал, как в груди моей потеплело: родственная душа встречала нас.

Уронив с белой рубашки шаленку, крупная женщина сгребла гостью в беремья и куда-то ее дела, в грудях, в распущенных волосах, в рубахе или юбке исчезла моя жена. Долго они целовались, плакали, наконец тетя Люба бережно выпустила гостью из объятий и спросила, указывая на меня:

– Это кто?

– Да муж! Муж мой! – отыскивая в потемках оброненную шапку, все еще шмыгая носом, обмоченным слезами, отозвалась жена.

– А-а, му-уж! Как зовут-то?.. Хорошо зовут. Ну, пойдете в избу, пойдете в дом! – И, приостановившись во дворе, в острой полосе света, приложила палец к губам: – Т-с-с-с! Токо тихо. Вася вернулся с войны, да таким барином!.. Спаси Бог! Ну, потом, потом... А тети-то твоей ведь нету, – опять запричитала, но уже приглушенно и натужно, тетя Люба.

– Она что, в поездке?

– Кабы в поездке! В больнице она, дура набитая! Я одна тут верчусь. Ногу ведь она поломала!

– Как?

– А вот так! – впуская нас в дом и еще раз приложив к губам палец, продолжала рассказывать тетя Люба. – Ей ведь не сидится, не лежится и сон ее не берет!.. Пошла мыть вагон. Ну, свой бы вымыла – и насрать, так нет ведь, она и на другие

Астафьев Виктор Петрович Весёлый солдат [astafevvictor.ru](http://astafevvictor.ru)

полезла, советску железну дорогу из прорыва выручать!.. Ну и оскользнулась. Нога и хрясь... Че нам, бабам старым? Ум короток, кость сахарна... О-ой, ребятушки! О-ой, мои милень-ки-ы-ы! А устали-то!.. Устали-то!.. А вид-то у вас... – совсем уж шепотом продолжала она. – Вот вы с войны, с битвы самой, с пекла, и вон какие страдальцы!.. Мой-то, мой-то, – кивнула она на плотно прикрытые двери в горницу, – с плену возвернулся – и барин барином! Сытый, важный, с пре-этэнзиями! Ну, да завтра сами увидите. Есть-то будете? Нет. Да какая вам еда? Умойтесь, да и туда, к тетке, в ее комнатку. Да простыня-то с постели сымите. Уж в бане помоетесь, тогда... Тряпицу нате вот. Знала бы она да ведала, голубушка моя, кто к нам приехал, да на одной ноге, на одной бы ноженьке прискакала-приползла... А вот дурой была, дурой и осталась! Все государство хочет обработать, всех обмыть, обшить, спасти и отмолить... Она ведь, что ты думаешь?! В больнице угомонилась, думаешь? Лежит, думаешь? Как люди лежат, лечится?.. Как бы не так!

Супруга моя помаленьку, полегоньку оттерла меня плечиком в узенькую, всю цветами уставленную, половиками устеленную, чистенькую, уютенькую комнатку с небольшим иконостасом в переднем углу и синеной горячей лампадкой под каким-то угодником. Сама, вся расслабившаяся, с отекившим лицом, по-женски мудрым, спокойная, погладила меня по голове, поцеловала в лоб, как дитя, и пошла к тете Любе, такой типичной подмосковной жительнице, телом дебелий, голосом крепкой, в себе уверенной, на базаре промашки и пощады не знающей. И в это же время тетя Люба, жалостливая, на слезу и плач падкая, Бога, но больше молодых, красиво поющих богослужителей обожала, все про всех в Загорске, в особенности по левую сторону пруда живущих, знала, хозяйство крепкое вела напрямиком к коммунизму, от него и жила, немалую копейку, даже и золотишко какое-никакое подкопила.

Скоро узнаю я все это, а пока уяснил, что спутнице моей от тети Любы не так-то просто отделаться. Отодвинулся к стене, освобождая узенькое место на неширокой кровати вечной бобылки, и еще успел порадоваться, что вот и про бабу не забыл, женатиком начинаю себя чувствовать. А у женатиков как дело поставлено: все пополам, и прежде всего ложе. Супружеское.

Проснулся я ополудни. Жены моей рядом со мной уже не было. Но подушка вторая смята, значит, и ей удалось поспать сколько-то. Заслышав, что я шевелюсь в комнатке, бренчу пряжкой ремня, тетя Люба завела так, чтобы мне было слышно:

– Н-ну, Миленька, муженька ты оторвала-а-а! Во-о, ведьмедь так ведьмедь сибирский! Как зале-ог в берло-огу-у...

– Доброе утро! – глупо и просветленно улыбаясь со сна, ступил я в столовую и поскорее в коридор, шинель на плечи – и до ветру.

– Како тебе утро?! Како тебе утро?! – кричала вслед тетя Люба.

Но я уже мчался по двору, затем огородом, не разбирая дороги, треща малинником, оминая бурьян, едва в благополучии достиг нужного места. Доспелся.

Бани у тети Любы не было – как и многие пригородные жильцы, она пользовалась общественными коммунальными услугами. Нагрев в баке воды, мы с женою вымыли головы и даже ополоснулись в стиральном корыте, переоделись в чистое белье. Так, видать, были мы увозюканы в дороге и грязны, что тетя Люба всплеснула руками:

– Ой, какие вы еще молодехонькие!..

Супруга моя постирала галифе и гимнастерку, отчистила шинель канадского происхождения. Мне при демобилизации выдали бушлат, ребятам – эти вот шинели из заморского сукна, серебристо-небесного цвета. Данила сказал, что ехать ему в деревню, на мороз и ветер, к скоту, к назьму, к дровам и печам, бушлат – одежина самая подходящая, и, повертев перед зеркалом не рубленную даже, чурбаком отпиленную от листового комля фигуру, бросил шинель мне. Может, я и в самом деле попаду на этот самый «лифтфакт» – так Данила выговаривал слово «литфак», и мне в такой форсистой шинели там самое место, не одной там студентке я в ней понравлюсь, глядишь, и несколькими.

К вечеру вся моя одежина подсохла. Супруга отутюжила ее, надраила пуговицы мелом, подшила подворотничок беленький-беленький, прицепила награды, выдала стиранные и даже глаженные носки – я и не знал, что носки гладят, меня это очень умилило. Я спросил: чьи они? И если бы жена сказала, что хозяина, не надел бы, но она сказала, что из тетиного добра, и я их надел. Ноги, привыкшие к грубым портянкам, вроде как обрадовались мягкой, облегчающей нежности носков.

Когда я нарядился, подтянулся и, дурачась, повернулся перед супругой, она по-матерински ласково посмотрела на меня:

– Добрый ты молодец! Чернобровый солдатик! Никогда не смей унижать себя и уродом себя перед людьми показывать. Ты лучше всех! Красивей и смелей всех! – и улынулась. – Да еще колдун к тому же.

– Ну уж, скажешь уж... – начал я обороняться, но не скрою, слова жены киселем теплым окатили мою душу и приободрили меня если не на всю дальнейшую жизнь, то

Астафьев Виктор Петрович Весёлый солдат [astafevvictor.ru](http://astafevvictor.ru)

уж на ближайшее время наверняка.

Супруга привела в порядок и свою одежду, приделась, вечером, когда вернулся со службы хозяин по имени Василий Деомидович, состоялся ужин, вроде как праздничный. Тетя Люба, накрыв на стол, поставила перед хозяином тарелочку с салфетками, тарелочку под закуску, по левую руку две вилки, большую и маленькую, по правую – два ножа, тоже большой и маленький.

«Зачем столько?» – удивился я. Передо мной с боку тарелки лежали одна вилка и один нож, я же и с ними-то не знал, что делать: ведь все уж порезано, накрошено, намешано. Рюмок тоже было по две, да к ним еще и высокий стакан! «А ну как нечаянно рукавом заденешь да разобьешь?!»

Василий Деомидович, переодетый из конторского костюма в какое-то долгополое одеяние – пижама не пижама, жакет не жакет с простроченными бортами да белый галстук к сорочке с почти стоячим воротничком придавали хозяину, и без того крупному, вальяжному, этакую полузабытую уже на Руси дворянскую осанку, – он и за столом вел себя будто дворянин из советского кино. Вживе-то я дворян видел всего несколько штук – ссыльных, но какие уж в ссылке дворяне, по баракам по переселенческим обретающиеся?

Засунул салфетку за воротник и закрыл ею галстук. «Зачем тогда и надевать было галстук-то?» – продолжал я недоумевать. Другую салфетку хозяин положил себе на колени. Серебряными вилками Василий Деомидович зацепил сочной капусты, поддерживая навилки малой вилкой, донес капусту до тарелки, ничего при этом не уронив ни на стол, ни на брюки. Затем он натаскал на тарелку всего помаленьку: и огурца, и помидор, и мясца, и яичка, и селедочки кусочек, все ладно и складно расположил на тарелке, веером, да так живописно, что в середине тарелки оказался красный маринованный помидор и три кружка луку. Натюрморт это в живописи называется.

Тетя Люба обвела нас победительным взглядом: мол, во как мы можем! Впрочем, в глубине тети Любиного взгляда угадывалась робкая озадаченность и песья прибитость. Она суетилась, забивала внутреннее замешательство излишней болтовней и заботливостью. А во мне поднималась пока еще неторопливая, но упрямая волна негодования, и сказал я себе: «Ну уж хера! Салфет на себя я натягивать не стану!» Супруга – чутлива, по морде моей или еще по чему угадав революционный мой порыв, нажала под столом на ногу, не то ободряя, не то успокаивая. Когда хозяин взял за горлышко графинчик, спросил взглядом, чего мне – ее, злодейку, или красненького из бутылки с длинным горлышком, я с вызовом заявил, что солдаты, которые сражались с врагом, привычны пить только водку и только стаканами.

– Да уж, да уж! – заклохтала тетя Люба, смягчая обстановку. – Уж солдаты.. уж оне, упаси Бог, как ее, злодейку, любят!.. Но вам жизнь начинать. Ты уж не злоупотребляй!..

Супруга опять дагнула своей ногой мою ногу. Хозяин сделал вид, что не понял моего намека насчет сражавшихся солдат, сам он с сорок первого года и ровно по сорок пятый отсиделся в плену у какого-то богатого немецкого иль австрийского бауэра, научился там манерам, обращению с ножами да с вилками, к столу выходил при параде, замучил тетю Любу придирками насчет ведения хозяйства, кухни и в частности относительно еды; обед и в особенности ужин – целое парадное представление в жизни культурных европейцев: при полном свете, в зале, свежая скатерть на столе, дорогие приборы.

А где что взять? Конечно, Василий Деомидович приехал при имуществе, не то что мы. Но этого трофейного барахла, всяких столовых и туалетных принадлежностей, навалом на базаре, идут они за бесценок. С какой стороны обласкать, обнежить господина? Ведь он там с немочками и с француженками такую школу прошел, такому обучился, что ей, простой подмосковной бабе, науку эту не одолеть. Она уж и карточки неприличные напкупала, глядя на них, действовать пробовала, да где там? Не те годы, не та статья..

«Да-а, не член, не табакерка, не граммофон, не херакерка, а бутыльброд с горохом!» – любил повторять наш радист, родом из Каслей или Кунгура, ковыряясь в рации, не в силах ее, вечно капризничающую, настроить, все хрипела она да улюлюкала и ничего не передавала.

И ведь, судя по морде, хозяин сам сдался в плен, никто его туда не брал, не хватал, сам устроился там и с войны ехал как пан, во всяком разе лучше, чем мы с супругой. А теперь вот вел беседы на тему, как праведно, чисто, обиходно, главное, без скандалов, поножовщины, воровства и свинства живут европейские народы, понимай – германские, как они хотя и жестоко порой обращались с пленными, а иначе нельзя, навывкли мы при Советах лодырничать, у немца ж не забалуешься, они, немцы, и детей воспитывают правильно – лупят их беспощадно и потому имеют послушание, не то что у нас лоботрясы никого не слушают. А на какой высоте у них искусство, особенно прикладное! Кладбища не кладбища,

Астафьев Виктор Петрович Весёлый солдат [astafevvictor.ru](http://astafevvictor.ru)

музеи-выставки под названием «Зодчество».

– А мы им тут кольяв осинового да березовых навтыкали, с касками на торце – вместо произведений искусства, – начал кипеть и заводиться я, – чтоб не отдалялись больше от родного дома в поисках жизненного пространства...

Жена опять дагнула мою ногу и к хозяину с вопросом насчет природы, похожа ли на нашу.

– И похожа, и не похожа, – промокая губы салфеткой, отозвался хозяин. – Деревья как будто те же, но все подстрижены, все ровненько, аккуратненько...

Хватанув, уже самостоятельно, без приглашения, высокий стакашек водки, я хотел было напрямки спросить, как жопу европейцы подтирают. Не сеном? Сеном так хорошо, мягко, запашисто, и целый день, иногда и неделю из заднего прохода трава растет. Косить можно. Бедненькая тетя Люба позвала меня нести сковородку с жареной картошкой и на кухне приникла к моему уху, задышала в него:

– Миленький мой мальчик, герой ты наш фронтовик, наплюй на него, прошу тебя. Он же меня съест... загрызет... Я все понимаю, все-все! Изменщик он родине и народу, изверг и подлец, да ведь мужик мой, куда денешься?.. Пойми ты, мне-то каково на старости лет? Я из честной трудовой семьи... Будь молодые годы да...

Жена моя бдила, не давала мне больше выпивать, да и увела меня поскорее «к тете», где я заявил, что и дня больше не останусь под крышей этого разожравшегося на фашистских хлебах борова.

– Все, все! Все, мой хороший! Навестим вот тетю утром завтра в больнице – и за билетами, за билетами: у меня же литерные талоны. Мы же с тобой дальше поедим в купе. В купе, в купе, голубчик. В купе знаешь как хорошо, удобно, спокойно?! Ездил когда-нибудь в купе? Не ездил, не успел, а то бы поездил, ты ж железнодорожник. Я тоже не ездила, но знаю, что купе бывает на четверых...

– Это и я знаю! – непреклонно заявил я. – Ты кого надуть пытаешься? Кому голову морочишь?

– Ну и что, что на четверых? – частила супруга. – Может, остальные двое опоздают... Мы ж с тобой так вдвоем еще и не были, – прижалась она ко мне... – Посидеть можно, поговорить, даже, если охота, полежать... – вздохнула она. – А этот... Он мне еще больше противен, чем тебе, но я же держусь. Можно же немного потерпеть...

– Ты не была на Днепровском плацдарме!.. Ты не была на Корсуне... Ты не видала!..

– Не была. Не была... Я и войну видела издали и ничего такого не испытала. Но тоже ведь досталось. Бомбежки... пожары... ужас... Не мытьем, так катаньем война свое взяла у всех...

– Так уж и у всех?!

– Ну, не у всех, ну, оговорилась. Хотя почти у всех... А тетя-то. Ха-ха! Ну, она какой человек. Велела привезти в больницу ее швейную машинку.

– Зачем?

– А чинит больничное белье. Нога в гипсе подвешена, она машинку на живот себе – и пошел строчить!.. Она у нас очень, очень хорошая. Ты ее обязательно полюбишь! Обязательно!

– А она меня? – спросил я, мягчея и привлекая к себе свою заботливую супругу, всегда и всем пытающуюся угодить, все неудобства и уродства на земле исправить, всем обездоленным соломку подстелить, чтоб мягко было, удобно, если возможно, чтоб никто ни на кого не сердился, никто никого не обижал.

– Ну кто же такого грубияна и замечательного дурня не полюбит? – рассмеялась она, целуя меня. – Такое невозможно. – И сделала тонкий намек: сейчас, мол, разденется, сейчас-сейчас, минуточку еще терпения, всего одну минуточку...

Но тут в дверь деликатно постучала тетя Люба, спросила, можно ли к нам. Присев на кровать, стала плакать и жаловаться на Василия Деомидовича, который успел уж поинтересоваться, долго ли мы тут задержимся. Опять отчитал, что не берем с тети вашей плату. Ведь знает, хорошо знает, что уж столько лет ломит тетка твоя по хозяйству, весь дом, все дела на ней, сама хозяйка лишь торгует на рынке, копейку наживает. И еще плата какая-то? фактически же тетя тут и хозяйка, и прислуга, и швец, и жнец...

– Ну, такой злодей навязался, такой паразит явился – сил нет, всю меня, бедную, уж измучил... Шкуру-то собачью под навесом видели? Это он Бобку, Бобочку моего, бедного, задавил. Лает, спать не дает. Своими ру-учищами, фашист! Фашист, и нет ему пощады.

Но пощады не будет как раз ей, тете Любе: выжив с квартиры нашу тетю, Василий Деомидович вплотную займется тетей Любой, и несчастную женщину хватит удар, она належится в грязной постели, только подруга, наша тетя, будет ее навещать, обирать от гнуса и грязи. Хозяин еще при живой хозяйке приведет в дом молодую бабенку и станет тешиться с ней на глазах у законной жены. Живи в другом месте, эти прелюбодеи, может, и прикончили бы тетю, но тут кругом соборы, кресты, попы и богомольцы. Бога боязно. Вдруг увидит?

– Он и до войны не больно покладист был, нудный, прижимистый, нелюдимый, да все же терпимый, а после плена просто невозможным сделался! Иногда забудется и брякнет: «А вот у нас, в Германии...» О Господи, Господи! Что только и будет? Что только и будет?..

Когда тетя Люба на цыпочках удалилась на кухню и выключила свет в зале, нам уж ничего-ничего не хотелось, даже разговаривать не было охоты.

\* \* \*

Утром, с десятичасовой электричкой, мы втроем выехали на станцию Яуза, где в железнодорожной больнице лежала тетя, которую по рассказам я уж вроде знал вдоль и поперек, да и любил уже как родную, горел нетерпением поскорее ее увидеть. Но прежде чем отправиться на электричку, все мы переждали, когда хозяин уйдет со двора. Василий Деомидович, поворочавшись в коридоре перед зеркалом, надел новое пальто, с заграничным портфелем и в кожаных перчатках проследовал мимо окон. Тетя Люба, смиренно и почтительно до ворот провожавшая супруга на службу, вернулась, плюнула, мы на радостях хватанули с нею по два стопаря водки, зарозовели, повеселели и начали друг дружке рассказывать анекдоты, смешные истории, громко хохотать, тетя Люба колотила меня по плечу, потом стала тыкаться в плечо носом.

Жена моя, пасшаяся в огороде, застала нас в резвости и веселье, принялась и поинтересовалась:

– Послушайте-ка, товарищи! Вы с чего это так разрезвились? А к тете кто поедет?

– Да ну тебя! Отстань! Надо же отвести душу добрым людям! Ушел деспот-то мой, мы с твоим благоверным и тянули по маленькой! А чего тут такого особенного? Анекдот какой классный солдатик рассказал!.. Смешной-смешной! Только я вот уж забыла его – памяти чисто не стало..

Оно бы и ничего, совсем ничего – ну, выпили и выпили, – да тетя Люба, систематически недосыпающая из-за напряженного хода жизни, захмелела крепко, в электричке громко разговаривала, выражалась, даже петь пробовала: «Шли по степи полки со славой громкой...» – но вдруг разом огрузла и уснула. Проснувшись, запаниковала:

– Ой! Чуть ведь не проехали! Ой, пьяная дура!.. – И высадила, точнее сказать, вытолкала нас из вагона на остановку раньше.

Меня, после дороги с фронта, удивить дорожными происшествиями было трудно, но тут на всех парах выскочила из кустов женщина с большой вязанкой березовых веток – на голики, промчалась по деревянному переходу на деревянный перрон и, загнанно дыша, но не снимая вязанки, поглядела туда, поглядела сюда и спрашивает у нас:

– А поезд где?

– Чего-о-о-о?

– Поезд, спрашиваю, где? Электричка?

Тетя Люба, ахая, проклиная и мужа своего, барина говенного, не дающего ей путем выпасться, и тетю нашу, и нас, стала объяснять женщине, что мы тоже вылезли вот раньше на остановку и не знаем, не то ждять следующую электричку, не то шагать по шпалам... Женщина опустила вязанку на перрон, да и принялась частить тетю Любу матом: по ее выходило, что из-за нас, ротозеев, она не поспела на электричку, потом не поспеет ко времени домой и на работу, не продаст голики, вообще большие неприятности в ее жизни будут, и все из-за нас!..

Тетя Люба уяснила из ее ругани лишь одно: электричка с остановкой на Яузе пойдет лишь в обед, – смиренно перекрестилась, прикрикнула на женщину, и мы потопали по шпалам. Опоздавшая труженица поливала нас вослед, как ей только хотелось, не жалея того изысканного столичного мата, кой будет с годами еще более усовершенствован.

В больницу мы пришли изрядно уж утомленные, но развеселились, как попали в многолюдную палату, где женщина с простецки-деревенским лицом, чуть тронутым оспой, с белесыми, отливающими желтизной волосами, с подвешенной за гирию ногой в гипсе, поудобней устроив на животе, прикрытом старой простыней, швейную машинку, бойко и ловко что-то сшивала и еще бойчее что-то рассказывала, пересыпая быстротекущий вятский говорок, будто камешки с ладони на ладонь.

– Вот! Полюбуйся! – стараясь удержаться в строгости, указала тетя Люба моей жене на эту женщину. – Полюбуйся на ненормальную свою тетку!..

– О-ой! Миля! – воскликнула женщина со сломанной ногой.

И когда моя жена бросилась к ней, неловко, через машинку стала доставать и целовать ее, тетя со слезами попросила:

– Бабы!.. Да уберите машинку-то! Че она, как конь, на мне едет...

Я опять удивился, что жену мою зовут Милей. Какая разнообразная она у меня! Тетушка, освобожденная от машинки, немощно поуспокоившись, спросила, поглядев на меня: кто это, уж не муж ли? И жена моя, которая Миля, смущенно

Астафьев Виктор Петрович Весёлый солдат [astafevvictor.ru](http://astafevvictor.ru)

закивала, зашебетала, что да, что муж.

Как она, тетушка, плакала потом, когда мы ушли из больницы, – сама же нам и поведала о том только много лет спустя. Жаль ей тогда было любимую племянницу: из такой большой семьи, трудолюбивой, бедной, и вот мужичонку себе сыскала израненного, профессию железнодорожную потерявшего, до сержанта даже не дослужившегося, значит, и пенсиону путного не будет...

– Ох, Господи, Господи! Один попался рядовой, да и тот кривой.

На бедность нашу и на начало обзаведения тетя наказала тете Любе достать из комода отрез шелка вишневого цвета, кое-что из ее бельишка, тетиного, да постельного, да покрывало белое пикейное, да новые шелковые чулки.

Тетя Люба, вынимая добро из комода квартирантки, будто отрывала все от своего сердца, ворчала, что была и осталась дура душой – раздать все добро свое готова, чтоб самой голой остаться... Как только земля-матушка и терпит этаких простодырок?!

\* \* \*

Мы очень скоро уехали из Москвы, и уехали действительно в купейном вагоне! Это уж жена моя заслужила такое льготное место. Талон же, завоеванный мною в сражениях, годен был лишь для проезда в общем вагоне, по той поре место мое было на крыше. Но, опять же, люблю! действовал. Нам пришлось лишь доплатить какие-то пустяки – за «купейность», и прикатили мы глухой ночью в глухо гудящий, дымящий, одышливо дышащий город под названием Молотов, на большую станцию – Пермь-III.

Пересадка на соликамский поезд, который, постояв в раздумье, вдруг дернулся и стал уже набирать ход; в тамбур влетел молоденький, будто вешняя птичка, красивый, нарядный и радостный младший лейтенант, сверкающий белью зубов, пряжкой нового ремня, новой портупеей, новыми хромовыми сапогами. Порадовавшись, что успел на поезд – тоже пересаживался, спросил, куда мы едем, и, услышав, что в город Чусовой, сообщил, что он тоже туда, и представился распространенной на Урале фамилией – Радыгин.

Младший лейтенант весь кипел от какого-то нетерпения, нерастраченных сил и энтузиазма: он не успел повоевать, не успел отличиться, погеройствовать, сразиться с врагом – и вот уже домой...

Когда я сказал ему, чтоб он не жалел об этом, что ничего там, на войне, хорошего нет, он не захотел меня ни понять, ни поверить мне – его назначение, наивысший смысл жизни виделись ему в битвах, в удалых делах, в порывах, в прорывах!..

Ох-хо-хо! Каким я был стариком по сравнению с ним, с Радыгиным, хотя и старше его всего на два года. Какой груз я вез в своей душе, какую усталость, какое непреодолимое чувство тоски и печали, неизвестно когда и скопившихся! Как жить с этим грузом? Куда его девать?? Кому передать, чтоб облегчиться. Не возьмет ведь никто – ненужный это, обременительный груз. А больше у меня ничего нету, пара белья, портянки – даже шапки нету, а мороз нажимает, усиливается...

Наш поезд прибыл на станцию Чусовскую, приютившуюся под горой, с желто покрашенным деревянным вокзалом, подвеселенным голубыми окнами и белыми наличниками, с деревянными перронными воротами, на которых узорчатым маком алел в комок смерзшийся флаг. Прямо по воротам нарисована белая стрела, и крупные буквы звали: выход в город.

Пассажиры скоро рассосались. Поезд, крикнув стылым электровозным гудком, покатиł дальше, в неведомый мне город Соликамск. Мы остались на нечистом, ребристо обдолбленном перроне городка, о котором я никогда и слыхом не слыхал, даже на карте его не видел...

Постояли, помолчали, я докурил вторую сигарку, и молодая моя супруга не то безразличным, не то совсем усталым голосом напомнила мне, что скоро утро и пора нам двигаться домой.

– Ну что ж, – сказал я, – пора так пора... Домой так домой.

Я не очень воспринимал это слово, потому как с детства жил по казенным домам и общежитиям, внутренне уж совсем оробел и про себя еще раз покаялся, что не поехал на родину, в Сибирь, в края родные. Но виду не показывал, как жутко и одиноко мне в этом незнакомом городе, в чужом, шибко задымленном месте. Сохраняя наигранно-бодрый тон, двинулся я за женой своей и, выйдя на небольшую привокзальную площадь, увидел скульптуру Ленина в голом скверике, приваленную шапкой свежего, еще не закоптившегося снега, сказал, притронувшись к новой пилотке: «Здравствуйте, Владимир Ильич, единственный мне здесь знакомый человек!»

Супруга посмеялась столь удачной и уместной в данный напряженный момент шутке, и молодая пара двинулась вдоль желтого забора, за которым свистели электровозы и брякали буфера вагонов.

Астафьев Виктор Петрович Весёлый солдат [astafevvictor.ru](http://astafevvictor.ru)

Станционные постройки, депо, магазины, клуб, дома, притиснутые горою к путям с одной стороны и к реке – с другой, остались позади. Молодожены вступили в длинную гористую улицу и, почувствовав, что так вот скоро, чего доброго, и «домой» придешь, я попинал ледышку на дороге. Супруга игру приняла. Гоня впереди себя ледяные и снежные комки, будто мячики, не очень решительно, но шли и шли мы к цели. И чем дальше шли, тем меньше оставалось у меня в словах бодрости, в действиях тоже, и смех вовсе иссяк. Только конский шевяк прыгал – кони еще в этом городе велись, – и прыгал он от пинков, да громче хрустел снег под сапогами. Когда же супруга моя свернула с улицы на прогребенную тропинку в еще неглубоком снегу, ярко сверкающем искрами под луною, я сказал: «Передохнем!»

Между тем перевалило далеко за полночь, хотя точного времени мы с супругой не знали – часов ни у того, ни у другого не было, когда с вокзала пошли, на часах привокзальных, черной ковригой висящих над перроном, стрелки показывали два часа ночи с чем-то. Ноябрьский морозец набирал в ночи силы и звонкости, ярче прорезались звезды, прозрачная и круглая луна, что льдина, вытряхнутая из ведра, несколько раз объявлялась, но наплывающие дымы из близко ухающего, звякающего, мощно вздыхающего завода то и дело мутили высь, глушили всякий свет.

Вдруг небо начало подниматься и озаряться, будто от мощного взрыва. Но взрыва не последовало, лишь в полнеба разлилось яркое зарево и стало медленно угасать, оседая горячей пылью на землю.

– Что это?

– Шлак. Горячий шлак из домен на отвал вылили. Очень красиво, правда?

– Да, очень.

– Ты потом это все увидишь.

Говорить стало не о чем. Мороз становился все крепче. Надо было идти под крышу, в тепло. Отступать некуда. Виновато примолкли оба, не играли в шевяки, не разговаривали. Супруга снова вырвалась вперед. Я тащился за нею.

– Папа тропинку прогреб! – со светло пробуждающейся ласковостью сказала спутница.

– Как ты узнала?

– А он всегда с вечера... Если ж ночью снегу наметет, раньше всех встанет и прогребет тропинки, да и некому больше...

Мы приблизились к мирно в снегу спавшему деревянному полуторазэтажному дому и оказались в нешироко сколоченном тесовом тамбуре, перед дверью в дом с обшитой жестью замочной скважиной. Вдоль тамбура на чурбаках покоилась толстая доска.

– Ну вот... Теперь посидим, – дрогнувшим голосом сказала спутница, и мы затихли на холодной скамье.

Я впервые почувствовал, что она, спутница моя, тоже волнуется после долгой разлуки с родным домом. Ей и радостно, и боязно сейчас. Ободрявшая меня всю дорогу словом и взглядом, она оробела у родимого крыльца и сама нуждалась в поддержке, чтоб разделить с нею ее долгожданное и тревожное волнение.

Я нашарил ее в темноте тамбура, пригреб к себе. Она благодарно ткнулась мне в шинель мокрым лицом и, содрогаясь от плача, целовала меня в шею, в щеки, норовила попасть в раненый глаз. Я гладил ее коротко, по-армейски стриженные волосы по-за шапкой, очерствелые от дорожной пыли и грязи.

– Ну вот, все! Приехали! – с облегчением, утирая лицо платочком, еще раз, уже летуче, чмокнула она меня в щеку и заторопилась: – Сейчас! Сейчас! – нетерпеливо шарила она за надбровником дверей, обметанным куржаком. – Да где же он? Папа всегда его сюда клал... – И вдруг счастливо залилась: – Во-от! Во-о-от он! – прижала большой железный ключ к груди, словно Мадонна малюсенького младенца. – Во-о-от он, голубчик! Во-от! На, открывай! – сунула она мне ключ.

И я догадался, что это имеет какое-то значение.

Долго я возился, но дверь не отпиралась. Нетерпеливо топтавшаяся сзади меня жена моя давала советы, затем не выдержала, отстранила меня и сама принялась за дело.

В глуби дома почувствовалось движение, послышались приглушенные голоса, наконец нерешительно вспыхнул свет, выделив в темноте два низко осевших в снег окна. Скоро проскрипела избяная дверь, мы почуяли, что в сенках кто-то есть, прислушивается к нам.

– Ой, да что же это такое?! Ну что же это такое? – вертела ключ туда-сюда новоприезжая, хрустя им в скважине, и повторяла уже сквозь слезы: – Ну что же это такое?! Всегда замок открывался нормально...

– Кто там? – раздался робкий и в то же время воскресающий голос человека, что-то почувствовавшего дальним уголком сердца, но еще не отошедшего от страха.

– Дочь, Марья, это ты?

– Я, папа, я!

– Мати! Мати! – всплеснулось за дверью. – Дак это же она, Марья, с войны

приехала!

- Миля, ты?!
- Я, мама, я!
- Ваня! Зоря! Тася! Вася! Миля приехала! Миля! – с облегчением, словно бы пережив панику, дрожал за дверью голос. Слышно было, как по избе забежали.
- Да пошто же ты не идешь-то? Чего там долго копаешься?..
- Дверь открыть не можем!
- Дак ты не одна?
- С мужем я!
- С му-ужем?! Да где-ка он-то?
- Да тут он, тут.

Кольнуло: коли муж, дак куда он денется?

– Замок-от у нас испортили варнаки какие-то. Дак мы его переставили задом наперед, а ты по-ранешному вертишь. Ты ключ-от глыбже засунь и к Комелину верти, к Комелину, а не к Куркову. К Комелину, говорю, к Комелину...

Супруга моя начала действовать ключом согласно инструкции; Комелины и Курковы, как выяснилось позднее, – соседи. Вот к одному из них, левому соседу Комелину, и следовало поворачивать ключ. Я следил за действиями дорогой супруги смущенно – супругу тут звали разными именами, авантюристка она, не иначе! И матерая, видать! Доразмышлять на эту тему мне не дали – дверь наконец отворилась. В наспех накинутой лопотине шустро выскочила маленькая женщина, начала целовать мою, тоже маленькую, жену, обшаривать ее, гладить по лицу. Позади женщины, в глуби сенок, под тускло светящейся лампочкой, кто в чем, толпился люд женского, но больше мужского рода. Высокий мужчина с круглой, будто у святого архангела, залысиной, обнажившей лоб, похожий на широкий, двудушный солдатский котелок, решительно сжимал в руке топор.

– Да в избу ступайте! В избу! – разнимал двух сцепившихся женщин довольно высокий пожилой человек с бородой. И хотя накинута на него была трофейная японская шуба с лисьим воротником, все равно угадывалась усталость в его большом и костистом теле. – Студено ведь в сенках! Говорю, в избу ступайте... И ты, солдатик, как ты звать-то? В пилотке ведь.

Мы оказались в низком кухонном полуэтаже с рыластой, внушительных размеров русской печью. Толстые скамьи, углом приделанные к стенам, и углом вдвинутый в них грубо сколоченный семейный стол с «подтоварником» внизу. За печью был проем в виде двери, на нем, раздернутая в спешке, качалась тусклая занавеска. Было тепло и сонно в этом бедном, просторном жилище, пахло умывальником, сохнувшими на печи мазутными валенками или другой какой обувью; из печи доносило преющим скотским сбоем, но запахом варившихся почек и кишок крыло тонким слоем сохнувшей на шестке лучины, умело и тонко нащепанной, да беременем чистых лесных дров, аккуратно сложенных на полу, перед шестком.

Продолжались объятья, поцелуи, возгласы, слезы, мимолетные уже слезы, смех возник: «Папа-то, папа перепугался! А Ваня-то, Ваня – за топор!» Я стоял, прислонив к порогу чужого мне дома чемоданчик, с совсем отощавшим за долгую и канительную дорогу синим сидором за плечьями, и размышлял на привычную уже тему: «Зачем это меня сюда черти принесли? И вообще, зачем они всю жизнь меня куда-то заносят?..»

– Дак ты че, парень, стоишь-то возле дверей? Раз приехал, дак проходи давай, проходи! – позвал меня возникший в моей жизни человек с непривычным наименованием – тещь. Но я все стоял, все стоял на месте, лишь переступил с ноги на ногу, давая знать, что внял проявленной чуткости...

– Господи! Про парня-то забыли! – всполошилась маленькая женщина с новым для меня наименованием – теща. – Раз ты теперь наш, проходи и не бойся народу. Народу у нас завсегда много...

Тут спохватилась и супруга моя, успевшая когда-то сбросить с себя шинель и шапку – она, заметил я, и прежде сбрасывала их при первой возможности с облегчением.

– Знакомьтесь! Все знакомьтесь. Мой муж. Сибиряк!.. – На этом ее красноречие иссякло, и она, обведя всех вопрошающим взглядом, добавила: – Приехали вот!.. Привезла с собой... Прошу... Вот... Прошу любить, стало быть, своим считать... прошу любить и жаловать, как говорится.

Ох, как много было всячины в этих словах и обидного для меня лишковато: «Привезла, видите ли! Теленка на веревке! Она! Привезла! Ха-ха!»

Но опять же и предупреждение: привезла в людный дом, но в обиду не дам, кривой на один глаз, зато человек хороший, может, и не очень хороший, зато добрый, боевой! Не на помойке найден. С фронта! Там худых держать не будут! Медаль худому не дадут! Тем более орден!..

В общем и основном ее поняли, состояние ее почувствовали, начали со мной знакомиться ближе: Зоря, Вася – братья; Тася – сестра моей супруги; человек с



Астафьев Виктор Петрович Весёлый солдат [astafevvictor.ru](http://astafevvictor.ru)  
залысинами архиерея – муж старшей сестры, Клавы, живут они где-то за городом, на лесозаготовительном участке, в поселке с выразительным названием – Шайтан. Он вернулся с войны в конце сорок второго года, и когда подал мне руку, вместо пальцев я сжал какие-то вислые, нетвердые остатки. Звали его Иван Абрамович! Тещу – Пелагия Андреевна, тестя – Семен Агафонович.

Зоря, Тася и Вася отправились по внутренней узенькой лестнице наверх, досыпать – им утром на работу. Теща на ходу наказывала ребятам, кому и где расположиться, рассредоточиться, чтобы высвободить кровать молодым, сама в это же время орудовала ухватом в печи и довольно ловко и споро для ее вовсе усохшего тельца выворотила из темного печного чрева здоровенный чугунок и сковороду такого объема, что, ежели была бы она деревянная, в нее можно было бы садиться. Здесь, в этом доме, родилось и выросло девять детей. Двое – Анатолий и Валерий – погибли на войне. Старший брат моей жены, Сергей, после госпиталя работал в лагерях для военнопленных. Еще одна сестра – Калерия – тоже двигалась с фронта домой.

В объемистой сковородке оказалась вечерошняя картошка, приправленная молочком и запекшаяся в загнете. В чугуночке была похлебка из требухи.

Мы достали из моего рюкзака кусочек сала, яблок, луку и недоеденную в дороге краюшку хлеба. Хлеб наш был тут кстати. Теща, собирая на стол, все извинялась, что ни хлеба, ни выпивки нет. Тесть, глядевший на нее какое-то время с вождедением и надеждой, разочарованно буркнул: «Припасти бы...» Но он и сам понимал: припасать не из чего и не на что, закурил с удовольствием сигарку из мною предложенного табачку.

Мы с супругой в тепле быстро сомлели, чего-то сонно почерпали, в сковороду вилками потыкали. Теща с тестем разрезали и бережно съели по яблочку. Иван Абрамович пылливо разглядывал нас, покуривал, покашливал и, пока длилась трапеза, несколько раз выходил на улицу, вернувшись, сообщал, что все в порядке, что мороз кстати набирает силу.

Оказалось, что он привез из Шайтана на продажу тушу летошней телки. Тушу ту вывесили в сенках, и когда мы принялись ломиться в дверь, обитатели дома подумали, что их выследили и лезут за мясом грабители. Оттого и поднялась паника. Похлебка сварена из требухи той убоины, которую привез Иван Абрамович. Она еще не успела упреть, свежо и резво отдавала наваром. Мы переключились на чаек. Чай морковный сна не лишал, но брюхо грел хорошо, и я скоро начал тыкаться носом в стол. Молодая моя супруга, по поводу и без повода раздумывающаяся, коей я чуть ли не на третьем свидании – всего их было семь – заявил, что, ежели она еще раз накрадется, вытащу портянку из сапога и сотру, – супруга моя, сияя румяным лицом, перескакивая с одного на другое, говорила и говорила. Тесть в разговоре почти не участвовал, но вслушивался в то, что говорили, и, не переставая дымить сигаркой, смотрел на дочь, приоткрыв успокоенно рот, ласково, дружелюбно и вроде как-то жалостливо потереблявая реденькую, жиденькую бороду, помаргивая небольшими серыми глазами с короткими выболевшими ресницами, и это его активное слушание было шибче разговор.

Лишь один раз он встрял в беседу и спросил: далеко ли будет та местность, где я воевал, от городу Витебску? Чуть заметно чему-то улынувшись, жена моя за меня ответила, как я уловил, потрафляя отцу, что недалеко, почти совсем рядом. Видя, что я хочу поправить ее, остановила меня предупредительно, погладив по рукаву, и я вяло подумал: да хрен их поймет, этих моих новых родственников, – плетут новость что, впрочем, брехни почти нету: Украина, где я воевал, рядом с Белоруссией, и там этот самый Витебск вроде бы и находится.

Тесть, удовлетворенный ответом, пустил из бороды облако дыма, шмыгнув носом, про который говорится, что он на семерых рос, да одному достался, отсюда вот и произошел и выдающийся нос моей супруги. И вообще, она – вылитый папа. Говор от меня отдалялся. Народ тоже уплывал в пространство: как-никак я руководил путем-дорогой, оберегал молодую жену от дорожных напастей, заботился о воде, о пропитании, нес путевую нагрузку, да какую! До этого случая я никогда и никем не руководил, мне и потом, кроме жены, никем руководить и командовать не доводилось, да и это оказалось глубоким заблуждением, которое рассеялось на исходе моего пятидесятилетия, когда, как мне думалось, я поумнел и кое-что на свете понимать начал.

Сбросив с себя всякую ответственность, потерял я бдительность, расслабился, засыпать начал. Тесть, выполняя поручение женщин, повел меня наверх, давая в темноте направление руками, велел раздеваться, похлопал рукою по подушке, ласково обронил: «Вот здесь ложишься и спи с Богом», – и деликатно удалился.

\* \* \*

Когда пришла в постель жена, ложились ли спать взрослые – я не слышал. Эту ночь я спал так, как и должен спать демобилизовавшийся солдат, оставивший вдали войну

Астафьев Виктор Петрович Весёлый солдат [astafevvictor.ru](http://astafevvictor.ru)  
навсегда: без настороженности, без жутких сновидений, – спал, доверяясь большому дому с такой мирной тишиной, устоявшей в его недрах, с печным, из недр выходящим теплом, со знакомыми с детства запахами коровьего поила, половиков, полосканных в мерзлой воде и сохнувших на морозе, с примолкшей на холодном окне, но все еще робко, последним бутонем цветущей геранью, чистой, хранящей снежную свежесть наволочкой под ухом, с осторожными, сонными вздохами в темноте, мирным говором и приглушенным смехом подо мною, внизу на кухне.

Проснулся я поздно. Солнце крупной, беспокойной звездой лучилось в морозном окне, на котором стояла не одна герань, а целый их ряд в стареньких посудах, но цвела одна. В желобках рам накопилось мокро и по тряпичкам стекало в старые недобитые кринки, подвешенные на веревочках к подушкам окон.

Рядом с моей головой, на крашеном, домашнего изготовления стуле, чтоб проснулся и сразу увидел, покоились мои аккуратно сложенные брюки-галифе, гимнастерка с беленькой каемочкой подворотничка была повешена на спинку стула так, чтоб кто ни войдет, сразу бы увидел на ней орден и медали. Так супруга моя – усек я, – ставши спозаранку, может, и вовсе не спавшая, хотела подчеркнуть мои заслуги перед отечеством и одновременно как-то выделить перед родней и людьми, вместе с тем и свое старание и заботу показать. Не скрою, я был тронут, но когда она, уже в домашнем стареньком халате, взбежала наверх, присела на край кровати и спросила: «Ну, как ты?» – я вальяжно, с подчеркнутым равнодушием и ленью ответил: «Да ничего, окопался».

Заметив, что пригасил в ней радость, потрепал ее по голове, и она, удержавшись на высоком взлете бодрости, сообщила:

– А папа уже баню истопил! – И запнулась, покраснела: – Вот! – и похлопала ладошкой о ладошку, держа руки ребром на коленях.

Понял я, понял – не чурка уж совсем-то, да и выспался, соображать начинаю: нам, молодоженам, по старому российскому обычаю, идти в баню вместе. Вдвоем. Родители ж не знают, что мы и ознакомиться друг с другом не успели, что мы еще никакие не муж и жена и расписаны лишь в красноармейской книжке, мы и не женились по-человечески, мы сошлись на ходу, на скаку, в военной сутолоке. Было, конечно, кой-что, но тоже урывками, без толку и расстановки, все с опаской: вот войдут! вот застанут! А теперь вон – в баню! Вдвоем! Но там же в галифе, в гимнастерке с медалями не будешь. Там же раздеваться надо, донага! Обоим! Мыться надо и, как загадочно намекали сверхопытные вояки нашего взвода, «тереть спинку»!

А, батюшки-светы! Столь мало сроку прошло с рокового того дня, после похода в загс за прошлюбом, а переживаний, переживаний!.. Баню, понимаешь ли, натопили! Это ж... Это ж в баню сходишь – и все! Это уж значит – муж и жена! По-настоящему! Конечно, и жена моя новоиспеченная тоже не святая. Да и я оскоромился в станице Хасюринской – приголубила меня там казачка удалая. Любовь госпитальную пережил, тоже с переживаниями!.. Но чтоб в баню вместе! Это очень уж серьезно! Это уж как бы в атаку идти, в открытую – страх, дым, беспамятство...

– Робята! Дак вы че в баню-то не идете? Выстынет ведь, – раздался с лесенки голос тестя.

И я докумекал: отступить некуда. Надо принимать вызов. Рывками оделся, натянул сапоги, громко, тоже с вызовом, притопнул и с вызовом же уставился на супругу, завязывавшую в узелок бельишко и отводившую от меня глаза, да в забывчивости громко, обиженно пошмыгивающую папиным носом.

– Куда прикажете?

– Что?

– Следовать куда прикажете?!

Напрягшись лицом, она молча показала мне на дверь, ведущую с верхнего этажа на другую, холодную, лестницу и по ней, через сенки, во двор. Там вот и она, баня, – рылом в рыло.

Вышел и уперся. Не на задах огородов баня, не в поле, не на просторе, как у нас в селе, вот она, с закоптелым передом, с удобствами, с угарным запашком в предбаннике.

Еще больше разозлившись оттого, что нет к бане долгого и трудного пути, некогда обдумать свое поведение и собраться с духом, решительно распахнул я дверь в угоенную, чистенькую баню с окаченным полком, с приготовленным на нем веником, с обмылком на широкой замытой скамье – этакое миротворно дышащее теплым полутемным уютном заведение с яростно накаленной каменкой. В топке каменки все еще тлели угли, вздымаясь ярким светом в середке и медленно притухая под серой пленкой вокруг кипящего кратера. Тесть еще не знал, что я после контузии не могу быть в жаркой бане и никогда более не смогу испытать российской улады – попариться. Но человек старался. Надо уважить человека. Я сорвал с себя одежду, повесил грязное белье на жердь – для выжаривания, сложил в сухой угол верхнее, подумал-подумал – и портянки повесил на жердь, более никакой работы, никакого заделья не было.

Супруги моей тоже не виднелось. В предбаннике, за дверьми, она не слышалась. Я

Астафьев Виктор Петрович Весёлый солдат [astafevvictor.ru](http://astafevvictor.ru)  
взял сапоги за ушки и, чтоб они не скоробились от жары, решил их выставить в предбанник. Предупредительно кашлянув, захватив грешинку в горсть, распахнул я дверь бани, уверенный, что супруга там разделась и ждет моей команды на вход, на холоду ждет и получит от меня за это взбучку. А она опять мне в ответ что-нибудь выдаст, и там уж в предбаннике все как-нибудь само собой наладится.

Но она, сжавшись в комочек, опустив голову, сидела на дощечке, приделанной вместо скамьи, и теребила ушки узелка с бельем...

И тут я сорвался! Тут я рявкнул:

– Че сидишь?! Целку из себя корчишь... – и ринулся в баню, оставив распахнутой дверь, загремел тазом. – Семерых родила – и все целкой была!.. – Солдатский фольклор, сдобренный оскорбительными присказками, хлестал из меня потоком. Увы, долго ему еще хлестать – исток-то уж очень бурноводный!..

Вконец перепуганная супруга моя тенью проскользнула в баню, принялась в уголке раздеваться. Я долбил себя каменным обмылком в голову, драл себя вехоткой так, будто врага уничтожал, казнил, снимал с него шкуру, продолжая, как ныне принято изъясняться, «возникать» до тех пор, пока мне в разверстую, срамное изрекающую пасть не попало вонючее мыло. Тогда я полез на полку и принялся хлестаться веником, в обжигающем поднебесье рыча на жену: «Сдавай! Еще!..»

Когда я перестал рычать, смолк на полке, выронил веник – какое-то время не могла бедная баба понять, что со мною случилось. Во мне весу тогда было не много, полку и пол были скользкими, бабенка хоть и мала ростиком, но ухватиста. Выперла меня волоком по мыльным половицам в предбанник, положила на что-то подостланное, прикрыла сверху своим халатиком. Я очнулся, повел глазом туда-сюда, узнал этот неприятный свет, попытался изобразить улыбку. Жена чуть заметно улыбнулась и с облегчением выдохнула:

– Ну, воин сталинского фронта! Ну, фрукт с сибирского огорода! Отбушевал? Отвоевался?

Я к чему так подробно про баню-то? Да потому, что потом очень уж много читал и слышал, что на фронте мы «огрубели», и грубость та чаще всего преподносилась в том смысле, что мы разучились целовать дамам ручки, пользоваться столовым прибором, танцевать чарльстон...

Дело обстояло гораздо сложнее и тоньше.

Когда молодой, да и не молодой человек тоже уходит из-под устоявшегося «духовного контроля», от наблюдений тяти-мамы, от постоянного нравственного «гнета», от школ, от учителей, от «хорошо» и «плохо», от надоевших «можно-нельзя», от младших братишек и сестреноч, которым надо подавать «пример», от дедушки с бабушкой, от их ворчанья и поучительного ремешка, от того, как есть-пить, сидеть и лежать, вести себя среди людей и в лесу, на пашне и в огороде, на деревенской вечерке и в клубе, во Дворце культуры, на танцплощадках, а то и в церкви, окруженному со всех сторон то Богом, то Пушкиным и Лермонтовым, то Толстым и Некрасовым, то Суриковым и Нестеровым, то Петраркой и Дантом, то Сервантесом и Шекспиром, то Чайковским и Бахом, то Бетховеном и Мусоргским, то просто деревенским грамотеем и гармонистом или уж на весь городской двор известным шахматистом, футболистом или математиком, уходя или вовсе уйдя от всего этого как бы растворенного в воздухе человека, постоянно дышащего спертым «кислородом», который в окопах выгорает, заменяется непродышливо-заразной атмосферой, – кровь постепенно начинает чернеть, густеть, закупоривать вены и извилины в башке. Вернуть изначальный состав крови, становится самим собой очень трудно – для немалого числа фронтовиков это дело оказалось непосильным. К зверю ближе, а к человеку, веками трудно пестуемому, при его-то упорном сопротивлении, – далеко, и очень, вот часть фронтовиков и подались к зверям. Я тут не имею в виду тех, кто в собственном мнении, в глазах своих, выглядит иль, точнее, хотел бы выглядеть лучше, чем есть на самом деле.

Но я тоже не кадетский и не царский и не «тю-лю-тю-тю-тю...», как виртуозно пел питерский бильярдист Дымба в не менее виртуозном исполнении любимого всеми артиста Жарова. Увы, я насквозь советский по рождению, по воспитанию и гонору. Привык вот, и быстро привык, есть лежа на боку или стоя на коленях из общей, зачастую плохо иль вовсе не мытой посуды, привык от весны до осени не менять белье и прочую одежду, месяцами не мыться, иногда неделями и не умываться, привык обходиться без мыла, без зубной щетки, без постели, без книг и газет, без клубов и театров, без песен и танцев, даже без нормальных слов и складных выражений: все слова заменены отрывочными командами, необходимым минимумом междометий для объяснения между собой и командирами, необъятного моря матерщины, грубостей, скабрзностей, военного жаргона, во многом заимствованного у подзаборников, урок и всякой тюремной нечисти, – все это как раз и соответствовало тому образу существования – жизнью это назвать нельзя, преступно, постыдно, античеловечно называть это жизнью.

Астафьев Виктор Петрович Весёлый солдат [astafevvictor.ru](http://astafevvictor.ru)

Придет время, я приобрету для работы книжечки фронтового немецкого жаргона и фольклора, по-ученому – сленга, и поражусь, что он, несмотря на разницу наций, чопорность и культуру европейскую, по поганству и срамоте капля в каплю совпадает с нашим «добром», накопленным на фронте. Разница лишь в том, что все у нас виртуозней, забористой, но по сраму, пакости пришельцы оттуда все же нас превосходили!

Чтобы не запятнать, точнее, не заляпать лик советского воина-победителя, ни окопный фольклор, ни жаргонные словари у нас долго не издавали. Несколько книжечек, писем с войны, фронтовых песенок, что просочились на свет сквозь нашу многоступенчатую цензуру и ханжество наше, – не в счет: слишком частое сито, уж не мука-крупчатка осталась и попала на бумагу, но ангельски чистый, почти серебристый бус и небесная голубая пыль, которою осыпали во дни торжеств королей и королев, блистательных избранниц, сиятельных вождей.

И вот нас, солдат-вшивиков, такой же дезинфекции подвергли: вонь-то и срам постыдства войны укрыли советской благодостной иконкой, и на ней, на иконке той, этакий ли раскрасавец, этакий ли чопорный, в чистые, почти святые одеяния облаченный незнакомец, но велено было верить – это я и есть, советский воин-победитель, которому чужды недостатки и слабости человеческие.

\* \* \*

Моя мирная жизнь началась с нелегкого, но привычного уже с фронта труда – таскания бревен.

В тот же воскресный день после обеда Иван Абрамович быстро отторговался мясом, выставил по этому случаю бутылку самогонки, отдающей ржавчиной, осушив которую мы все почувствовали себя родней и ближе друг к другу, поговорили о том о сем, больше о войне, о недавних делах и потерях, и с деньгами за голяшкой валенка он отправился в свой Шайтан засветло, чтоб капиталы в потемках не отняли. Отправился он по реке Чусовой, которая была в заберегах, вставала на зиму, сонно уже шурша, теснилась по стрежи взъерошенной шугой и вот-вот должна была застыть. Мы с братом жены, Азарием, подались в другой конец города, на другую реку, на Усьву, в которую чуть выше железнодорожного моста впадала еще одна красивая река – Вильва.

Все их мне предстояло увидеть, проплыть, познать и полюбить.

Выйдя на берег, я увидел железнодорожный мост в один пролет; меж ощетиленным льдом чернела вода рек Усьвы и Вильвы, на плесах уже схваченная стеклянистой перепонкой. Но меж гор, на перекатах, от дурости характера реки-сестры все еще брыкались и парили. Под горбатой Калаповой горой, подле моста, соединившиеся Усьва и Вильва впадали в реку Чусовую. Разбежавшийся по берегам трех рек, по логам карабкающийся в косогоры городишко, в котором мне предстояло жить и прожить почти два десятка лет, был чем-то притягателен и даже родственен, несмотря на свой чумазный индустриальный облик. Много я тут горя переживу, много испытаю бед и несчастий, но место это уральское, городишко этот, открытый бесхитростным рабочим ликом всем непогодам и невзгодам, всем грозам, градам и ливням, прирастет к сердцу. Навечно. Здесь, именно здесь, завихряясь над ним, заканчивается течение Гольфстрим. Кроме погрома и несчастий, сия причуда природы ничего другого городу не принесет. Но что бы тут ни случилось, город моей жены займет особое место или скорее сокровенный уголок в моем сердце, не чуждом добру и красоте.

Хитрую и причудливую географию уральского места, где родилась, выросла, вышла в огромный мир, навстречу мне моя жена – Миля, Маша, Мария, которая как в Сибирь попадет, то и четвертое приобретет имя – Маня, так ее наречет обожаемая ею Наталья Михайловна, жена моего старшего дяди, неугомоннейшая тетя Таля, – я, по велению Божию, еще открою и усвою.

Но уж раз унесло в сторону от повествования, сразу же поведаю о местных особенностях.

Дела с уральскими реками-сестрами обстоят так. Начавшись где-то аж за хребтом Рифеем, в Екатеринбургье, река Чусовая прорезала тот хребет, что черствую горбушку хлеба, – единственная река, которой удалось одолеть такую крепкую преграду, – катила она свои бурные воды меж скал-бойцов, подле утесов, через пороги, шивера и перекаты и впадала в Каму, выше Перми, невдали, опять же, от красивой реки Сылвы, точнее сказать – Сылва впадает в Чусовую, та уж через несколько верст – в Каму.

Ныне Чусовая уже ничего и никого не катит. В ней летом и катить-то нечему – засрала ее лесозаготовители молевым сплавом так, что самая красивая река Европы почти умерла. Оживала в весеннее водополье, будто больной раком человек перед кончиной, на недельку-две – и все! Даже лесу плыть не по чему – не было воды в когда-то полноводной, буйной, дивной реке, где была и промышленность, в основном металлургическая и горнорудная. Но большей частью население хлебоборничало,

Астафьев Виктор Петрович Весёлый солдат [astafevvictor.ru](http://astafevvictor.ru)  
промышляло рыбу, зверя, лес рубило и даже плавило его плотами.

На одном из красивейших отрогов Западного Урала – Бассегах, – почти в одном месте, из талых снегов и голубых ключей, точнее, из замшелых камней, под корнями кедровой светлыми зарничками высекались разом три реки: Койва, Усьва и Вильва. Названия у них коми-пермяцкие, бесхитростные. «Ва» – значит «вода»; прибавления к этому «ва» совсем не выдуманные, глазом пойманные: «светлая», «голубая».

Какое-то время реки-сестры, еще пока сестренки, семейно, дружно, игриво катились с хребта вниз, переговариваясь в перекатах и шиверах, шумя и сердясь в порогах, но, взрослея, входя в невестин возраст, они и норомом, и характером становились строптивей, и где-то в лесах дремучих, в камнях угрюмых Койва, хлопнув подолом: мол, и без вас теперь проживу, – отделилась от сестер и заныривала в уремную, каменную даль. За нором и строптивость наказал ее Создатель дважды: дал ей путь трудный, криушастый, за что и осталась бобылкой, одиноко, почти грустно впала в Чусовую верстах в шестидесяти от сестер. На горе реке побаловал Койву Создатель украшениями: насыпал в светлое русло алмазов, позолотил ее доньшко, будто конопатинками, желтым металлом, украсил платиной и цветными камнями берега...

Ох, Создатель, Создатель! Знал бы Он, как за эти дивные украшения измордуют люди отшельницу сестру! Так и не усердствовал бы. Они, эти люди, хозяйева земли, просто уничтожат реку: сперва сплавом, затем тракторами-трелевщиками, после драгами перероят, превратят в бесформенную грудку камней и галечных бугров, меж которых мутные, юркие, впереверт так и сяк будут вилять, суетиться сгустки безжизненной жижи, по старой привычке именуемой водой.

Усьва и Вильва текут вместе и лишь временами отдаляются одна от другой, как бы на женский лад напевая известную довоенную песню. «Ты мне надоела!» – сказала одна. «И ты мне обрыдла!» – отвечала другая и, взревев, утекала в сторону. На Вильве долго и населения никакого не было, там-сям кордон притаится, к травянистому берегу водомерный пост прильнет, охотничья избушка одним глазом из лесу выглянет – и все.

Усьва была тоже долгое время безлюдна, хотя и пересекала ее железная дорога горнозаводского направления, что проложена на Соликамск. Со временем на Усьве появится угольная шахта, затем другая, возникнет станция, городок невелик и неширок, ну и гораздые на пакость сплавные «гиганты» типа «Мыса», «Бобровки» с зековским лагерьком-попутчиком «украсят» дивные берега таежной красавицы, оскорбят ее пустынные пространства трудовым, «ударным» матом.

Когда мне доведется изображать бурную жизнь и боевую работу лесозаготовительных предприятий Урала, я в газете «Чусовской рабочий» назову все это индустриальным героическим гулом. За склонность изображать советскую действительность в «лирическом ключе» мне иногда платили повышенный гонорар в размере десятки, когда и двадцати рублей.

Реки-сестры, покапризничав, попетляв меж гор по уральской тайге, по болотам и падам, сблизались наконец, и младшая, более ласковая нравом, пройдя верст десять на виду и на слуху совсем уж в лад и в ногу с Усьвой, синеньким пенящимся омутком припала к сестре. Та сразу же притормаживала ход, смолкала и через несколько верст, под Калаповой горой, спокойно, доверительно летом и стремительно, шало веснами сливалась с уральской мамой – Чусовой и какое-то время еще гнала, качала на радостях свою беззаботную волну к старшей маме – Каме, ныне – в Камское водохранилище, по праву и нраву названное водогноилицем. Вот куда, в какую пейзажем богатую благодать, привезла меня жена – аж на три реки сразу!

Совсем недавно я посетил те родными мне сделавшиеся места. Обрубленные, замученные, почти засохшие реки воскресают – нечего по ним больше плавить; рыбалка оживает, лес подрастает, городские и заводские трубы почти не дымят – завод металлургический переведен на газ, – и как-то разом, стихийно, по всем пустырям, логам, переулкам, на каждом клочке оглохшей земли взялась какая-то совершенно дикая и стихийная растительность.

Была осень. Город выглядел пестро и лохмато, по косогорам рядками поднимался рукотворный сосняк. На старом, до каменной плоти выветренном кладбище, уже среди города, тесно росли топольки, посаженные когда-то во времена воскресников трудящимися и долго-долго мучившиеся тонкими прутиками на свистящем ветру.

Медленно, трудно, будто после продолжительной, с ног сваливающей болезни, воскресает Урал. Упрямая земля, стойкая природа. Едем в машине по самому хребту Урала, меж холмов которого не течет, а лежит в жухлой траве изнасилованная старушка Чусовая, – и по всему хребту плотная, удушливая, грязно-серая пелена. Смог. Почти непроглядный – два указателя на дороге: с одной стороны дымит древний уже город Сургут, с другой – город помоложе, но не менее дымный и вредный Первоуральск.

Астафьев Виктор Петрович Весёлый солдат [astafevvictor.ru](http://astafevvictor.ru)

Меж этих городов, под дымным покровом, который и небом-то не хочется назвать, – желтизна лесов. Еще живы! Еще вымучивают рубленные-перерубленные, сводимые и замученные леса листву, еще хранят частицу воздуха для людей, еще тихо надеются, что спасут Урал, спасут леса и землю, а значит, и себя бездумно живущие люди – не могут же они веки вечные заниматься самоистреблением!

На одной из трех рек, на Вильве, чуть пониже моста, почти против галечной стрелки, вознесшей над собою несколько могучих сребролистых осокорей, в лед впаянные, сиротливо желтели бревнами и белыми болячками срубленных сучков два плота, добротнo сколоченные из сушняка. На сплотке тесть мой плавил сено для коровы. Осенняя вода на Вильве прошедшей осенью выдалась малая, набродился тесть, бедняга, до обострения старого ревматизма, вовремя не выкатил бревна на берег, которые и были главным топливом во многолюдном доме. Зоре-Азарию, на заводе работающему, выходные не дали – и вот результат: топливо намокло, вмерзло в заберегу.

Мы с Азарием взялись за пешню и лом, бойко одолбили плоты, перерубили крепкие и ладно врезанные перепоны – майны, скрепляющие бревна меж собой, и начали выкатывать бревна на берег, чтоб сегодня же вечером, в крайности завтра днем вывезти их на машине и испилить на дрова. Тесть оживился, руководил нами уверенно, пытался где и помочь, подвалить, приподнять стяжком или подтолкнуть бревно, но под тяжесть не становился – крестец и ноги его хрустели, он часто присаживался на выкатанные бревна, сворачивал сигарку в тетрадный лист величиной, сыпал в нее пригоршни каких-то серо-зеленых крошек, отдаленно смахивающих на табак, и дымил, что пароход трубою, повествуя мне о том, как тяжела доставка сена на плотах в город. Дорог на Вильве нет. Зимой кто за двадцать шесть верст поедет, да и коней где допроситься? А он вот обезножел... То экзема, то ревматизм... Скоро, видно, придется попустить коровенкой. А как без нее, без коровы-то? Жизнь прожили при корове, ребят подняли считай что на своем молоке да огороде. С фронта вон дети начали ворочаться, глядишь, у них робятишки пойдут – им тоже без молока не обойтись. А на базаре что хлеб, что молоко, что овощи ой как кусаются!..

Говорил тесть негромко, чуть виновато, каялся, что вот нам с Азарием не помогает... Видно было по всему, что главную работу по хозяйству он привык делать сам.

Чем поразил меня тесть в день нашего трудового знакомства, так это тем, что совершенно не выражался, ни матерно и никак, в случае неполадок он употреблял какие-то мне почти неведомые слова: «У-у, никошной!», «У-у, корино!», «У-у, варнаки!..» – и еще что-то детски-забавное, безобидное, никаких бурных чувств не выражающее.

Азарий, большеголовый, мягкогубый, улыбчивый парень, тихо посмеивался, слушая мои, как вдох и выдох с губ слетающие, вольные выражения. Тесть сперва хмурился, потом, показалось мне, вовсе перестал меня слышать, может, и я незаметно для себя окоротился?

Работа шла у нас ладно. В тот день мы накрепко и, как оказалось, навсегда дружески сошлись с братом моей жены и ближе сделались с тестем. Я даже назвал тестя разок-другой папашей, да так старика до конца его дней и называл.

Мы устали, намокли и намерзлись. От мирных осенних пейзажей, от грустной ли тишины предзимья и пустынно утихающих рек я совсем забыл про войну, про строительство землянок, блиндажей, ячеек и всяких там «точек», открыл рот и за потерю бдительности получил по носу вершиной бревна. Сперва мы с Азарием носили бревна, попеременно становясь под комель; заметив, что я припадаю на лomanую ногу, к вечеру под комель начал становиться только шури́н, и когда мы донесли последнее бревно до штабелька, он, видать, выдохся, а я зазевался. «Оп!» – крикнул Азарий и катнул бревно с плеча, я ж чуток припоздал. Бревно ударилось комлем в землю, вершина же пришлась мне по носу. Я как не был на ногах. Круги передо мной разноцветные закатались, в контуженой голове зазвенело еще веселей. Приоткрыл глаз – Азарий мне к носу снег прикладывает, тесть топчется вблизи. «Ну ладом же надо!..» – выговаривает.

Пока шли домой, нос мой съехал набок, переносица посинела, и Азарий все спрашивал: «Ну как?» – «Да ничего вроде, – бодрился я. – Бывало и хуже...»

Дома, раздумяившиеся, шустрые, теща и жена моя собрали на стол, попотчевали свежей стряпней, в которой картошек было больше, чем теста, трудягам дали выпить мутной, еще не выбродившей браги. С мороза, с совместного труда чувствовал я себя за столом смелее и свойски. Азарий и Тася, пришедшая с работы, нет-нет да и прыскали, глядя на мой свороченный нос, жена меня жалела, хотя тоже через силу, чувствовал я, сдерживала смех. Теща всплескивала руками, поругивала сына, подкладывая мне еду и сулилась на ночь сделать примочку. Тесть перестал ворчать на Азарию, поглаживал бороду, все пытался вклиниться в разговор – нет ли и в Сибири городу Витебску, в котором он когда-то служил солдатом. И когда узнал,

Астафьев Виктор Петрович Весёлый солдат [astafevvictor.ru](http://astafevvictor.ru)  
что Витебск в Белоруссии, был под врагом и шибко разрушен, теще горестно покачал головой: «Гляди-ко, варнаки и дотудова добрались!.. – после чего свернул сигарку, пустил бело-сизый дым и сказал: – Ступайте, робята, наверх. Ступайте. Я тут накурил-надымил, дак...»

Так мирно и ладно завершился мой первый трудовой день на новой для меня и древней для всех уральской земле.

\* \* \*

Примочку на ночь теща мне сделала, но когда и при каких обстоятельствах она спала с моего лица и оказалась подо мною, сказать не могу, так как был молод, совсем недавно женат, да и бодрой браги с вечеру почти ковш выпил – мне, как раненному, выпала добавка, отчего в голове забродило и внутрих получилось броженье.

Мирная жизнь не начиналась. Мирная жизнь брала за горло и заставляла действовать, иначе пропадешь с голоду. При демобилизации я получил сто восемьдесят четыре рубля деньгами, две пары белья, новую гимнастерку, галифе, пилотку, кирзовые сапоги, бушлат, который, как уже сообщалось, тут же обменял на форсистую шинель канадского сукна цвета осеннего неба. Жена моя получила то же самое, только все в переводе на женский манер, и еще шапку, поскольку служила в войсках более ценных, чем какая-то артиллерия и связь, да и звание имела повыше – старший сержант, так денег ей дали восемьсот с чем-то рублей, да она еще с зарплаты маленько подкопила, и получилось тысячи полторы у нас совместного капитала. Однако дальняя дорога и дороговизна на продукты до того истощили наши капиталы, что явились мы в отчий дом жены без копейки, что, конечно, не вызвало у родителей восторга. Пелагия Андреевна, вечная домохозяйка, не получала никакой пенсии. Семен Агафонович, как бывший железнодорожник и – о, судьба-кудесница! – имевший ту же профессию, что и я до фронта – составителя поездов, попросту и без форсу говоря, сцепщика, – имел пенсию рублей, может, триста или около того. Денег тех хватало лишь на отоваривание продуктовых иждивенческих карточек да для уплаты за свет. Налоги же, займы и прочие свои и государственные расходы покрывались за счет Девки – так звали в этом уральском семействе корову. О корове той речь впереди, потому как место она в жизни многолюдной семьи занимала большое, временами – главное.

Азарий работал на заводе, получал неплохие деньги, имел рабочую карточку, да еще ночами прирабатывал: ремонтировал пишущие машинки, арифмометры и другие какие-то технические мудреные предметы, не гнушался и грязного труда. Работал много, спал мало, собирался жениться на какой-то Соне, подкапливал деньжонок, питался в какой-то энтээровской столовой, куда сдавал продуктовую и хлебную карточки, домой отдавал лишь дополнительную, льготную. Я помню, очень удивлялся, сколь за мое отсутствие было изобретено и выдумано всякого льготного, отдельного, дополнительного, премиального, поощрительного – за тяжелое, горячее, вредное, за сверхурочное, за высокопроизводительное...

За высокоидейное тоже давали, но пока еще жидко, неуверенно: всему свой час – исправят и эту оплошность блюстители порядка, направители морали, главными они едоками сделаются и неутомимыми потребителями всяческих благ.

Тася училась на курсах счетных работников, получала маленькую стипендию и «служашую» карточку на шестьсот граммов хлеба. Вася заканчивал ФЗО в группе маляров-штукатуров, уже проходил практику на строительстве заводских общежитий, питался в училище и дома, ему, заморенному, с детства недоедающему, мать выделяла вареных картошек да молочка. Парень он был в отца, рослый, мослатый, молчаливо-застенчивый, читал много и без разбора. Мы его застали в тот момент, когда он ночи напролет читал толстый том Карла Маркса, ничего, как оказалось потом, в нем не понимая. Простудившись на строительных лесах, он переболел гриппом, затем тяжелейшим после него осложнением – теперь это зовется менингитом – и страдал уже тяжким, неизлечимым недугом. Но про менингит нам никто не сказал, и о надвигающейся трагедии мы долго ничего не знали. Да и не до «мелочей» нам было в ту пору, не до чужих недугов...

\* \* \*

Надев военную шапку жены и свою форсистую шинель, под нее папашину душегрейку, я снес на базар запасную пару белья и, потолкавшись среди военного в основном люда, роящегося между двумя дощатыми торговыми павильонами на холодном пустыре, обнесенном черным от копоти забором, реализовал свой товар. На вырученные за белье деньги тут же, на базаре, в дощатой будке сфотографировался на паспорт, купил полбулки серого смятого хлеба и стриганул домой, радуясь тому, что жене выдали шапку, что головы у нас одного размера, вот только характеры разные. Совсем разные. Разительно разные. Но Бог свел, соединил нас, и родители ее доказали всей своей жизнью, что женитьба есть, а разженитьбы нет.

Через три дня я получил фотокарточки и отправился в райвоенкомат – сдавать военные и получать гражданские документы и обрести уже полностью гражданскую свободу.

Военкомат от дома тестя был в полуквартале, располагался он тоже в полутораэтажном, характерном для уральцев доме – нижний этаж или полуэтаж, точнее, сложен из кирпича. Дом просторный, крепкий, в елочку обшитый по стенам, украшенный тяжелыми и широкими воротами, на которых, впрочем, были кем-то и когда-то сняты створы, вышиблены или убраны резные надбровники и прочие украшения, но сам массивный остов ворот упорно стоял, ветрам и времени не поддавался, также и пиле, потому что виднелось по низу столбов несколько уже почерневших подрезов.

Я подумал, что дом этот купеческий. И не ошибся.

Как только ступил я в этот просторный дом, так сердце мое и упало и вовсе бы на пол вывалилось, да крепко затянутый на тощем брюхе военный поясик наподобие конской подпруги, с железной крепкой пряжкой удержал его внутри. В доме было не просто тесно от людей. Дом не просто был заполнен народом, он был забит военным людом и табачным дымом. Гвалт тут был не менее, может, и более гулкий, разноголосый, чем тот, которым встречали царя Бориса на Преображенской площади, где чернь чуть не разорвала правителя на клочки.

Солдатня, сержанты, старшины и офицерики-окопники сидели на скамьях, на лестницах, на полу. Сидели по-фронтальному, согласно месту: первый круг – спинами к стене, второй – спинами и боками к первому, – и так вот, словно в вулканической воронке серо-пыльного цвета, в пыль обращенное, отвоевавшееся войско обретало гражданство. В долгих путях, в грязных вагонах, в заплыванных вокзалах защитный цвет приморился, погас, и это человеческое месиво напоминало магму, обожженную, исторгнутую извержением из недр, нет, не земли, а из грязных пучин огненной войны.

В эпицентре воронки, на малом пяточке затоптанного и заплыванного пола нижнего этажа, стоял старый таз без душек, полный окурков. На полу же – цинковый бачок ведра на три с прикованной за душку собачьей цепью пол-литровой кружкой.

Наверху располагались отделы военкомата, и путь к ним преграждался на крашеной лестнице поперек откуда-то принесенным брусом, запиравшимся на щеколду, еще там двое постовых были, чтоб никто под брус не подныривал и щеколду не отдергивал.

Подполковник Ашуатов опытный был командир и бес по части знания психологии военных кадров. Бывший командиром батальона и полка, он понимал, что сухопутный русский боец в наступлении или в обороне ничего себе, работающ, боеспособен, порой горяч, хитер, но на ответственном посту нестойк, скучна ему стоячая служба, лежащая еще куда ни шло, но стоячая, постовая...

Может постовой уйти картошку варить, но скажет, что оправляться, либо с бабенкой какой прохожей разговорится и такие туры разведет, такого ей арапа заправлять начнет о никудышной его холостяцкой жизни – и про службу забудет, бдительность утратит и запросто дивизию врагов в боевые порядки пропустит.

Ашуатов поставил у «шлагбаума» двух моряков. Те нагладились, надраились и стоят непреклонно, грудь колесом, вытаращив глаза, подражая, видать, любимому своему капитану. Ни с какого бока к этой паре не подступишься, ничем не проймешь. Они и словом-то не обмолвятся, только надменно кривят губы, достаивают фразой-другой лишь старших по званию да девок из военкоматского персонала.

Стой бы пехотинец или артиллерист либо танкист, даже летчик – тех воспоминаниями можно растрогать, до слез довести, выкурить вместе сигарку. «Как там?.. А! Э-эх!..» Пехотинца Ивана так и на пустячок можно прикнокать. На зажигалку с голой бабой, на алюминиевый портсигар с патриотической надписью: «За родину! За Сталина!», «Смерть не страшна!», «Пушай погибну я в бою, но любовь наша бессмертна!». И поскольку его, Ивана, не убили на войне, он от этого размягчен и еще более, чем на войне, храбр, сговорчив и думает, что так и было бы, как на портсигаре написано, он бы умер, а она, его Нюрка, до скончания века страдала бы о нем. А уж насчет родины и Сталина – тут и толковать нечего, тут один резон: умереть, статься, надо, не рассусоливай – умирай! Но вернее всего опрокинуть Ивана можно на бульканье: булькнул в кармане – он тут же возмущенно зарет: «Че же ты, змей, на двух протезах стоишь? Помрешь тут! Загнешься! А дети?!»

С хохлом и евреем – с теми и того проще. Если только хохла убедишь, что как получишь документы и станешь директором комбината или хлебозавода, то возьмишь его к себе, начальником военизированной охраны либо командиром пожарной команды, – тут же куда хочешь тебя пропустит. Хоть в рай без контрамарки.

С евреем, с тем надо пото-о-оньше! С тем надо долго про миры говорить, про литературу, про женщин да намекнуть, что в родне, пусть и дальней, у тебя тоже еврей водились, ну, если не в родне, так был на фронте друг из евреев,



Астафьев Виктор Петрович Весёлый солдат [astafevvictor.ru](http://astafevvictor.ru)  
хра-а-абры-ый, падла, спасу нет, стальть, и среди евреев хорошие люди  
попадаются...

Но моряк! Он же ж, гад, никакой нации не принадлежит, поскольку на воде все время, земные дела его не касаются, внесоциален он. Стоит вот в красивой своей форме, и морда у него от селедки блестит!.. А тут пехотня-вшивота да «бог войны», испаривший штаны, изломавший кости в земляной работе, при перетаскивании орудий хребет надломивший, танкист пьяный горелой головешкой на полу валяется.

А он, подлюга, стоит в клешах и не колышется – бури кончились, волной его больше не качает!

Наверх вызывали или, по-тогдашнему сказать, выкликали попарно. В чувовском военкомате, как и в большинстве заведений в стране, рады были до беспамятства окончанию войны и победе, но к встрече и устройству победителей не подготовились как следует, несмотря на велеречивые приказы главного командования, потому что оно, главное командование, большое и малое, привыкло отдавать приказы, да никогда не спешило помогать, надеясь, как всегда, что на местах проявят инициативу, прибегнут к военной находчивости, нарушат, обойдут законы и приказы, и если эта самая находчивость сойдет – похвалят, может, орден дадут, пайку дополнительную. Не пройдет – не обессудьте! – отправят уголь добывать либо лес валить.

Я снова оказался в солдатском строю, засел в тесный угол и узнал, что иные из бывших вояк сидят тут и ждут чуть не по неделе. Конца сидению пока не видно. Первую очередь военных – которым за пятьдесят, железнодорожников, строителей, нужных в мирной жизни специалистов – демобилизовали весной. И едва они схлынули, да и не схлынули еще полностью-то, уж наступила осень, и из армии покатила вторая волна демобилизованных: по трем ранениям, женщины, нестроевики и еще какие-то подходящие «категории» и «роды».

Начинала накатывать и прибиваться к родному берегу и третья волна демобилизованных.

Табак у многих вояк давно кончился, продуктовые талоны и деньги – тоже, но пока еще жило, работало, дышало фронтовое братство: бездомных брали к себе ночевать вояки, имеющие жилье, ходили по кругу кисеты с заводской махоркой и самосадам, иной раз поллитровка возникала, кус хлеба, вареные или печеные картохи. Но кончалось курево, по кругу пошло «сорок», и «двадцать», и «десять», затем и одна затяжка. Солдаты начали рыться в тазу и выбирать окурки, таз тот поставил дальновидный, опытный вояка – Ваня Шаньгбин.

Боевые воспоминания воинов начали сменяться ропотом и руганью.

И в это вот ненастное время возник в чувовском военкомате военный в звании майора, с перетягами через оба плеча и двумя медалями на выпуклой груди: «За боевые заслуги» и «За победу над Германией». Были еще на нем во множестве значки, но мы в значках не разбирались и особого почтения к майору не проявили.

Обведя нас брезгливым взглядом, майор ринулся вверх по лестнице, наступил кому-то на ногу. «Ты, харя – шире жопы! – взревел усатый сапер на лестнице. – Гляди, курва, куда прешь!»

«Встать!» – рявкнул майор на весь этаж. В зале с испугом подскочили несколько солдатиков. Но сапер на лестнице отрезал: «Х... своему командуй встать, когда бабу поставишь. Раком! А мне вставать не на че». – «Эй ты, громило! – закричали из залы, от тазу, сразу несколько угодливых голосов. – Может, он из комиссии какой? Может, помогать пришел...» – «Я е... всякую комиссию!» – заявил буян с лестницы.

Каково же было наше всеобщее возмущение, когда майор с документиками в руках спускался по лестнице, победительно на нас глядя. Да хоть бы молчал. А то ведь язвил направо и налево: «Расселись тут, бездельники!» – и поплатился за это. У выхода намертво обхватил его «в замок» ногами чувовлянин родом, с детства черномазый от металла и дыма, с широко рассеченной верхней губой, в треугольнике которой торчал звериный клык, бывший разведчик Иван Шаньгин и стал глядеть на майора пристально, молча. У Вани под шинелью два ордена Славы, Красное Знамя – еще без ленточки, старое, полученное в сорок первом году, множество других орденов, медалей, даже Орден английской королевы и люксембургский знак. Ваня орденами дорожил – дорого они ему достались, а люксембургский эмалевый знак с радужной ленточкой предлагал за поллитру, но никто на такую диковину не позарился.

Ваня был демобилизован по трем ранениям, его били припадки. Уже здесь, в военкомате, я, имеющий опыт усмирения эпилептиков, приобретенный, как сообщал, еще в невропатологическом госпитале, несколько раз с ним отваживался. Ваня Шаньгин перетаскал на себе за войну не меньше роты немцев-языков, шуток никаких не любил, в солдатском трепе не участвовал по веской причине: он не просто заикался после контузии, он закатывался в клекоте, трудно выворачивая из себя слово. Опять же по опыту госпиталя, я подсказал Ване говорить нараспев, и дело у него пошло бойчее. Мы не сговариваясь уступили Ване место в очереди наверх,

Астафьев Виктор Петрович Весёлый солдат [astafevvictor.ru](http://astafevvictor.ru)  
матросов склонили пропустить его без очереди, но Ваня нам пропел: «В-вы че-о, е-е-е-мое?!»

Ну, поняли мы, поняли Ваню: вы че, славяне, как потом в глаза вам глядеть буду. И вот этот Ваня Шаньгин известным ему разведческим приемом закапканил майора и смотрел на него. Сжав обросшие губы. Молча. А майор попался дурак дураком! Нет чтоб приглядеться к Ване, спросить, чего, мол, надо. «Как ты смеешь?!» – заорал. Ваня молчит. И весь военкомат молчит. Точнее, нижний этаж военкомата смолк. Наверху как трещали машинки, шуршали и скрипели половицы, гремели стулья и скамьи, так все и продолжалось – помощи оттуда ждать майору было бесполезно. Однако он не сдавался:

– я тебя, болван, спрашиваю?!

Ваня Шаньгин вежливо запел:

– З-з-закку-у-урить дава-а-а-й!

Тут только майор что-то смекнул, вынул коробку «Казбека» и дерзко, с вызовом распахнул ее перед самым Ваниным носом:

– Пр-рошу! – и даже сапожками издевательски пристукнул.

Ваня, опять же вежливо, по одному разжал пухленькие пальчики майора, вынул из них коробку «Казбека», всунул одну папиросу под жутко белеющий клык, протянул коробку соседу, тот пустил ее в народ. Ваня Шаньгин вынул немецкую зажигалку с голдой, золотом покрытой бабой, чиркнул, неторопливо прикурил и только после этого удостоил опешившего майора несколькими напутственными словами:

– Г-где во-воевааал, ко-ооо-реш? Х-хотя по-по-по-по рылу вид-но-о-о-о, – и указал на дверь, выпуская майора из плена: иди, мол, и больше мне на глаза не попадайся.

Майор, как ныне говорится, тут же слинял. Из военкомата. Но не из города. Он сделается судьей в Чусовском железнодорожном отделении прокуратуры, много людей погубит, много судеб искалечит, но умрет в страшных муках, умрет от изгрызшей его болезни, как и положено умирать мерзавцам.

Ваня Шаньгин проживет всего несколько лет после демобилизации, будет торговать семечками и табаком на базаре, пить, куролесить, жениться по два раза в год, чаще и чаще падать в припадках в базарную, шелухой замусоренную пыль, в лужи, оранжевые от примесей химии с ферросплавного завода, и однажды не очнется после припадка, захлебнется в луже.

Но когда это еще будет?.. Тогда же, в военкомате, Ваня был возвышен народом до настоящего героя. Да он, Ваня Шаньгин, и был истинным народным героем войны. Слово «герой» затаскали до того, что оно уже начало иметь обратное воздействие, отношение к нему сделалось презрительное, однако по отношению к Ване Шаньгину, кости которого давно изгнили в глине и камешнике чусовского кладбища, я произношу это слово с тем изначальным, высоким, благоговейным смыслом, которое оно имело когда-то.

Возле входа в военкомат, по правую руку, при купце была отгорожена – для уличного люда, конюхов, дворников, нищих и богомольцев – комнатенка наподобие кладовой, с узким окном в стене. Перегородку в ту «людскую» пролетарии сорвали, сожгли, железную печку, видать, сдали в утильсырье, но вверху брусьями, по бокам стояками отгороженное от «залы» помещение это все-таки отделялось. Деревянная, еще до революции крашенная широкая скамья была там укреплена вдоль стены, и на ней поочередно «отдыхали» изнуренные вояки; совсем уж бездомные, бесприютные демобилизованные бедолаги дрыхли под скамьей.

Спиной к «зале» и народу дрых уже несколько суток сержант с эмалированными, синенькими на багровом, угольниками, пришитыми на отворотах шинели. У него была чудовищных размеров плоская фляга, обшитая толстым сукном. Знатоки утверждали – «ветеринарная», и знатоки же объясняли, что во фляге той и зелье лекарственное для коней, коров и прочего скота, которое этот сержант приучился потреблять и не отравляться. И правда, что-то было тут нечисто. Проснувшись, сержант тарачил безумно горящие глаза на народ, на помещение, потом отчего-то на карачках полз к баку с водой и, гулко гакая кадыком, выпивал две, иногда три кружки воды, после чего, сронив шинель, мчался на улку и долго оттуда не являлся.

На задах купеческого двора, в недавно замерзшем бурьяне, зевало двумя распахнутыми дверцами дощатое сооружение, и два не успевающих замерзнуть желтых потока от него пересекали двор и уходили под дощатый тротуар, завихряясь в булыжнике, покрывавшем улицу Ленина, водопадом ниспадали через бетонный барьер к кинотеатру «Луч», иногда захлестывали вход в кинотеатр, тогда подполковник Ашуратов призывал в наряд более или менее знающих еще дисциплину бойцов заняться «санитарией», пообещав им дополнительную карточку за работу и ускоренное продвижение с оформлением документов.

На ходу затягивая поясной ремень, шурша обросшим ртом, сержант спрашивал: «Кака очередь прошла?» – «Пятьсот шестнадцать», – отвечали ему. «У меня, кажись, шессот

Астафьев Виктор Петрович Весёлый солдат [astafevvictor.ru](http://astafevvictor.ru)  
пята. Как сержанта Глушкова выкликать станут, разбудите, товарищи», – и опять гукая по-конски кадыком иль селезенкой, отпивал из огромной фляги никому не известного зелья, вешал флягу через плечо на веревочку, поправлял шапку в головах и, укрывшись шинелью, разок или два передернув плечами и спиной, опадая в провальный сон.

Старожилы утверждали, что очередь сержанта давно прошла, но он номер ее твердо не запомнил и вот живет, значит, под скамейкой и с голоду не помирает, потому как есть подозрение: во фляге у него не просто питье, а питательная смесь, пушай и скотская, но он привычен к ней.

\* \* \*

Тот день в военкомате выдался особенно веселый. Уныние и тоска развеялись явлением народу еще одного занятого персонажа.

В дверях возник и встал на пороге, небольшого ростика, в фуражке, по случаю ветра на улице зацепленной узеньким ремешком за узенький же подбородок, человек со впалыми щеками, впалой грудью и вроде бы вовсе без тела, но с длинными руками и круглым ноздрястым носом. Поверх обмундирования на нем было надето демисезонное пальто, в кармане которого торчала бутылка, заткнутая бумажной пробкой. Он ее, бутылку, придерживал рукой, чтобы не вылилось. Пошатавшись возле дверей, пришел вдруг пронзительно, каким-то все еще находящимся в переходе, не переломившимся еще, парнишечьим голосом прокричал:

Весна пришла, победа наступила и всем народам радость принесла. Певец победоносно озрел публику, которая уж привыкла в военкоматном сидении и на боевом пути к выступлениям разных певцов, сказителей, поэтов, фокусников, кликуш и всяких разных придурков. Особого восторга народ не выразил, но бутылкой кое-кто заинтересовался. Мужичок-парничок набрал в грудь воздуха и провозгласил истошным голосом:

– Здрате, товарищи победители ненавистного врага!  
– Здорово ночевал! – вразброс откликнулись от порога и из «залы».  
– Бодрости не слышу. Здрате, товарищи!  
– Сбавь натуг, а то обсерешься, – посоветовали ему.  
– А поди-ка ты отселе, командир! – заворчал Ваня Шаньгин. – Двери притвори – не лето... холодом ташшы-ыт по ногам. Закурить давай!  
– Есть притворить дверь! – Мужичок потянул на себя дверь и пошел по спирали человеческого круга, толкая в народ сухонькую, но довольно крепкую и цепкую руку, церемонно представляясь: – Спицын. Федя. Спицын. Федор.

И когда пожал те руки, какие мог достать, окинул залу взглядом:

– Загорам?!  
– Загорам, загорам. Ты закурить давай!  
– Это можно. Это час!  
– И Ване Шаньгину выпить поднеси! Всем не хватит. Он тут оборону в одиночку держит. Врага час токо смял...

Ваня подвинулся. Федя сел подле него и протянул бутылку. Тот, вышатывая пробку клыком, не то спросил, не то утвердил:

– Пе-пехо-ота?

Федя охотно приложил к фуражке руку, снова звонко, будто пионер, выкрикнул:

– Старшина отдельного саперного батальона Федор Фифыч Спицын. Ха-ха!  
– Бра-ата-ан! – раздалось встречно, и с лестницы кубарем покатился усатый грубиян сапер и чуть не свалил Ваню Шаньгина, страшно испугавшегося за бутылку – к груди, будто младенца святого, он ее придавил.

Сапер-грубиян отпил из бутылки первый и, передавая ее Ване Шаньгину, рывкнул на Федю:

– Че орешь! Тут контора, военкомат, не саперна кухня!

Бутылка быстро опустела. Круглый, вместительный, на кастрюлю похожий предмет, сделанный из алюминиевого поршня, именуемого «палтсигаром», тоже мигом опорожнился. Федя влился в дружную, уже не военную, но, увы, еще и не гражданскую, семью, объяснив, что домой ему итить нельзя, все, что было привезено с собой, большая семья Спицыных пропила и приела. Ему, как и нам, пора «за ум браться», поступать на работу, добывать деньги и пропитанье. Обжившись на гражданке, сил, ума, самостоятельности накопивши, он женится, поскольку у него есть невеста, она дождалась его в полной сохранности, он ее уже попробовал и с точностью в этом удостоверился. Он-то, Федя-то, хотел с ходу, с лету и чтоб не жениться, но отец его, Спицын Феофан Парамонович, понимающий жизнь по-старорежимному, поскольку всю ее с малолетства отбухал на доменной канаве, жениться заставляет, но сперва, говорит, определись в жизни, обоснуйся, штаны заведи и угол и тогда уж женись.

Федю заставили в подробностях обрисовать, как, когда, где и каким образом он проверял свою невесту и понравилось ли ему это дело.

Астафьев Виктор Петрович Весёлый солдат [astafevvictor.ru](http://astafevvictor.ru)

– Лучше занятия пожалуй што на белом свете и нету. Оно не может не понаравиться, – утверждал Федя.

Народ дальше тему ведет: есть ли жилищные условия и возможности, чтоб заниматься любимым делом?

– Да ить я гуляю-то с сентября, заделал уж ей, дуре. – Федя обвел «залу» горестным взглядом. – Расшепендрилась! Отец узнает, что девку раскурочил, голову мне оторвет, как колесо с лисапеда сымет...

Хотел было заплакать Федя, но усатый братан похлопал его по спине, притянул к себе, очень удобная оказалась подставка – плечо товарища на войне. Федя сморился, отквасил губу и доверчиво уснул.

– Во, уездился! – завистливо вздохнул усатый сапер.

Ваня Шаньгин распорядился:

– Э-этого-ооо г-громилу-у-у-у б-без очереди-и-и-и... Осо-особые об..обстоятельства-а-ааа.

Федя Спицын, к изумлению своему, в тот же день получил документы. Будучи человеком хоть еще и не проспавшимся, но совестливым, спускаясь по лестнице с зажатыми в горсть бумагами, виновато твердил:

– Че тако, не понимаю?! Почему мне льгота? Я, товаришши, не виноват...

– Иди давай, иди, пока бумаги не отняли! – посоветовал братан и хряпнул Федю по спине так, что тот зашатался.

– Н-на свадьбу с-с-со-зови, н-не свою, дак до-че-ри, – пропел Ваня Шаньгин.

– У меня парень будет! – увильнул Федя.

И ведь как в воду глядел! Не один парень, пятеро парней у Феде Спицына народится. И какую жизнь проживет Федя – не пересказать, но где-нибудь, когда-нибудь к месту я к Феде еще вернусь. Полюбив его с военкомата, братва в городе помнила этого шептунного мужичонку.

Но на Феде Спицыне всякое веселье в военкомате и завершилось. Народу не убывало, народу прибывало. Зима входила в силу. У многих мужиков были семьи, голодуха поджимала, ждаты мы больше не могли, затребовали для объяснений начальника райвоенкомата.

На площадку лестницы вышел, при орденах в два ряда, перетянутый ремнем в тонкой талии, с желтым от табаку и недосыпов лицом, подполковник Ашуатов (все фамилии и имена я сохранию в доподлинности – уж понравится это кому иль не понравится, но иначе поступать не дает мне память), у подполковника, затем уже полковника Ашуатова на свете было семеро детей, сейчас, наверное, много внуков и правнуков у него. Сам он прожил тоже непростую послевоенную жизнь. Довольно еще нестарым мужчиной был демобилизован в звании полковника, работал парторгом кирпичного завода в поселке Лядбы Пермской же области, там или в Саратовской области, куда переехала его семья, он и похоронен. Лядовское кладбище попало под затопление Камским водохранилищем, прах полковника перенесен или нет – не знаю.

– Здравствуйте, товарищи! – устало сказал райвоенком сверху. – Я знаю обо всем и все понимаю. Принимаются меры, чтоб хоть временно, до получения документов, занять вас и обеспечить карточками.

Кто-то где-то там наверху, в небесах, услышал слова подполковника Ашуатова, наши ли солдатские молитвы до Бога дошли – на Чусовской железнодорожный узел обрушились гибельные метели со снегом. Все мы, военкоматовские сидельцы, были мобилизованы на снегоборьбу. На станции нам ежедневно выдавали талоны на хлеб, еще по десятке денег и тут же, в ларьке, их отоваривали. Однажды даже выдали по куску мыла и по несколько метров синенькой дешевенькой материи, из которой жена моя тут же сшила себе первую гражданскую обновку – коротенький халатик, кокетливо отделав его по бортам бордовой тряпицей. Наверное, тряпица была из тех ворохов, которые собирали женщины и дети этой семьи, шивали их вместе и стежили одеяла «из клинышков».

Ох уж эти лоскутные одеяла! Мы с женою еще вспомним о них и попробуем спастись ими.

\* \* \*

Пока мы боролись со снегом и давали возможность работать перегруженному железнодорожному транспорту, нам и документы приготовили, и все утряслось и установилось, все, что бродило и не знало, куда приткнуться, более или менее успокоилось. Вчерашние вояки разбрелись по своим углам и производствам. Само собой, снегоборьба еще более объединила бывших вояк, и я, в общем-то, знал в лицо едва ли не все население шестидесятитысячного городка, да и служба моя первая гражданская шибко содействовала познанию населения и объединения с ним.

На снегоборьбе мы не только убирали и отвозили на платформах снег с путей, но попутно долбили и скребли перрон, закатывали в вагонное депо порожняк на ремонт, случалось, что-то и разгружали – железнодорожное начальство торопилось

Астафьев Виктор Петрович Весёлый солдат [astafevvictor.ru](http://astafevvictor.ru)  
использовать момент, урвать от нас как можно больше пользы. Мы всякую работу делали в охоту, с азартом, хотя шибко стыли на ветру и некоторые даже поморозились в легком-то «дембельном», как его сейчас зовут, обмундировании.

Однажды совместно с вокзальными бабенками тюкали мы на перроне до мраморной звонкости утрамбованный снег, сгребали его в кучи и на пакгаузной грузовой тележке свозили в ближний тупик, там сбрасывали на кособоко сникшую двухосную платформу. И прилепись же мне в пару говорливая бабенка. Я орудую кайлом, она – лопатой и лопочет – измолчалась без мужика. За перроном возле будки техосмотра вагонов кучу мы разбивали, насквозь прошитую желтыми струями мочи не ссыкавших уборную пассажиров. Ну и станционные мужики ту кучу не обходили, лили на нее все что ни попадя. Крушил я ту кучу, крушил – выдохся. Бабенка взяла у меня кайло и давай, по-мужицки ахая, продолжать долбяную работу, она и в это время без умолку трещала. Я уже знал нехитрую историю ее семьи: мужик погиб, детей у нее двое, хлеба и дров не хватает – подалась на железную дорогу, перронным контролером и уборщицей одновременно, потому что здесь выписывают уголь, форму выдать суляться, и когда водогрейка Каенова помрет или на отдых уйдет, она выпросится работать туда – там чисто, тепло и спокойно, на водогрейке той висит фанерка, и на ней написано: «Посторонним вход воспрещен», – это чтоб враг-диверсант какой не проник, воду в кубе не отравил, пассажиров не сгубил.

Повествует бабенка про свое житье-бытье, мечты свои высказывает да кайлом тюкает. Я подгребаю совковой лопатой комья. Жарко мне сделалось, шинель расстегнул, распахнулся, и бабенка острым-то кайлом ка-ак завезет, да не по мне – по мне бы ладно, залечился бы, привычно, – она нанесла удар более страшный, она херакнула точнехонько по шинели моей.

И замерла, будто в параличе. И я замер. Гляжу, как ветер треплет аккуратным углом почти от пояса и до сапога сраженную мою шинель.

Жизнь действительно беспрестанное учение и опыт. Именно тогда от знающих людей известно мне станет, что настоящее сукно всегда рвется углом. Моя шинель была из сукна настоящего! Канадского – они не халтурили. Хорошие они, видать, люди, производство у них хорошо налажено.

Сколько мы с бабенкой стояли средь русской зимы, на Урале, зимой сорок шестого года, оправляясь от тяжелого удара, нанесенного в мирное время, с тыла, – я не знаю.

Мужественная, все беды пережившая русская женщина первая опаматовалась.

– Ах ты, туды твою мать! – сказала она. – Ну, где тонко, там и рвется! – Она ползала вокруг меня на коленях, скрепляла рану на шинели откуда-то из-под телогрейки добываемыми булавками и то материла себя, то стонала, один раз даже по башке своей долбанула, и еще бы долбанула, да я руку ее придержал.

Почти тридцать лет спустя сын мой, отслужив в армии, будет возвращаться из-за границы и весело расскажет, как, едучи по Польше, они все обмундирование, даже и шинели, повыбрасывали из вагона крестьянам – так они им, эти военные манатки, обрыдли за два года.

Тогда, в сорок шестом, израсходовав все булавки, проклятия и слова, забитая нуждой и горем, молодая еще, но уже выглядевшая лет на сорок, синегубая и синеглазая бабенка стала передо мной руки по швам:

– Прости, парень! Иль убей!

Я похлопал ее по плечу. «Ничего, – сказал, – ничего-о», – и мы стали продолжать совместную работу.

Вечером моя молодая жена аккуратно, частой строчкой, зашила рану на шинели, угол которой был в метр, не менее, величиной, и чтоб нитки не белели на шве, она их чем-то помазала, гребенкой расчесала ворс сукна, тогда еще не выношенного, – шов сделался почти незаметным.

Семен Агафонович, помнится, все ворчал в бороду:

– Эко дикуются над парнем! Эко пластают!.. Нет штабы поглядеть?! Сам-то Корней Кривошюков экой же шлопунт был! Анька эта, его дочь, видать, в него удалась! За тем, бывало, недогляди, дак без ног ему под вагоном валяться...

На другое утро Анна, придерживая подол, отворачиваясь от ветра, прибегла с перрона на дальние пути, что над самой рекой Чусовой, где мы работали в тот день. Она увидела меня издали, замахала рукой, споткнулась, побежала и, еще не отпыхавшись, принялась оглядывать меня вблизи и сзади, задирала на мне шинель, будто юбку на девке, и восторженно трещала:

– Гли-ко! Гли-ко! Как новенькая! Ка-ак новенькая! Мастерица в жены тебе попалась, ма-астери-ица! Ну, да оне – короеды известные! Что тебе в учебе! Что тебе в работе!.. Я со средней-то, с Калерией, в одном классе, в двадцать пятой школе училась! Куды-ы-ы там! Отличница! А твоя-то! Твоя-то! Ма-а-ахонькая! И как токо ты ее не задавишь?!

– Копна мышь не давит...

– Зато мышь всю копну источит... – И, заметив, что я прекратил ударную работу, на

Астафьев Виктор Петрович Весёлый солдат [astafevvictor.ru](http://astafevvictor.ru)  
нее вопросительно уставился, Анна затрещала о другом: – А я те работу нашла! Хорошую. В тепле. Дежурный по вокзалу требуется. А ты – железнодорожник, все правила знаешь, да и че там знать-то? Впихивай пассажиров в вагоны, чтоб ехали, – и вся недолга. Я уж и с начальницей вокзала насчет тебя разговаривала. Сука она, конечно, отпетая, но человек чуткий...

Так сделался я дежурным по вокзалу станции Чусовской. Но на службе той проработал недолго – очень дерганая работа оказалась, суетная, бестолковая. Чусовской железнодорожный узел сложный сам по себе: он перекрестный. Одно направление от него идет в Пермь, другое – на Соликамск, третье – через Гору Благодать на Нижний Тагил Свердловской дороги, четвертое – Бакальское – в Татарию, да еще «присосков» и ответвлений допона – к рудникам, в шахты, к леспромхозам с их лагерными поселками. Сама станция притиснута горами к реке Чусовой, три депо на ее территории: вагонное, паровозное и знаменитое электровозное – одно из первых в эсэсэре. Здесь первым в стране начал водить двумя электровозами-«сплотком» железнодорожные составы с версту длиной Игнатий Лукич Чурин, вятский когда-то крестьянин и, как оказалось, мой дальний родственник. Сделался Игнатий Лукич депутатом Верховного Совета, Героем Соцтруда, членом Комитета защиты мира, членом бюро горкома и еще многим членом. Он в конце концов только уж тем и занимался, что заседал, в президиумах красовался, по странам разным ездил, интервью давал, составы уже редко водил, в основном «показательные». Работать ему сделалось некогда.

Станция была, или мне казалась, ямой, в которую не раз валились составы, горящие электровозы, парящие и караул кричащие паровозы. Мне-то они были, как ныне говорят, «до лампочки». Но в яму ту сваливалась такая масса разноликого туда и сюда едущего народу, что совладать с ним, управлять им или, как принято выражаться, «обслуживать» его было невозможно: давки, драки у касс, сидение и спанье по неделям на полу, на скамьях, под скамьями детей, стариков, инвалидов, цыган; сраженья при посадке, срыванье стоп-кранов при отправлении поездов, как правило, с задержками, ругань на планерках, проработки по селектору из управления дороги, остервенение фронтовиков, не раз бравших меня за грудки, замаживавшихся костылями и всем, что в руках окажется. Только то, что на работу я ходил в гимнастерке и нарочно цеплял солдатскую медаль, да еще подбитый мой глаз, спасало меня от побоев иль от растерзанья озверелой толпой.

Но были и счастливые, памятные мне до сих пор часы ночных дежурств, когда отправятся вечерние поезда пассажирские, до утренних еще далеко, пассажиры, точнее сказать – воины боевого войска, слово после Куликовской битвы, пав на поле брани кто как, кто где, храпели, стенали и бредили, набираясь сил к предстоящим на рассвете сражениям, и я шел к Анне в водогрейку. Старушку-водогрейку Анна таки выжила каким-то ей лишь известным маневром и царила в водогрейке, выскоблив до желтизны защитные щиты над трубами и вентилями, похожие на нары, надраила, начистила все медное, куб водогрейки отскребла от ржавчины и покрыла выпрошенной в техосмотре какой-то блестячей защитной смесью, у порога положила голик, сама же и вывеску подновила: «Посторонним вход воспрещен», где-то добыла здоровенный дверной крючок и пускала к себе только тех из obsługi вокзала, от кого могла чем-нибудь покорыститься, кого уважала или боялась иль перед кем, как передо мною, к примеру, виновата была неискупимой виною.

Сняв шинель, я забирался на чисто мытый щит, похожий на банный полук, клал лопотину в голова и под сип бака, под шипенье труб и патрубков задремывал. Анна выполняла свою работу, шикала на тех, кто приходил за кипятком и не мог управиться с уличным вентилем либо лишку проливал воды в колоду и под ноги. Отшивала тех, кто искал дежурного по вокзалу.

– Ослеп? Вывеску не видишь?! – и рукой мне показывала на крепко закрюченную дверь. За дверью какое-то время молчали, читали вывеску и, уходя, грозились: «Н-ну, я его, гада, найду и так измудохаю, что мама родная не узнает!» – или обреченно роняли: «Ну, нигде, нигде правды не найдешь!..» – или просто пинали в дверь, матерились и удалялись.

На рассвете Анна трясла меня за ногу:

– Пиисят второй объявили. Вставай!

Пятьдесят второй, Москва – Нижний Тагил, был самый наш ранний поезд.

Зевая, потягиваясь, хрустя костями, я одевался, благодарно хлопал Анну по заднице, осевшей и увядшей от надсады.

– Кнопка-то твоя небось ревновитая? – как-то поинтересовалась она и, покусав губу, с горьким вздохом заключила: – Кто на меня и обзарится?

\* \* \*

Между тем дела в моем новом доме не стояли на месте. Они тоже двигались. Но

Астафьев Виктор Петрович Весёлый солдат [astafevvictor.ru](http://astafevvictor.ru)  
отчего-то не в мирную сторону, а в еще более бурные, чем война, стихии несло их, хотя и на мирной почве, но страстями своими они превзошли военные-то.

Когда я еще боролся с уральскими снегами и спал от трудов и морозов под боком молодой жены не просто крепким, провальным сном, сотрясаемым лишь привычными уже снами «про войну», меня вдруг разбудили крики, плач, ругань.

Я пощупал постель – жены рядом не было – и понял, что с войны явилась Калерия, тоскливо ужался в себе, притих нутром, войной кованным, сиротством каленным, предчувствуя, что ждут нас всех впереди перемены, и перемены не к хорошему, может, и беды: пружина, сжатая во мне натуго довоенным житьем, военными испытаниями, госпиталями, дорожными мытарствами, пружина, которую я носил все время в себе, с которой жил в доме жены, хотя и поразжалась малость при виде тестя и от приветливости тещи, да и всех близких моей супруги, не напрасно все ж до конца не отпускалась, что-то все-таки тревожило, не давало довериться до конца домашней мирной благодати.

Калерия была старше двумя годами моей жены. Самая красивая и строптивая. Она еще в детстве уразумела, что в такой семье если не урвешь, не выплачешь – в тряпье находишься, да и хлебать всегда только под своим краем будешь, с краю же, известно дело, пожиже, чем в середке. Еще школьницей она одевалась-обувалась получше других братьев и сестер, хотя и спала под общим большим одеялом вместе с братьями и сестрами на полу, хлебала из общей чашки...

Жена моя до сих пор хорошо вспоминает, что если хлебали молоко с крошками из общей чашки, то от нее, как лучики от солнца, к каждому едоку тянулись белые дорожки. А ведь стояли времена, когда изба еще не построена была, семья еще жила в старой избушке, называемой теперь флигелем, что задумчиво уперся покривившимися окнами в сугроб, в нем обретались не только дети, отец и мать, но жили какое-то время и дедушка, тетушка-бобылка, грамотей и красавец богатырь дядя Филипп, после раскулачивания приехавший к старшей сестре из родной вятской деревни, обучавшийся на шофера...

«Лучей» тех от общей чашки и в самом деле было, что от настоящего солнца.

Но жили, росли, учились, работали на огороде, на покосе дружно, умели не только стежить одеяла, но и вязать чулки, носки, варежки, шить, починяться, пилить, колоть дрова, доить и обихаживать корову, жилище, стойку, двор. Отец после работы засиживался на сапожной седухе, упочинивая соседскую старую обувь, подшивал валенки, что придется всей ближней округе, всем соседям по улице Железнодорожной услуживал сапожный спец. Родители придумывали всякие выдумки, уловки ли, чтоб дети не отлынивали от труда, прилежно бы им занимались. Пелагия Андреевна самопрядную шерсть наматывала непременно на спичечный коробок, в который прятала что-нибудь, что шебаршило или перекатывалось, позвякивало ли, – вот ребята и стараются ударно вязать, чтоб поскорее довязать клубок, открыть коробок и радостно обнаружить в нем то конфетки-горошинки, то три копейки – как раз на карандаш хватит – или щепотку орешков, и пойдут разговоры-расспросы: «А чего у тебя?!», «А у тебя?», «У-ух ты-ы!»...

Калерия в этих трудах вроде бы и не участвовала, все как-то сбоку, все чтоб себе получше да полегче. Вязала она хорошо, петелька к петельке, но вязанье оставляла непременно на виду, чтоб мама или тетя при случае повязали бы. Обновки ей покупали чаще, чем другим, и мать это объясняла: мол, вынудила, пристала как банный лист; то выревет, то больной прикинется – и ее пожалеют. Она и на танцы ходила чаще и нарядней сестер, иногда, как бы из милости, брала с собою и мою будущую жену, которая первую обновку – новые галоши – получила в пятом классе.

Вторым по вредности и причудам в семье был Азарий. Но этот страдал всерьез и по совсем иным причинам. У него была огромная башка. Когда я с ним познакомился, она достигала шестьдесят второго размера! И вот из-за такой, видать, башки, которая его все время «передоляла», он часто падал, ушибался. Ища развлечений в своей небогатой забавами и не очень разнообразной жизни, ребята за какую-нибудь безделушку или на спор просили или принуждали брата открыть башкой разбухшую, тугую и тяжелую дверь в сенки. И он с разбегу открывал головой дверь настезь, после чесал покрасневший лоб, но терпел за вознаграждение или за победу в споре. Чаще ему же и попадало, Пелагия Андреевна ругалась: избу выстудил!

Разумеется, каждый парень или девка в этой семье имели не только свои, лишь в чем-то схожие, характеры, лица, росточки, но и причуды свои. Но не время рассказывать о них. Надо вернуться к той зимней ночи, к возвращению Калерии с фронта.

Еще с детства Калерия и Азарий – два самых плаксивых и вредных, я уже говорил, существа в этой большой семье – не то чтоб невзлюбили, но неприязненно друг к другу относились, с возрастом и нетерпимо.

Вот они-то, Азарий и Калерия, с ходу, с лету, несмотря на ночной час и долгую разлуку, схватились ругаться – отчего и почему, я не знаю. Думаю, ни отчего и ни почему, просто давно друг друга не видели и не ругались. Ругань длилась до

Астафьев Виктор Петрович Весёлый солдат [astafevvictor.ru](http://astafevvictor.ru)  
рассвета. Никакие уговоры-сетования матери, Пелагии Андреевны, не помогли, не помогли и очуранья отца. В доме этом, как я уже говорил, не принято было материться. Я представил себе свою родимую деревню, как дядя, да затем и братцы, и сестры быстро разогрели бы себя матюками, давно бы пластали рубахи друг на друге, но к утру помирились бы.

Тут дело закончилось визгливым рыданием Калерии: «Нечего сказать, встретили!.. Уеду! Сегодня же уеду!»

Что-то умиротворительное бубнил Семен Агафонович; часто и мелко звякала пузырьком о край кружки Пелагия Андреевна, наливая «сердечное» – «капли датского короля». Несколько раз встрял в свару чей-то незнакомый мужской голос. Тася и Вася спали – или делали вид, что спят, – в боковушке, за печкой-голландкой. Азарий упорствовал, нудил что-то, собираясь на работу. «Ты уйдешь седня?» – возвысила голос Пелагия Андреевна. Тут и Семен Агафонович привычно поддакнул жене: «Айда-ко, айда-ко!.. Ступай...»

Дверь бухнула. Мимо окон к штaketной калитке, все еще высказываясь, прошел Азарий, хряпнул калиткой и удалился с родного подворья, пропал во все еще сонном, но уже начинающем дымить печными трубами городишке.

По лестнице вверх провели икающую Калерию и осторожно определили на вторую кровать, стоящую в дальнем углу той же комнаты, где и мы с супругой обретались. Пелагия Андреевна виновато и тихо сказала: «Спите, с Богом», – направилась к лесенке вниз и, проходя мимо нашей кровати, со вздохом обронила: «Парня-то, поди-ко, разбудили? А ему на работу, на ветер, на мороз... Ложись и ты, Миля. Че сделаешь? Господь-батюшка, прости нас, грешных!.. Ох-хо-хо...»

Жена моя осторожно не легла, прокралась под одеяло, вытянулась, затихла.

Возле другой кровати, скрипя ремнями и повторяя как бы для себя: «Черт знает что такое? Уму непостижимо! Сестра... Дочь с фронта, беременная, – и уже другим тоном: – Ты успокойся, успокойся...» – раздевался военный, долго выпутываясь из ремней и пряжек, затем так же долго стягивал узкие сапоги – офицер! – усек я. На аккуратно развешенном обмундировании на спинке стула блеснули в полутьме награды, свет в комнате сквозь задернутые подшторники проникал слабый, и я не мог разобрать: какие награды, какого звания офицер?

Мне было неловко и жалко жену. Я ее нащупал с краю и без того узенькой, на одну душу рассчитанной кровати, придвинул к себе, подоткнул под нее одеяло – это все, что я мог для нее сделать, и давал понять, что я-то не такой, как Ванька за рекой, в случае чего...

– Спи! – благодарно прижимаясь ко мне, прошептала жена. – Тебе уж скоро подыматься... – И, чувствуя, что я не сплю и спать не собираюсь из солидарности с нею, хотя и очень хочется додаться до предрассветного сна, добрать такие нужные моему усталому телу, в особенности ногам, которые начинали – со страхом слышал я – от рассолоделости ли, от мирной жизни иль от снегоборьбы мозжить, напоминая мне о давнем ревматизме, жена внятно, на всю комнату уронила: – До войны наша семья была не такой.

Но никто не откликнулся, никто на ее слова не среагировал. Было видно сквозь щели пола, который служил и потолком, как на нижнем этаже погасили свет, старики укладывались, думая свои невеселые думы, потянуло снизу нашатырным спиртом и еще чем-то, все запахи перешибавшим втираньем, которым пользовался Семен Агафонович, наживший болезнь ног не столько от железной дороги, сколько на реке Вильве, в которой он бродил каждую осень, сплавляя сено.

Скоро в боковушке зашуршал, верхними сенями спустился и ушел к себе в фЗО, на раннее построение, Вася. В комнате сделалось серо, затем почти светло. Надо было подниматься и мне, разминать кости, готовясь к борьбе за жизнь родного железнодорожного транспорта. И каково же было мое удивление, когда я увидел, как на соседней кровати, в шелковом кружевном белье, мирно, сладко и глубоко спит молодая женщина; уткнувшись ей в шею, не менее мирно и сладко спит не очень молодой, судя по седине на виске, мужчина, звание которого я разглядел на погонах – капитан. Погоны не полевые, новенькие, празднично сияющие – словно содрали золотую фольгу со святых икон и прилепили ее ровненькими пластушинками к гимнастерке меж окантовкой, про которую однажды при мне много раз стриженный по тюрьмам человек, будучи в нетрезвом состоянии, сказал: «Не х..., не морковка, а красная окантовка!» – сказал и боязливо оглянулся.

\* \* \*

Жена моя поступила работать в промартель «Трудовик» Чусовского горпромсоюза. По образованию-то она химик, окончила техникум химический. Кроме того, окончила курсы медсестер; кроме того, научилась разгадывать «государственные тайны», то есть работала в цензуре. Да вот пренебрегла приобретенными профессиями, где ей, наверное, больше бы платили и сытнее кормили, подалась в бедную артель инвалидов



плановиком.

Я не спрашивал ее – отчего и почему. Я уже немного познал ее сильную, упрямую натуру и из рассказов ее запомнил, что после страшной, довоенной еще, аварии на домне, где она работала химлаборантом, она попросту завода боится; слабые навыки медсестры она за давностью времени и малого опыта утратила, цензуру и все, что с нею связано, ненавидела.

По моему бойкому, почти бездумному совету она не встала на военный учет, наслушавшись о военкоматской толкотне. И о ней забыли, об этом комсомольце-добровольце не вспомнили! Армии она более не надобна, и все тут. Вплоть до вручения медали Жукова, стало быть до старости, никто и не знал, что она была на войне. Я не хотел получать медаль имени браконьера русского народа, но, как всегда, подавая мне положительный пример, жена моя получила свою. Приехавшие с бутылкой на квартиру чины не знали, что они вручают награду злостному дезертиру, с сорок пятого года уклоняющемуся от военных обязанностей.

На работу жена моя ходила к девяти, как человек интеллигентного труда. Погладив меня ладонью по щеке, шепотом напутствовала:

– Умывайся тихонько. Папа и мама недавно легли. Кружка молока с чаем и кусочек хлеба тебе на припечке. Рублевка на обед в кармане гимнастерки. Да не обмороживайся больше...

И отвернулась. Хотя был утренний зимний полумрак, я различил, что она заплакана. Догадываться я начал, что всякому горю она научена и умеет переживать «про себя», не то что я, чуть чего – и запыхал: мать-перемать! всех раш-шибу!

– Ну чего так-то уж переживать? Ну, поскандалили... Ну, бывает...

– Иди, иди!

Увы, жена моя была не только образованней, но и опытней меня во всех делах: земных, житейских, служебных и всяких прочих; очень много всякого разного успела изведать как в личной жизни, так и в общественной, работая в «особых» войсках, даже под расстрел чуть не угодила.

А что я, год назад начавший бриться солдатик, от ранения потерявший зрение правого глаза и по этой причине единственную свою профессию – составителя поездов, еще совсем недавно рядовая окопная землеройка с шестиклассным образованием, мог знать? Я даже род войск капитана не различил по погонам.

Зато жена моя хорошо ведала, какого рода войск погоны прикреплены к гимнастерке новоявленного нашего родственника.

\* \* \*

Ну вот, память моя – что кочегар на старом пароходе: шурует и шурует уголь в топку, а куда, зачем и как идет пароход – нижней команде не видно, ей лишь бы в топке горело да лишь бы пароход шел.

Так ведь бывало во всех поворотах моей жизни: занесет меня черт-те куда и зачем, как и вылезать из препятствия, как очередную препону на пути преодолевать – соображай, умом напрягайся либо пускай все по течению – авось вынесет.

Я и не спорю. Дурак я, что ли, спорить-то? Во-он сколько всякого народу до меня смелбо, и весь этот народ пытался оспорить судьбу, подправить веселком течение жизни – ан выносило и дураков, и чудаков, и гениев все к тому же месту, где всякое сопротивление бесполезно, да и смешно. «У-ух и разумен же я!»

Погоны у капитана оказались энкавэдэшные, он ненавязчиво объявил, что работал в СМЕРШе. Я слышал о такой организации, но где она и чем занимается – ни сном ни духом не ведал, знал только те слова, которые знали все солдаты, даже национального происхождения, кроме «бельме», ничего по-русски не говорившие, – «Смерть шпионам!».

Наш капитан шпионов не ловил, состоял при каком-то хитром отделе какой-то армии и словил на боевых путях лишь сестру моей жены да накачал ей брюхо. Калерия доживала последние сроки и приехала домой рожать. Кроме Калерии капитан приволок из Германии множество всяких чемоданов, узлов, мешков. Тесть, служивший когда-то, вернее, проходивший воинскую службу под городом Витебском, глядел на новоприбывших гостей исподлобья, почти ни о чем с ними не разговаривал, даже про город Витебск не спрашивал, решив, что там, где город Витебск, такие не служат. Сам он когда-то явился с воинской службы в вятскую деревню с хранящим нехитрые солдатские пожитки деревянным сундучком, с которым и отбывал на службу, в гимнастерке, украшенной бантом за прилежную службу, – ребятишки-варнаки все цепляли его на свои рубахи, да и потеряли...

Зато теща, униженная бедностью, убитая горем: пятерых проводила на войну, двое вот уж убиты, один сильно изувечен; Азарий после всяких комиссий вернулся домой – из-за зрения, и он вот бушует; у младшего чего-то с головой неладно, – теща эта, Пелагия Андреевна, когда-то полная телом и сильная характером, умевшая управляться с многоголовой семьей, вдруг залебезила перед Калерией и ее мужем-капитаном, отделила их с едой под предлогом, что Калерия в тягости, да и

Астафьев Виктор Петрович Весёлый солдат [astafevvictor.ru](http://astafevvictor.ru)

устали они от войны, поспать-отдохнуть им охота...

Кровать наша железная, до нас еще ребятей расшатанная и проволокой перепеленутая, скоро оказалась за печкой. Семен Агафонович с привычной теплой территории переместился на печь. Сама теща занимала место с боку печи, около перегородки, возле низкого окна, на некорыстной деревянной кровати, на постеленке из старых пальтишек да телогреек, кинутых на грубую, соломой набитую матрасовку.

На печи было пыльно и душно, за печью темно и жарко. Я после контузии плохо переношу жару, вижу кошмарные сны. Но самое главное, я лишился самой большой отрады из всей моей пестрой жизни – возможности читать.

«Но надо было жить и исполнять свои обязанности», – как без обиняков и претензий на тонкости стиля сказал товарищ Фадеев, а вот сам-то всю жизнь исполнял не свои обязанности.

Оба мы работали, реденько, украдкой, в час неурочный или в воскресный день исполняли супружеские обязанности, и, выдам лучшую тайну – не без удовольствия, и вообще не унывали. С молоком и нас урезали, когда корова Девка дохаживала – молока вовсе не стало, и у соседней Комелиных стали занимать по банке – для Калерии, под будущие удои. Голодновато, бедновато жили, однако ж бодро.

Я уж забыл, но жена запомнила и, веселясь до сих пор, рассказывает: когда капитан вывел Калерию на прогулку, она взялась мыть полы, я ж, надев ее военную юбку и цивильную шляпу с пером, сидел на лавке и развлекал ее матерщинными частушками. Шибко я ее порадовал, не частушками, конечно, а тем, что при такой жизни, после такой войны сохранил в себе юмор и не терял присутствия духа, живя за печкой в доме, где напряжение все нарастало и нарастало.

Она, моя женушка, еще не знала: когда из помещения игарского детдома ребят перебросили в дырявый каркасный барак, отдав наш дом под военкомат, так мы весельем да юмором только и спаслись от лютых заполярных морозов и клопов – как раз тогда вышла на экраны всех ошеломившая бесшабашной удалью картина «Остров сокровищ». Мы из нее разыгрывали целые сцены. Я изображал пирата Джона Сильвера, и когда вынимал изо рта у кого-то тиснутую где-то трубку с кривым длинным чубуком и тыкал ею в Петьку Заболотного, тупого и здорового дылду, изображавшего такого же тупого и громадного гренадера с «Испаньолы» и говорил покровительственно: «Дик! Говори ты!..» – он громовым голосом произносил знаменитое: «Когда я служил под знаменами герцога Кумберленского!..» – и, оборванный недовольным предводителем заговора, тут же брякался на пол. Я, Джон Сильвер, щупал его затылок и, не найдя шишку, снова заставлял его падать – чтоб «по правде было», чтоб хряпался исполнитель роли об пол без халтуры. Ему приходилось повторять эту сцену до тех пор, пока на затылке не появлялась шишка с мячик величиной...

Азарий приходил домой редко, обретался у Софьи и, отыскивая какие-то напильники, резцы и прочий инструмент, вел себя вызывающе.

– Выжили людей! – орал он. – За печку загнали! – И рыпался на нас: – А вы-то что? Зачем ушли? Пускай бы они жили за печкой! А то привыкли! На немецких круховиках! А ты землю носом рыл!.. А они трофеями наживались! И тут им самое лучшее место! – Он приносил мне книги из заводской библиотеки и, сунув том, ронял: – На! Читай! Может, когда и поумнеешь!..

Наверху дребезжал голос капитана: «Не связывайся ты с ним! Пр-ро-шу тебя! Пр-рошу-у!.. Ребенок... нервы...»

Азарий, бухнув дверь, уходил. Мать крестила его вслед: «Прости его, неразумного, Мать Пресвятая Богородица! Не от ума, ото зла это, зло пройдет, схлынет...» – и какое-то время стояла потерянно среди кухни, забывшаяся, сама себя потерявшая. Потом спохватится и, приподнявшись на несколько ступенек внутренней лестницы, напомним дочери:

– Каля! Я тебе молоко подогрела. Попила бы. Да и капель бы успокоительных... расстроил тебя опять большеголовый...

Папаша и жена моя, капля в каплю похожие друг на друга, отводили в сторону глаза. Семен Агафонович, хотя ему и запрещено было курить в избе, вертел цигарку, задымливал и приглушенно говорил:

– Робята! Ступайте наверх, в боковушку, почитайте там, полежите или че... К тем ведь не обязательно заходить... Ну их...

В ту пору мы с супругой часто ходили в кино – искусство это было нам не только по финансам, но и по расстоянию доступно: кинотеатр «Луч» был почти рядом, через дорогу.

В кинотеатре показывали сплошь трофейные фильмы, в большинстве которых неземным, небесным голосом пел толстенный человек, про любовь пел, катаясь на красивых яхтах с красотками, Беньямино Джильи – соловей вселенский. А перед сеансом, в холодном фойе, в полудекорированном черном платье, продрогшая и

Астафьев Виктор Петрович Весёлый солдат [astafevvictor.ru](http://astafevvictor.ru)

рано увядшая голосом и лицом местная солистка по фамилии Виноградова пела «Пусть солдаты немножко поспят» – и мне всякий раз сладкой горечью сдавливало горло, я заставлял себя думать, не от песен военной поры, а оттого, что мне ее, Виноградову, жалко. На улице мороз, дверь в фойе распаивается и распаивается, несет холодом на низкую эстраду, на ноги, на голые плечи певицы. Иногда выступал чечеточник, он же куплетист, пел сочинения на слова писателей, попавших в Пермь в эвакуацию и дружной артелью поддерживавших боевой дух фронта.

На культурные мероприятия, как и на работу, я ходил в обмундировании. Вернувшись с работы, я набрасывал на себя японскую шубу, раздобытую старшим сыном, Сергеем, видимо, в лагерях военнопленных и подаренную отцу. Жена моя тем временем приводила в порядок и праздничный вид гимнастерку, брюки, если требовалось, стирала этот единственный комплект одежды, сушила его паровым утюгом, подшивала подворотничок, меловым порошком подновляла пуговицы, наряжала меня, оглядывала со всех сторон; по лицу ее я читал: она довольна мною. У меня сохранилась карточка с первого моего, бессрочного, паспорта: в той самой гимнастерке, только уже без погон, – на карточке незнакомый, далекий уже мне чернобровый, довольно симпатичный парень, успокоенно, с каким-то взрослым достоинством и заметной печалью глядящий на этот бурный свет.

\* \* \*

Зеркало наверху было одно – большое, старинное зеркало в массивной черной резной раме. Низ зеркала и бока его уже обработало время, места эти напоминали лягушечью икру, перемешанную со свежей мелко рубленной капустой, переплетенную серебряными нитями. Но середка была чиста, и когда утрами делали в комнате уборку или поливали цветы, на зеркале появлялась испарина, ее протирали досуха, и тогда оно, зеркало, опять начинало отражать в себе то свет зимнего солнца, явившегося в заоконье, то пятнышко лампочки, упрятанной в старомодный абажур. И всегда в этом древнем зеркале свет то отражался, то ломался, крошился в стеклянки, искорки или вдруг вытягивался живым лучом по всему его пространству, от угла до угла.

У меня уже заметно отросли волосы, я уже один раз сходил в парикмахерскую и, поскольку никаких причесок не знал, хотел было назвать, как мой папа, – «польку-бокс», да в преискуранте, висевшем на стене, «полька» и «бокс» обозначались отдельно, к тому же «полька» была наполовину дешевле «бокса», и я назвал эту прическу, да так и не меняю ее до сих пор, лишь иногда, когда контуженая голова совсем уж начинала разламываться от боли, я стригся машинкой «под ноль», надеясь, что без волос голове будет легче.

Я любил постоять перед тем старым зеркалом, много лиц повидавшим, зачесывая волосы то набок, то кверху – «политикой», то еще как-нибудь. Однажды Калерия, утопивши живот меж колен, что-то сноровисто шила у окна.

– Тебе идет прическа чуть набок и вверх. Ты тогда как петушок... и изуродованный глаз меньше заметно, – сказала она.

– С-спасибо! – сквозь стиснутые зубы процедил я, уже и подзабывший про уродство глаза. Жена моя и такого меня любила, ну а если не любила, то привечала и необходимо, по-русски жалела.

В комнате, где обосновались высокие квартиранты, сделалось будто на выставке, скорей как на барахолке. Всюду: на стульях, на спинке кровати – горой лежало, висело разнообразное заграничное барахло. Капитан расхаживал в галифе, в шелковой, голубого цвета, нижней рубашке и пощелкивал цветастыми подтяжками или валялся на кровати, почитывая книгу. Черти его сунули в начавшийся разговор.

– Калерия! А что, если мы выдадим один из костюмчиков этому боевому солдатику, да еще рубашку, может, и сапожки – не парень, загляденье будет!..

Я не думаю, что он подал эту «идею», чтоб поизмываться надо мной. Он, наверное, и в самом деле хотел облагодетельствовать меня трофейным добром. Калерия, прервав работу, посмотрела на мужа – шутит он или всерьез говорит. Она, Калерия, испытывала передо мной чувство неловкости за так неладно, с нашего «переселения», начавшееся возвращение их к мирной жизни, иногда заговаривала со мной о том, что как родит, они с мужем получают квартиру: у него на это больше возможностей, чем у меня, – они это понимают. Переедут, обставятся, тогда мы с Милей снова вернемся в комнату наверх. А сейчас как быть? В положении и ей, и нам неловко, да и тесно...

«Да-да, – кивал я головой. – Конечно, конечно. Не беспокойтесь, нам и за печкой ничего. – И для убедительности добавлял: – С милой рай и в шалаше...»

Тяжело донашивающая ребенка, Калерия морщила губы в улыбке, кивала мне и долго потом следила за моим взглядом: правда ли, что я не ношу камня за пазухой, не обиделся на нее. Бедная женщина. Она была в том уже состоянии, когда все земное докучает, мешает, боль и тревога сосредоточены на том, что внутри, а не снаружи, что ее мучает, но и дарит светлую радость небывалого, ни на что не похожего

Астафьев Виктор Петрович Весёлый солдат [astafevvictor.ru](http://astafevvictor.ru)  
состояния и жуткой тайны ожидания того, что за этим последует, муки ее завершатся новой жизнью, подумать только, зачатой на войне.

Ребенка мира! Первенца! Ее первенца! Ради которого она и сама родилась, росла. Не для войны же, не для работы, пусть и в отдаленности от фронта, рождалась она!

Калерия заметно помягчала нравом, сделалась уступчивей, заискивала перед сестрой, как я заметил, самой тут непреклонной; не вступала в стычки с Азарием, даже подарила ему что-то заграничное, вроде ручку-многоцветку. Правда, он ее забыл в желобке окна. Отцу с матерью тоже что-то подарила. Тасе – платье да пальто. Васе – ботинки, хотя и поношенные, но совсем еще крепкие. А вот у жены моей подарков от Калерии и ее капитана не было, видать, они понимали: никаких подарков она не примет, да еще такой отлуп даст трофейщикам, что зубы заноят.

В общем и целом отношения в доме более или менее утряслись. Калерия капризничала, или, как тут говорили, «дековалась», только над матерью, да и то нечасто. Мать терпела и всех терпеть просила. «Господь простит», – говорила.

Но жизнь под одной крышей – тесная жизнь, тут друг от друга не спрячешься. Мой свояк Иван Абрамович с семьей переехал из Шайтана в Архиповку, поближе к городу, всего она в шести верстах от города, та Архиповка. Он часто привозил на салазках мороженое молоко на продажу, из овощей кое-что – он сбивался на дом. И пока жена его торговала на базаре, Иван Абрамович вел с нами разговоры, да все больше на политические темы иль нравственно-социальные.

Видом он был благообразен. Высоко обнажившийся массивный лоб обрамлен нимбом волос, голубоглаз, длиннолиц, длиннорук, походил он на какого-то философа из учебника пятого класса. Иван Абрамович читал газеты, книги, вступил на войне в партию, хотя на Урал угодил спецпереселенцем, негодовал по поводу безобразий, творившихся в лесной промышленности, заверял, что все это вместе с последствиями войны будет со временем партией ликвидировано. На лесозаготовках Иван Абрамович очутился не по своей воле, на фронте метил попасть в политруки, но дальше агитатора продвинуться не успел, однако патриотический порыв не утрачивал до тех пор, пока жизнь да болезни совсем не замяли его и не растолкли в порошок. Я его подзуживал:

– Ты такой вот сознательный, почем же сейчас молочко на базаре продает твоя баба? Почему?

– Дурень ты! – беззлобно и снисходительно гудел Иван Абрамович и отворачивался от меня, как от осы, докучливо зудящей над его мудрой головой. – погоди, погоди, поживешь вот мирной жизнью, покатает она тебя по бревнам, синяков на бока наставит – поуменеешь.

С товарищем капитаном разговоры у нас не клеились. Он про «свою войну» помалкивал, я трезвонил шпорой, в кучу собирал все, что слышал, видел на пересылках, в госпиталях, в запасных полках. Свой боевой путь был мне настолько неинтересен, что я его почти не касался, вспомню только иногда, где че сперли, какие шуточки вытворяли по молодости лет после того, как отдохнем и отоспимся, от глупости и прыти, связанной с возрастом и постоянной взвинченностью, неизбежной у молодых ребят на войне.

Иван Абрамович, рядовой стрелок на войне, пехотинец, вышедший в сержанты, отлично понимал, где я говорю серьезно, где придуриваюсь, хохотал, отмахивался от меня, утирал калеченой рукой, похожей на пучок сосисок, глаза. Папаша смеялся приглушенно, и только по глазам его серым, голубеющим в минуты радости, да по мелко вздрагивающей бороде было заметно, что он тоже смеется.

– Тихо вы! Каля там, забыли! – шикала на нас Пелагия Андреевна, но шикала беззлобно – тоже нажилась в почти безгласном доме за войну. – Согрешенье с вами... – и удалялась к соседям – отдохнуть, может, переждать: Калерия рассердится – ее тут не было, и она знать ничего не знает.

– Вот с такими вояками и отдали пол-России, провоевали четыре года, – не выдержал как-то капитан, послушавший мои байки.

Я знал, что он не выдержит, потому что он, когда я, махая руками и ногами, «травил про войну», фыркал, совался с замечаниями. Я ждал, когда он сорвется, даже предполагал, что он скажет, и тут же вмазал ему в ответ:

– А с такими, как ты, просрала бы целиком дорогую Родину за три месяца! Осенью немцы были бы уже здесь, – потопал я по полу. – На Урале! А японцы там! – показал я за окно, на улицу, в восточную сторону.

Повисла неожиданная напряженная тишина. Но капитан был не лыком шит, немало, видать, поработал с такими «мятежниками», как я. Он побледнел, но, сдерживая себя, выдал презрительно:

– Шутник! – и быстро удалился наверх.

Папаша снова, несмотря на запрет, свертывал сигарку. Иван Абрамович угрюмо молвил:

– Зря ты. От говна подальше...

Астафьев Виктор Петрович Весёлый солдат [astafevvictor.ru](http://astafevvictor.ru)

Папаша, с которым мы уже испилили и искололи все дрова в мои выходные дни, очистили снег и стайки, то вполуха слушал меня, то и вовсе не слушал, но все равно мне одобрительно кивал:

– И правда што, не связывался бы ты с им. Правильно Иван Абрамович толкует: от говна подальше – не воняет.

Теща явилась и с порога навалилась на «самово»:

– Опять смолишь! Скоко говорено. – И когда, накинув японскую шубу и бубня что-то себе под нос, папаша удалился на улицу и я стал собираться следом за ним, сказала Ивану Абрамовичу так, будто меня уже не было в избе: – Ну нискоко не уступит старшим! И трешшйт, и трешшйт!.. Да хохочет – аж лампы гаснут! Вот как ему весело! С чего? Зарабатывают меньше уборщицы, но туда же, с гонором...

Папаша сидел под навесом тамбура. Цигарка его, как флейта с дырами по бокам, дымила вызывающе. Удивительный был он курец, папаша! Курил он всю жизнь не взятяжку, но без курева жить не мог. Сейчас у него в цигарке-флейте были крупно рубленые табачные крошки – корни вперемешку с крапивой, но он смолил себе и смолил – аж глаза ело. Протянул было мне кисет, но моя голова его курева не переносила, угорала – в ней, в контуженой-то моей башке, усиливался звон. Папаша убрал кисет в карман. Я достал за услугу на вокзале заработанные папироски и, когда докурил «Прибоину» до мундштука, притоптал ее, сказал папаше:

– А давай-ка, Семен Агафонович, сортир чистить. Народу много, все серут... уже подпирает...

– Пожалуй што айда. Нам така работа самый раз. Капитанам срать – нам, солдатам, чистить! – Такие сердитые слова, так сердито и грубо произнесенные, я услышал от папаши впервые и озадачился, начиная понимать, что с виду-то у папаши лишь борода да нос, да трудовые корявые руки, испутанные толстыми жилами, но внутри, в середке-то, где глазу не видно, – не все так уж просто да топорно.

Папаша надел «спецовку»: старый дождевик, латаные-перелатаные валенки, для чистки изготовленные рукавицы – и заделался черпалой. Меня от долбежной работы освободил, так как одежда у меня одна – и рабочая, и выходная. Пахнуть стану, а работаю на людях, и он, папаша, преотлично это знает, так как на том же Чусовском вокзале, после того как ему повредило руку при сцепке вагонов, какое-то время состоял швейцаром при ресторане. Работа легкая, в тепле, да старуха его оттудова отстранила, так как он там, при ресторане-то, кхе-кхе...

В старом железном корыте я отвозил добро за железнодорожную линию, опрокидывал его в овраг – весной ручей все зимние накопления снесет в реку Чусовую. Пока папаша нагружал транспортную емкость, я любопытствовал, что же означает это самое «кхе-кхе». Отвернувшись от сортирного жерла, Семен Агафонович досадливо обронил:

– Не знаешь, што ли? Мужик ведь!.. – и, тяжело вздохнув, признался: – Винцем я стал баловаться... А семья!.. С такой оравой не забалуешься, – и, опершись на лопату, устремив голубеющий взор в какие-то ему лишь известные дали, исторгнул: – Было делов! – но тут же опамятовался, прикрикнул на меня, что полное уж корыто, а ты стоишь и стоишь, ротом ворон ловишь.

Когда я вернулся во двор и поставил под нагрузку транспорт, папаша, заглаживая нечаянную грубость, пообещал мне:

– Я ишшо тебе как-нибудь расскажу про службу в городе Витебску. Во-от, парень, город дак город!

Для папаши это был самолучший город на свете! Так как других он почти не видел, не задерживался в них, городишко же Чусовой по естеству жизни плавно перетек в деревенский лик – сельская жизнь тут не могла сравниться ни с какой стороны с городом Витебском. Воспоминания о городе Витебске папаша мог поведать только в самые благостные минуты, будучи «под мухой», и только самым близким людям. Вот и я удостоился услышать от него те редкостные, захватывающие воспоминания, и за это мне хотелось обнять и притиснуть к себе папашу, да весь он был в мерзлом крошеве – от него попахивало. Когда мы углубились на уровень лома в нужниковую яму, выломали, выковыряли и отвезли отходы человеческие за линию, папаша восстановил деревянный мерзлый трон и, как в прежние годы, после приведения «опшэственного места» в порядок затопил баню.

В этот раз мы мылись с ним вместе, чего достаивались тоже далеко не все, даже и сыновья. Ивана Абрамовича старик стеснялся. Я сдавал на каменку. Семен Агафонович, ахая, хлестался веником, сочувствовал, что я не могу париться: «Вот чево война делат с человеком...»

Когда, уже изможденный, обессиленный, сел папаша на приступок полка, прикрыв исхлестанным веником причинное место – в этих делах, как и в словесном сраме, тесь мой был целомудрен, многому меня, не поучая, научил, – пытался он продолжить беседу про войну, но сил его даже на разговоры не хватало – ослаб могучий мужик за войну, на иждивенческих карточках, – попросил окатить его теплой водицей, загородив накрест ладонями свои мужские достоинства. Родив

Астафьев Виктор Петрович Весёлый солдат [astafevvictor.ru](http://astafevvictor.ru)  
девятирех детей, последнего – сорока пяти лет, они, родители, не дали им  
никакого повода узнать, откуда они взялись, тем более, каким манером их  
мастерили.

Привыкший к массовому бесстыдству, богохульству и хамству на войне, да и до  
войны кое-что повидавший по советским баракам, наслушавшийся всякой срамотищи и  
запомнивший бездну мерзостей, декламировавший целые поэмы, подобные «Весне»  
Котляревского, невольно я подбирался, укорачивал язык, смягчал солдатские манеры  
поведения и придерживался насчет окопного фольклора. Многим современным,  
интеллигентно себя понимающим людям стоило бы поучиться у бывшего вятского  
крестьянина человеческим отношениям меж собой, в семье, на людях. Узнав, что у  
капитана в городе Ростове есть брошенная жена с двумя детьми, Семен Агафонович  
не мог понять, как это возможно – оставить свою жену, тем более робятишек, –  
оттого сразу невзлюбил блудню зятя, да и дочь осуждал за невероятный в этой  
семье поступок. Позднее он мне признался, что сразу решил: «Путной семьи у их не  
получится, ничего доброго не будет – на чужом горе счастья не строят, эдаким  
маневром. – Все же он был и остался маневровым работником – составителем  
поездов. – Варначат людишки, жить-то по-людски не живут. Дитям судьбы калечат».

Калерия, удостоверившись, что муж ее не шутит – всерьез хочет обрядить меня в  
парадный костюм, поддержала супруга:

– Что ж, по-родственному полагается всем делиться...

А я ж, «язва болотная» – по выражению бабушки, сроду и болот-то не видавший:  
горы у нас да скалы кругом, на родине-то, – я ж страшно раним, потому как в  
деревенском сиротстве хлебом корен, в детдоме беспрестанно попрекаем за то, что  
государство меня поит, кормит, одевает, день и ночь думает обо мне, в окопах и  
госпиталях изношен до того, что нервы наголо, и начитан некстаты, изображаю  
прическу на непутевой голове перед зеркалом, – внятно так, отдельно произношу:  
– Я до войны вором был – беспризорничество вынуждало воровать... И потому – ныне  
ворованным не пользуюсь.

Капитана будто ветром смахнуло с кровати, он закружил по комнате, закачал  
половицы – они же потолок.

– Ты что?! – негодовал капитан и назидал в том духе, что все манатки –  
немецкие, есть трофейное имущество, которое брошенное, которое купленное,  
которое просто победителям отданное!..

Из вороха тряпок, лежавших на столе перед зеркалом, я брезгливо, двумя пальцами  
поднял миленькие детские трусики с кружевцами и, кривя глаз и рот, начал  
измываться над сожквартирантами:

– Да-да!.. Прибежала немецкая девочка лет трех от роду, а то и годовалая,  
сделала книксен: «Герр советский капитан! Я так вас люблю, что готова отдать вам  
все!» – и великодушно сняла вот эти милые трусики...

Капитан ушибленно дернулся, его скособочило, сломавшись в шее и пояснице  
одновременно, он рухнул задом на кровать, какое-то время глядел на опущенную  
голову Калерии. Она ни глядеть на него, ни шить не могла.

– В-во мерзавец! Во-о сволота!..

– Иди-ка сюда, капитан, – поманил я пальцем свояка. Он отчего-то заворуженно  
пошел на мой голос – колдун же я, колдун! Распахнув дверь в верхние, холодные,  
сени, я показал ему на воткнутый в стену бритвенно остро наточенный столярный  
топорик и медленно, сквозь зубы проговорил со всей ненавистью, какую нажил на  
войне, с бешенством, на какое был способен с детства: – Еще одно невежливое  
слово, я изрублю тебя на куски и собакам выброшу... – Осторожно, будто в  
больничной палате, я закрыл дверь и, обмерив взглядом оглушенного капитана – все  
это комфортное жилище, добавил: – Хотя такую падаль здешние собаки жрать не  
станут, разве что ростовские, под оккупацией человечину потреблявшие...

\* \* \*

Выступление мое разбросало всех обитателей дома по углам и запечьям. С Калерией  
и с капитаном одновременно началась истерика. Капитан превзошел свою жену в  
визге, стенаниях, угрозах и жалобах, все напирал на то, что ни быть, ни жить ему  
здесь невозможно, чтоб все слышали и знали, как он страдает от поношений, как  
много терпит неудобств и несправедливостей.

Вылазка капитана не удалась – ему в Ростов хотелось, к деткам, к женошке  
богоданной, не с пэпэжэ ему, в самом деле, вековать. Согрешил, накрошил, да не  
выхлебал товарищ капитан. Вспомнил, видать, что семейная каша погуще кипит.  
Бо-ольшим политиком за войну сделался капитан, со временем в генералы выйдет, и  
его непременно как патриота в селезневскую Думу выберут – там ему подобных уже с  
десяток воняет, дергается, пасть дерет, Россию спасает от врагов. А ее надо было  
нам спасти от таких вот капитанов и его покровителей. Тогда бы уж не очутились  
мы на гибельном краю...

Ну да ладно, чего уж там...

Астафьев Виктор Петрович Весёлый солдат [astafevvictor.ru](http://astafevvictor.ru)

Папаша залег на печи, мамаша пила за занавеской «капли датского короля». Тася и Вася привыкли уже тишком-молчком проскальзывать в свою квадратную комнатную-боковушку с двумя топчанами. От средней комнаты эту боковушку отличал цветок ванька-мокрый на окне да самошивный коврик из лоскутков на стене.

Азарий дневал и ночевал на заводе да у своей Софьи. Жена моя – на работе, как раз приспел квартальный отчет, и она подолгу засиживалась в старом, хорошо натопленном доме, где располагалась контора инвалидной артели «Трудовик». На выручку мужу, которому из-за занавески было предложено «искать квартиру», не поспешала.

Поскольку «квартира» я никогда не имел, опыту их искать – тоже, жильем меня всегда кто-то обеспечивал: сперва родители, потом бабушка, потом все государство обо мне пеклось – детдом, общежитие ФЗО, вагончик на желдорстанции, солдатская казарма, индивидуальная фронтальная ячейка бойца, по-тамошнему – ровик, привычнее – щель в земле, изредка – отбитый у врага блиндаж с накатом, госпитальная палата с индивидуальной койкой, вагоны, вокзалы.

И вот прибыл, стало быть, на место, окопался!

Начал восстановление народного хозяйства, удивляя себя и мир трудовыми подвигами. И чего я этого капитанишку топором не раскрывал? Но это уж больно кровожадно даже для такого громилы, как я... ну хотя бы обухом по его толоконному лбу...

Было бы у меня опять жилье. Казенное. С индивидуальным местом на нарах, с номером. Из рассказов бывалых людей, а их у нас уже в ту пору тучи велось, я с точностью представлял то казенное помещение. По комфорту, обстановке и нравам, царящим там, не уступало оно бердской казарме, где мы топали и дружно пели боевые песни, а сталинградская пересылка, а винницкая, а львовский и хасюринский госпитали, а дорога с фронта, а конвойный полк – это ж «этапы большого пути», как поется опять же в патриотической песне: «Ту-упой фашистской нечисти заго-оним пулю в лоб!..»

Прикончили. Загнали ему пулю в лоб и в жопу. Кого закопали. Кого рассеяли. Сами тоже рассеялись. Пора братья за ум. Пора учиться жить. Биться в одиночку. За существование! Слово-то какое! Выстраданное, родное, распрекрасное – новорожденное, истинно наше, советское. На полкиловой пайке его и не выговоришь. А что пиздострадателя этого не изрубил, Бог, значит, отвел. Хватит мне и немца, мною закопанного в картошке. Каждую почти ночь снится.

Сложив в нагрудный карман документы, в том числе так и не обменный проездной талон на железнодорожный билет, выписанный мною при демобилизации до Красноярска, хлебную карточку, поместив в синий мешок, в неизносимый подарок Сталина, тетрадку в ледериновой корочке, с песнями, стихами, фотографиями фронтовых и госпитальных друзей да совсем недавно пламенно любимой медсестры, запасные портянки, ложку и кружку, я потоптался у порога, подождал, когда прервется крик Калерии наверху.

– До свиданья!

Никто ни с печи, ни из-за печи не откликнулся. Уходить будто вору хотя и привычно, да неловко все же, да и горько, да и обидно, на сердце вой, в три звона сотрясает, разворачивает больную голову, поташнивает. Как всегда после сильного потрясения, хочется плакать.

– Прощайте! – повторил я и по-крестьянски, церемонно вымучил: – Простите, если...

Семен Агафонович отодвинул блеклую занавеску, решительно и шумно откинул ворох лучины, свесил бороду на мою сторону:

– Поезжай! Поезжай, поезжай с Богом... от греха... – и, опуская бороду еще ниже, добавил: – Че сделаешь?.. И тоже прости нас, прости.

– С Богом, – выстонала из-за занавески благословение теща.

Вечером я заступил на дежурство, ночью написал заявление о расчете, и утром начальница, гулевая, красивая баба, обремененная ребятами, за что ее замуж не брали, с сожалением подписала мою бумажку и каким-то образом обменяла мой просроченный талон на железнодорожный билет до Красноярска.

– Хоть теперь по-человечески поедешь! – В ней и в самом деле сочеталось совместимое лишь в русской бабе-женщине: бурность, книжно говоря, темперамента и чуткость слезливой русской бабы.

\* \* \*

Днем появилась на вокзале и отыскала меня жена. Я после дежурства спал в комнате начальницы вокзала, на диване. Сама начальница уехала куда-то в командировку, скорее всего загуляла в отделении дороги. По случаю очередной победы в соцсоревновании по перевозке грузов кутили там который день.

Посидев в тяжелом молчании, в непривычной отчужденности в руководящем кабинете, мы занялись кто чем. Жена смотрела в окно. Я вынул запасную чистую портянку,

Астафьев Виктор Петрович Весёлый солдат [astafevvictor.ru](http://astafevvictor.ru)  
сходил к Анне, рывкнул, чтоб дала воды, да постуденее. Она в ответ жажнула такой струей, что и умыться не надо – всего меня окатила. «Ведьма!» – сказал я, утерся портянкой и вернулся в вокзал.

Жена моя играла в ладушки. Сидя на лавке сдвинув колени под диагоналевой юбкой, валеночки не по ноге, много раз чиненные кожей и войлоком, составила пятки вместе, носки врозь. Прихлопывала ладошками и что-то едва слышно – она не песельница по призванию – напевала. Я попытался уловить – и уловил: «А мы – ребята-ухари, по ресторонам жизнь ведем...» Ее, эту песню из богатого детдомовского фольклора, я пел ей не раз, и она вот уловила мелодию, но всех слов не запомнила – хотя и способная баба, но к ней как-то не липли и в слух ее не проникали подобного рода творения, зато я их имал с ходу, с маху, с лету. Однако песня сослужила нам неоценимую службу: мы оказались в вокзальном ресторане. Знакомая официантка подала нам по коммерческому бутерброду из черного хлеба, два звеньшка селедки да по стакану кислого кваса.

– А вина нам не дадут? – вдруг спросила жена. – Я премию получила, – и, чтобы я не засомневался, тут же полезла в сумочку, подаренную ей еще до войны крестной, имя которой она произносила с благоговением, Семен Агафонович и Пелагия Андреевна – с неподдельным трепетом. – Вот! За кварталный отчет. Мы его досрочно сдали, нам выдали маленько денежек, выписали всем конторским кожи на обувь.

– Хорошо живете! – холодно заметил я и объяснил, что насчет вина ничего не знаю; хоть и работаю на вокзале, в ресторане бываю только в случае необходимости, чтоб вывести кого, усмирить, если милиционера поблизости нету. Обедать в ресторане мне не по карману – я ведь и в самом деле получаю чуть больше уборщицы.

– Попроси, а! Попроси! – настаивала жена, и в голосе ее, в глазах была незнакомая мне забубенность напополам с душой рвущим отчаянием человека, покидаемого на необитаемом острове.

К моему удивлению, официантка не удивилась, даже обрадовалась:

– Х-хо! А мы думали, ты непьющий! И до девок не охоч... – прищурилась на дальний, угловой, столик: – Твоя? Ничего. Только малокалиберная... У нас девки поядреней... – и скоро принесла бутылку портвейна под сургучом, три ломтика веером раскинутого, скрюченного сыра, винегрет и сколько-то шоколадных конфеток из кармана фартука вытащила. – Конфетки спрячьте. Не-кон-ди-ци-он! Ну, со стороны добытые, – пояснила она. – По фондам с голоду сдохнешь!..

Портвейн мы выпили. Весь. Я сперва ни крепости его, ни вкуса не чувствовал, потом меня развезло, супружницу мою – тоже. Где-то за пакгаузом, за технической будкой, почти по-за станцией, мы сидели на запасных, рядком сложенных рельсах и, целуясь, плакали. Она все пыталась говорить, вернее, выговорить: «Вот и свадьба!.. Прости! Вот и свадьба!.. Прости!» – с разрывами, сквозь слезы, несвязно лепетала. Но я все до основания понимал, гладил ее по голове, целовал в холодный, слезами заполненный рот.

Потом, продрогшие до последних ниточек, мы неторопливо шли той же дорогой, которой двигались не так давно, но отчего-то казалось, что было это вечность назад. Я провожал жену домой. Она говорила, что вчера была крестная – приезжала специально из города Лысьвы, посмотреть на «Милюного мужа». Ей сказали, что муж на дежурстве. Тогда крестная поинтересовалась, как и где живут молодые. И когда ей указали на запечье, напрямки спросила: «Калерия, конечно, наверну?! Я так и знала! Вечно Милечка у вас в батрачках! Вечно вы ее, безответную, в углы затапливаете да работу погрязней да потяжелее суете!..»

Решительная эта женщина, крестная-то. Дала она всем прикурить. Велела властью своей освободить от квартирантов флигель; переселить туда Милечку с мужем. Какой бы он молодой и разбойный ни был – им жить, им и разбираться друг в друге. Когда отелится корова, нужно помогать им молоком, и вообще хватит делить детей на любимчиков и нелюбимчиков. Левочка, муж крестной, говорит, что у нас социализм и все должно быть по справедливости!

О, грехи наши тяжкие, смехи наши вольные! Тут, на вокзале, я узнал наконец о том, как моя жена раздобыла столько имен.

Крестная росла без отца: мать ее рано овдовела и была приглашена работать экономкой в дом к протоиерею, служившему в кафедральном соборе. Дело она знала, была исполнительна, безупречна в части морали и всего прочего, пользовалась у хозяев полным доверием. Будущая крестная, когда наступила пора посещать гимназию, училась вместе с дочерью высокого духовного лица и рано начала болтать по-французски.

Гражданская война разметала семью священника. Мать крестной, привыкшая управлять и властвовать, стала выводить дочь «в люди». И вывела! Крестная хоть и в небольшом чине, но работала в техническом отделе на железной дороге. Вечерами, иногда и ночи напролет, шила вместе с матерью, вышивала, вязала, плела. Даже от



Астафьев Виктор Петрович Весёлый солдат [astafevvictor.ru](http://astafevvictor.ru)  
табачной фабрики брали женщины работу – набивали табаком папиросные гильзы. Зато и одевалась девица всегда по моде, выглядела культурно, читала книги. Прехорошенькое, шептливое существо, вышколенное матерью, вольности не знало, мать иногда даже поколачивала ее, вплоть до замужества.

Муж крестной прожил тяжкое, голодное детство в многодетной семье, был подпаском, затем пастушком, благодаря уму, стараниям и добрейшему характеру покорял высоты наук по пути в инженеры, покорила еще и сердце разборчивой девицы, давшей отлуп уже не одному «видному» жениху.

Из рассказов об обожествленной крестной мне в ту пору запомнился один. Это когда она, крестная, еще девицей гуляла с Левочкой, одетым в красивую форму строительного инженера, вдруг с ужасом почувствовала, что лопнула тесемка у нижней накрахмаленной юбки! И случилось это не где-нибудь, но посреди конно-пешеходного моста через реку Усьву, длиной не меньше километра! Нечистая сила, не иначе, решила подшутить над девицей, подвергнуть ее моральному испытанию. Да не на таковскую нарвалась! Девица как шла, так и вышагнула из накрахмаленной юбки, сопнула ее с моста.

Кавалер, державший свою любимую под руку, так ничего и не заметил, так и держал, как держал. Кто-то из публики, гуляющей по мосту, воскликнул: «Э-эй! Кто бельё утопил?!» Девица пожалала плечиками: «Какая-то растяпа полоскала бельё и упустила юбку по течению». И лишь много лет спустя, будучи на курорте, в аналогичной же ситуации Левочка со смехом напомнил: «Какая-то растяпа юбку утопила!» «Умный Левочка! Ох, умный! А воспитанный!»

Так вот эта самая, решительная еще в девицах, особа и ее строгая мамаша рабочую семью Семена Агафоновича жаловали. И когда у Пелагии Андреевны родилась девочка – пятый в семье ребенок, – строгая и почтительная Ульяна Клементьевна выговорила доброй знакомой: мол, если деньжонок подзанять, иголку для машинки, кожу на заплатки, лоскутья для одеяла – всегда пожалуйста! Но вот пятого ребенка родила, а чтоб ее дочь в крестные взять – не подумала! Наделив роженицу подарком, строгая женщина добавила: ныне быть крестной ее дочери – она не хуже людей! и чтоб новорожденную назвали ладом – Людмилой.

Послала Пелагия Андреевна своего Семена Агафоновича метрику выписывать на новорожденную. И он пошел, перед этим в честь прибавления в семье немного выпил. Когда зашел в загс за метрикой и когда, регистрируя младенца, заполняя эту самую метрику, его спросили, как ребенка назвали, он запомнил мудреное имя и сказал – Марией.

Рассердилась крестная, что не по ее просьбе дали имя девочке, и сказала, чтоб хоть Милей тогда ее называли. Ее убеждали, что Мария – имя тоже хорошее, в святцах означает – Святая!.. А я вот у Даля потом прочел: «Не у всякого жена – Марья, а кому Бог даст».

С тех далеких пор в семье жены произошло по отношению к ней раздвоение. Почти все называли ее Милей, отец же, Семен Агафонович, – Мареей; будь хоть выпивший, хоть усталый, хоть здоровый, хоть больной – Мареей, и все тут! И так до конца его дней, вот они какие – вятские-то, – не больно хватские, зато упрямые!

Веселый рассказ кончился, и дорога – тоже. Надо прощаться. И мы распрощались, но, увы, не в последний раз.

После встречи на вокзале на душе у меня сделалось легче, особенно от загадочных слов жены: «Приезжай!.. Я без тебя переберусь во флигель. Когда вернешься – скажу тебе важное... Приезжай!» И осталась на перроне одна-одинешенька среди толпы, в чиненых валеночках, в мамином стареньком пальтишке, в теплом берете, натянутом на уши, – военная шапка на мне. Я попытался вернуть шапку, она удержала мою руку, вежливо и настойчиво: «В Сибири уши отморозишь...»

\* \* \*

В Сибири никто меня, кроме бабушки, конечно, не ждал, но вся многочисленная родня, погулять гораздая, нарядилась, собралась, запела, заплясала. В какой-то день привели скромно потупившуюся девку, которую тетки мои предназначали мне в невесты. Один раз она написала мне на фронт, я не ответил, и теперь, узнавши, что я женат, облегченно сообщила: «Я тоже замуж собралась... – кротко вздохнула: – за сторожа-пожарника. Инвалид он войны».

Чужой, совсем незнакомый человек, а вот там, на Урале... там мне важное хотят сообщить о чем-то – я почти догадываюсь...

Но первая новость на Урале была ошеломляющая – умирала Калерия. На кровати иль, точнее, на топчане матери, за занавеской лежала догоревшая до черной головешки старая женщина с плавающим взглядом, в которой я уже не узнавал красивую Калерию. Я опустился на колени перед скомканной постелью, пощупал раскаленный лоб больной. Взгляд ее пробудился, она не произнесла мое имя, а зашептала, зашептала, схлебывая, слова:

Астафьев Виктор Петрович Весёлый солдат [astafevvictor.ru](http://astafevvictor.ru)

– Вернулся?! Ха-а-ашо, ха-а-ашо!.. А я вот видишь, вот видишь... – Она боялась еще произнести слово «умираю».

Я понял, все понял по ее лепету... не надо бросать жен, не надо сиротить детей, не надо войны, ссор, зла, смерти.

– Я сейчас, сейчас сбегаю...

Калерия поймалась за мою руку:

– Не уходи-ы. Ты... ты... мне нужен, твое прощение мне нужно, – собравши силы, едва уже слышно прошептала умирающая.

– Я сейчас, сейчас, помогу тебе, помогу.

В дорогу из Сибири меня снабдили харчишками. Бабушка из какой-то заначки вынула туюсок моченой брусники.

Я кормил Калерию прямо из туюска брусничкой, стараясь зачерпывать ложкой ягоды вместе с соком, и видел, как больно легчает, как жаром сожженное нутро ее пронзает освежающая влажная кислота.

– Мне легче стало, – внятно сказала Калерия. Она была завязана по-старушечьи. Я концом ситцевого платка вытер ей губы и сказал:

– Теперь ты поправишься – брусника не таких оживляла...

– Па-си-бо! – по-детски раздельно выдохнула Калерия и, склонив голову набок, уснула.

\* \* \*

Этой же ночью Калерия умерла, оставив новорожденного сына. Прослышав, что в роддоме худые условия, плохо с роженицами обращаются, что дома эти переполнены, что детей часто путают и не кормят, мать решила принимать роды дома, хотя сама она, деревенская когда-то баба, всех своих детей принесла в городском роддоме.

О, эта слепая родительская любовь и рабское прислуживание! Они порой страшнее предательства... Отчего-то рожать Калерию переместили на материнскую постель, в духоту, в пыльное место. Может, не хотели беспокоить капитана и в полутьме обрезали пуповину старыми портновскими ножницами. Ножницы валялись на издолбленном, гвоздями пробитом подоконнике, перед которым сапожничал папаша, на них еще рыжела засохшая кровь.

Вдвоем, Азарий и я, долбили землю на новом кладбище на уральской горе, которая называлась Красный поселок – не за революционную идею так гора называлась, а оттого, что на ней красная глина. С перебитой рукой из меня какой долбежник? Я подбирал лопатой крошево глины с камешником, Азарий бил земную твердь с остервенением и раскаянием.

Капитан во время прощания с покойной женой бился головой о стену и на кладбище, ползая вокруг могилы, все норовил в нее упасть.

– Тиятр! – сказал я твердо, и жена моя, съжившаяся, сделавшаяся совсем махонькой, уцепив мать под мышки – не держали ноги старую женщину, – посмотрела на меня долгим, горестью и болью сжатым взглядом. После скромных поминок сделала она заявление:

– Совсем ты на войне очерствел, – помолчала и добавила: – Может, и озверел...

На что я ей дал отпор:

– Мужик должен быть мужиком. Засранец капитанишка этот, а какой засранец – вы еще узнаете.

Узнали. Очень скоро. Через совсем короткое время, сороковины не справив, товарищ капитан, сделав разведбросок в город Ростов, вернулся за манатками, забрал все, не оставив даже лоскутка на пеленки сыну. Но всем нам было уже не до капитана и не до трофейных манаток. Мы с Азарием снова долбили землю на Красном поселке. Достали, достали аж на Урале бедного фэззошника, свернули ему голову труды мудреные Карла Маркса и его партнера Фридриха Энгельса.

Когда-то падавший со строительных лесов и ушибившийся головой младший брат жены, Вася, дочитался до точки, взял и повесился в сарае.

\* \* \*

Пока я катался в Сибирь и обратно, жена моя перетаскилась во флигель. Он состоял из двух половин, этот флигель, давно списанный, почти залегший окошками в огород и не упавший только потому, что снаружи его подпирали четыре крепких, с сенокоса припавленных, бревна. Внутри подпорок было шесть, при мне появились еще две. Печь развалилась. Папаша принес из бани железную печку, выдолбил дыру в старой трубе, засунул туда железное колено. Еще он принес старую железную кровать из сарая и, чтоб она не падала, прикрепил ее к стене, закрутил на гвоздях проволокой, еще он принес вышедший из строя курятник, выскреб из него плесневелый помет, покрыл фанерой верх – получилась столешница. Задвинул изделие в угол, прикрепив, опять же, его гвоздями к стенам.

Жена моя побелила стены, потолок и печь, намыла полы, отскоблила курятник ножом, повесила шторы на окна и занавесила проем – ход из кухни в комнату, на

Астафьев Виктор Петрович Весёлый солдат [astafevvictor.ru](http://astafevvictor.ru)  
заборку прибила две репродукции из журнала. Перегородка из кухни была фанерная, и ее вспучило осевшим потолком. Но уют все же был, и какой уют! Разве сравнишь с окопом или блиндажом, даже штабным.

Главный тон и вид придавала штора. Еще когда я боролся со снегом на станции Чусовской, прибегла как-то ко мне погубительница шинели Анна и сунула сырой и грязный комок материи: «На! Твоя кнопка занавески сделат». На станцию прибыл какой-то груз из Канады или Америки, завернутый в плотную марлю, прошитую разноцветными нитями: красной, голубой и желтой. Нарядную эту упаковку узрели вокзальные бабы и давай ее драть, к делу употреблять. Мужики в пакгаузе и на товарном дворе были всегда пьяные и за то, что бабы давали им себя пощупать, разрешили сдирать упаковку, на их взгляд совершенно лишнюю.

Жена моя тот лоскут от упаковки мыла-мыла, стирала-стирала – и сотворена была штора – радуга, сиянье, красота. И жильё наше инвалидное изнутри сделалось куда с добром! В нем было всегда чисто, светло от белой печки и штор на окне, сотворенных из старых наволочек. На углах тех шторок-задержушек жена вышила синие васильки с зелеными лепестками. Так мило получилось.

Отдельное жилище, уют, созданный своими руками, – это ли не счастье! Это ли не достижение для воинов, вступивших в мирную жизнь. Правда, половицы на торцах подгнили, и западня начала проваливаться в неглубокий подпол. Ну, да я-то на что, мужик-то в доме зачем?

Грубо, неумело, нестругаными обрезками я починил пол, подшил и укрепил западню, на свалке подобрал полуведерную кастрюлю – парнишки, ученики из артели «Металлист», обрезали проносившийся низ кастрюли, припаяли новое дно, и мы варили в той кастрюле картошку и уплетали ее за милую душу. Иногда удавалось купить на базаре кусочек сала, мы эти грамм сто делили на два-три раза, сдобривали луком – и очень-очень аппетитное варево получалось.

Картофель мы сперва покупали на базаре или его выписывали в артели «Трудовик». Луку и чесноку как-то привез нам Иван Абрамович, чтоб мы не жили без витаминов, пообещал весной выделить нам сколько-то земли, возле своего огорода, и семенного картофеля на посадку.

\* \* \*

Здесь, в этом райском жилище, разрешился и «секрет» жены: появилась у нас дочка, которую я в честь своей мамы назвал Лидией. И если прежде мы топили печь два-три раза за ночь, теперь ее приходилось жарить беспрестанно. Надо было добывать дрова. Я пошел в горсобес и нарвался на начальника, который еще в сорок втором году убыл с фронта по ранению, занял теплое местечко среди баб, царил, как бухарский падишах. «Откуда, откуда ты будешь-то? Ах, из Сибири! Ну так и поезжай в Сибирь за дровами. Ха-ха-ха!..» – порадовался он своему остроумию. Я знал в этом богоспасенном городе пока одного лишь заступника за народ – военкома Ашуатова. Пошел к нему. Он в телефон наорал на горсобес, и нам подвезли кузов дров. Осиновых. Сырых.

Семен Агафонович сказал: «Ат варнаки! Ат шаромыжники!» – и посоветовал сходить в вагонное депо, попробовать по линии дорпрофсожа выписать отходов, среди которых, объяснил он, попадается много старых вагонных досок. «С имя осина сгорит за милую душу», – заверил тесть.

Я не только выписал отходы на дрова, но и нашел работу в вагонном депо, в горячем цехе, где отливали тормозные колодки и башмаки для них. Цех пыльный. Все работы, в том числе и разгруз вагранки, велось вручную, кувалда – главный был инструмент вспомогательного рабочего. Но здесь, в горячем цехе, были самые высокие заработки в депо. И я вкалывал возле вагранки, да еще и в железнодорожную школу рабочей молодежи записался, и был самым старшим в классе, и учился подходяще – хотелось, очень хотелось закрепиться в жизни, обрести устойчивое в ней место, попасть на чистую конторскую работу.

\* \* \*

Ранней осенью мы потеряли нашу девочку. Да и мудрено было ее не потерять в нашей халупе. Зимой жена застудила груди, и мы кормили дочь коровьим молоком, добавляя в него по случаю купленный сахар.

Но прежде чем покинуть нас, то милое, улыбчивое существо сотворило свой жизненный подвиг, ради которого, видимо, посылал ее Бог на землю: она спасла жизнь матери и отцу. Отчаявшись натопить нашу избушку, где ребенок все время сопливал, кашлял и чихал, моя разворотливая жена, у которой ноги и руки часто опережали разум, очистила старую печку от сора и золы, поправила и замазала щели, вставила в дыры кирпичи и жарко протопила парящее сооружение. Я после смены и школьных занятий так уставал, что часто не хватало моих сил осмотреться в хозяйстве, упредить намерения жены, проконтролировать ее прыткие домашние

Астафьев Виктор Петрович Весёлый солдат [astafevvictor.ru](http://astafevvictor.ru)  
действия. Она тоже смертельно уставала, а тут еще за печника, за штукатурку и за истопника поработала. Выкупала ребенка в железном корыте, которое, опять же, изготовили в артели «Металлист» инвалиды-жестянщики из кровельного железа...

Глухой ночью что-то грузно упало на меня – я трудно проснулся. В неуклюжей деревянной качалке, сработанной папашей, Семеном Агафоновичем, еще своим детям, тепло укутанная, чихала и плакала девочка. Поперек кровати на мне без памяти лежала моя жена. Сверхусилием – мать же! – не давая окончательно померкнуть сознанию, она едва шевелила губами, еле слышно повторяя: «Угар... угар...»

Я отбросил ее, резко вскочил и тут же возле кровати упал на пол. Девочка все плакала и чихала. Я потом узнаю, что дети малые устойчивей взрослых к угару. Я на карачках выполз на кухню и, хватаясь за все еще горячую плиту, потянулся, чтобы открыть вьюшку, но не открыл – старая вьюшка заклинилась в щели, я обрушился на плиту, разбил лицо, рассек губу и, увидев кровь, заливающую мою грудь, пополз к корыту, в котором мокли детские пеленки, видимо, чтоб умыться. По пути к корыту я напоз на старую западню, на которую мы старались не наступать обеими ногами, если возможно было, обходили ее. Западня провалилась, вместе с нею в подполье свалился и я. Подполье было старое, обвалившееся, до пояса мне. В добротном подполье я бы погиб, следом погибли бы жена и дочка, но из этого я как-то выбрался и снова полез к корыту, упал в него лицом, замочился весь, стянул с себя мокрое, солдатское еще белье и сообразил, что надо открыть дверь на улицу. Но дверь была внаклон флигелю, разбухшая, снаружи обшитая старьем. Я забавлялся тем, что, неся беремья дров, приостанавливался на пороге, дверь, кряхтя, подшибала меня аж до самой печи. И сейчас, распахнувшись, выпустив меня, успевшего натянуть шинель на голое тело, дверь медленно притворилась – запечатала жену и дочку.

В эту ночь, сказали мне потом, на дворе было за тридцать градусов мороза. Нагой, мокрый, на мерзлом полу сенок я скоро очухался настолько, что прямо босиком по тропе ринулся в родительский дом, застучал, забренчал. Узнав мой голос, Семен Агафонович открыл дверь и отшатнулся – перед ним, в распахнутой шинели, с залитым кровью лицом, грудью и животом, шатаясь и в горсть воя, стоял, как потом окажется, любимый зять. Короткий переполох, беготня, крики:

– Робята! Робят наших во флигеле вырезали!.. Робята!..

И вот уж Пелагия Андреевна несет, прикрывая шалью, ребенка. Семен Агафонович волоком тащит по двору родную дочь.

Не стало нашей спасительницы, нашего первенца, нашего ангелочка, якоря, державшего нас возле берега жизни, двигавшего против течения наш шаткий, дырявый семейный корабль.

Голодом уморили ребенка в больнице. Жена с распластанной грудью лежала в палате, где было несколько кормящих матерей. Поскольку врачи не разрешали кормить ребенка, заболевшего диспепсией, ничем, кроме грудного молока, она просила, умоляла женщин хоть разок покормить девочку. Никто из женщин не откликнулся на ее мольбу. Робко, со слезами просила жена врачей привезти молока из родильного дома – некоторые женщины сцеживают лишнее молоко. «Вот еще!» – было ей ответом. «Ну хоть с детской кухни бутылочку принесите!»

Девочка хотела жить, тащила больничную пеленку в рот и сосала ее, жамкала деснами. Когда умерла девочка, жена долго пальцем выковыривала из ее рта, запавшего, будто у старушки, обрывки ниток трухлой ткани.

Пройдет сколько-то лет, и нашего первого, конечно же обожаемого, внука настигнет та же, что и Лидочку, болезнь. Вместе с матерью его завалят в инфекционную больницу, где он сразу же наматывает клубок переходчивых болезней. И, как в давние, послевоенные годы, станут лечить ребенка прежним, нестарееющим методом – голодом. Парень уродился крупный, жоркий, голод переносил совсем тяжело. Но у него было уже два зуба и мужицкий характер. Однажды он схватил кусок черного хлеба и, давась, принялся рвать его и жевать, а ночью, когда мать задремала, просунул руку сквозь решетку кровати, спер с тумбочки соленый огурец и иссосал его до кожуры – мужик, боец не сдавался, боролся за свою жизнь.

Утром его, завернутого в пуховую шаль, вынесли «подышать», и, увидев меня, он протянул руки и, когда я его принял, упал мне на плечо лицом и горько-горько, по-взрослому, разрыдался. Мужик жаловался мужику, мужик у мужика искал защиту. И я велел дочери, высказавшей намерение выкрасть ребенка ночной порой из больницы: «Действуй!» – думая, что если ребенок и помрет, то хоть не в казенном месте, а дома.

И дочь ушла с ребенком из пощады не знающего в борьбе за жизнь медицинского заведения.

Было это уже в другом городе, не до конца утратившем отцовские заветы, чувства братства и сострадания.

Знакомый врач осмотрел, ощупал ребенка и громко, по-деревенски грубо выругался: «Дуболомы! Так их мать! Они ж заморили парня. Он же с голоду умирает!» – и тут

Астафьев Виктор Петрович Весёлый солдат [astafevvictor.ru](http://astafevvictor.ru)

же велел дать ребенку ложечку сладкой воды и ложечку же рисового отвара.

Вырос высокий, красивый, с виду совершенно здоровый парень, но... чуть чего – схватится за живот. Все свое детство любивший пожрать, он глотал таблетки без сопротивления, и с лекарств, не иначе, мучается аллергией, часто носом идет кровь, и порою вызывает все это психоз, да какой!..

Вот и перед ним у бабки с дедкой вина постоянная. Всевечная вина перед его рано угасшей матерью и давняя вина перед первенцем. Ныне ей, Лидочке, было бы уже за пятьдесят...

Я сам сделал из поперечинки и ножек выброшенного в сарай стола крестик. Жена сшила «красивый наряд» покойнице, из марли, собранной бориками, сшили капорочек. Домовинку грубо вытесал папаша, узлом завязали на мне полотенце, взял я под мышку почти невесомую домовинку и понес на гору. Сзади плелись жена и папаша, с крестиком и лопатой на плече. Когда зарыли девочку в землю, Семен Агафонович, опершись на лопату, сказал:

– Ну вот, Калерия, Вася и Лидочка при месте... и нам тут лежать. – В бороде его дрожала слеза. Он был скуп на слезу и щедр на тихую ласку. Ни разу в жизни он не ударил никого из детей, ни разу не обматерился, а меня звал ласково – варнаком...

Поминок по девочке не было. Ничего не было. Даже хлеба на ужин не осталось.

Карточка-то хлебная одна на двоих. Как легла жена с дочкой в больницу – карточки у нее забрали...

Сварили картошек, круто посолили, молча съели. Легли спать. Жена в темноте мокро шмыгала носом, но не шевелилась, думала, что я сплю. Утром мне на работу, на тяжелую. Но нос-то у нее каков! Он уж шмыгнет так шмыгнет!

– Ты помнишь, я тебе рассказывал, как убил человека.

– То на войне. Фашиста. Не ты его, так он бы тебя...

– Какая хитрая! Какая ловкая мораль! Тыщи лет не стареет! «Не ты его, так он тебя...» А получается что?

– Лидочку мама твоя позвала... Ей там одиноко... много лет одиноко...

– Да-а, примета есть: нельзя называть ребенка именем погибшего. Они начнут искать друг друга.

– Вот и нашли...

Мимо нашей избушки загрохотал состав, протяжно и свирепо рывкнул электровоз. Избушка зашаталась, зашевелилась бревнами. С потолка в щели посыпалась земля, из старой печи, щелкая в плиту, выпадали крошки кирпичей и запекшейся глины.

Ох уж эта печка! Спасительница и погубительница наша.

– Господи, Господи! Мы и молиться-то не умеем. Прости Ты нас, родителей...

– Говенных!

– Зачем ты так? Мы-то разве виноваты?

– Виноваты не виноваты. Все виноваты! – не щадил я свою половину. – Татарин-сосед что говорит: «Сила нет, так не брался бы».

– Он это про похабное говорит.

– А мы вот все про святое. Зачем спастись на войне? Рожать детей? Зачем жить все время на краю? Все время в обвале, нищете, голоде, страхе? Зачем?

– Не знаю. Живет и живет человек. А зачем? Спроси его – и ответить не всякий сможет. Вот наша семья... все боролась за выживание, надрывались в работе... и почти незаметно истребились...

– Истребили ее. Израсходовали, как сырье, как руду. Обогащение материала – так, кажется, тут у вас это называется!..

– Кабы обогащение. Кабы обогащение... Дети бы не умирали...

– Родители – слабаки. Вон у вас девятеро выросли, ни один не пал.

– Каких это усилий стоило папе и маме!.. Я только теперь поняла. Они крепкие были, а ты изранен. Я тоже вроде бы как контуженая. Спи...

– И ты успокойся и спи. И мне дай покой.

– Не будет нам с тобой отныне покоя... не даст нам покоя эта святая малютка. – Голос жены снова дрогнул, и вот-вот заширкает паровая лесопилка, зашмыгает этот знатный нос, втягивая слезы.

– Кончай давай! Ты видела, что делается на кладбище? Оно ведь при нас начато, и ему уже нет конца и края. Это в таком-то городишке... а взять по стране...

– Да-а, падает народ. Война ли подчистку делает, как папа говорит, последние травинки в вороха сгребает. Так он крестьянином и остался – все сравнения у него земные.

– Не народ падает. Падают остатки народа. Съели народ, истребили, извели. Остались такие вот соплееды, как мы с тобой.

– Кабы... соплееды... – Опустошенная горем, ослабелая от слез, жена засыпала, все ближе подвигаясь ко мне. Я ее обнял, придавил к себе. – Ты хоть... – Она не договорила, но я понял не первое ее предупреждение: мол, хоть на людях лишку не болтай, а то заметут такого дурака, сгребут с остатками народа в яму...

Астафьев Виктор Петрович Весёлый солдат [astafevvictor.ru](http://astafevvictor.ru)  
О том, что я очерствел, жена уже не говорила мне больше никогда.

\* \* \*

После похорон девочки напало на меня какое-то тихое беспогодье: мне ничего не хотелось, разве что спать, все время спать.

Встряхнула было поездка ко крестным, где главный распорядитель дома, крестная, накрыла стол. Мы за ним попели и поплакали. Крестный проникся ко мне дружеством и подарил ружье, много лет уже бездействующее. Крестная подарила два ведра, одно из которых наполнила мукой, вилки, ложки, кружки, чашки эмалированные – в другое ведро.

Жена соорудила на кухне над столом посудник. У нас и на кухне сделалось приветливо. Я начал помогать Семену Агафоновичу на покосе, и когда наступила осень, со страхом и сомнением папаша дозволил мне сплавить сено. Я уговорил его не вмешиваться в мои действия, исполнять мои команды, не перечить ни в чем, убеждал, что река умнее нас, сама несет куда надо. И когда сплавил сено, сам ни разу не забредши в воду и его не намочив, он настолько был ошеломлен, что не поверил в происшедшее. Иван Абрамович и все вокруг, считавшие меня шалопутным, заявили, что нынче вода большая. Но следующей осенью я помог сплавить сено и ему по реке Чусовой, где воды было еще столько, что сама она несла и принесла плоты с сеном домой.

Папаша, Семен Агафонович, начал хвалить меня на всю округу, звал спецом по сплаву и, выпивши, все повторял: «Не-э, я ноне с зятем, с варнаком-то этим, токо с ним сплавлияться буду...»

На сенокос и на сплав я отправлялся с большой охотой, а вот от рытья могил устранился, перестал вообще ходить на кладбище.

А между тем на нас надвигались новые события – родился ребенок, снова дочь.

\* \* \*

Вскоре после смерти первой и рождения второй дочери произошло мимоходное происшествие. Так уж в нем, в этом шатком доме, повелось: кто раньше приходил с работы, тот и печку затоплял, намывал картошек, ставил их варить, чайник старый, железнодорожный, машинисты коим пользовались, тоже водружался на печку. Паровозы сменились электровозами, машинисты, лишившись топки, не кипятили больше чай в дороге, вот кто-то из старых дружков и подарил историческую посудину папаше, он передал ее нам. В чайнике том медном не вдруг закипала вода – предназначен-то он для бушующей угольной топки паровоза, но уж накалившись, чайник в недрах своих долго сохранял подходящую температуру.

В тот день бригада завальщиков в литейном цехе досрочно управилась с вагранкой. Плавка ж назначена была на следующую ночь. Я примчался домой и с ходу включился в домашние дела. На стенке пел-надрывался репродуктор – жиденский тенорок любимого в то время певца Александровича душевно изливался: «Скажите, девушки, подружке вашей, что я ночей не сплю». Я подпевал Александровичу и планировал дальнейшие действия: как потеплее станет в хоромине, согреется чайник и закипит картошка, за дочкой сбегая к нашим, уююсь сам и ее отмою. Вот она обрадуется, заковыляет по избе. От седухи, в которой она томилась на дощатой поперечине, у девчушки начали криветь ноги, но ничего, подрастет, бегать начнет, еще такой ли вострухой сделается, так ли стриганет за кавалерами! Может, и они за ней. «Что не-ежной страстью я к ней давно пылаю!» – орал я.

Избушка наша была уж тем хороша, что жильё отдельное, здесь можно допоздна не ложиться, читать, петь, начинаться, ковры рисовать, стучать, выражаться некультурно, браня самого себя за разные прорухи, что я и делал частенько. Вот только плясать нельзя – развалится халупа, да и не тянуло плясать-то с картошки.

Избушка содрогнулась, крякнула, со стенок посыпалась известка, с потолка в щели заструилась земля, в печке затревожились дрова, метнули искры в трубу, в дырку дверец, на пришитую к полу пластунину жести выпал уголек.

Понятно: под окном тормознул состав. Они, следуя по горнозаводской линии из Соликамска – с минералами, из Кизела – с углем, из Березников – с удобрениями и содой, часто тут тормозили, тяжело скрежетали железом, дико взвизгивали, высекали из металла рельсов синее пламя с белым дымом, выплескивали из-под колес веера крупных искр. Тормозили для того, чтобы по обводной линии миновать тесную, всегда перегруженную станцию Чусовскую, вдернуться изогнутой ниткой состава в ушко железного моста и направиться в Пермь.

Я хлопотал по дому и ухом, привычным к железнодорожным звукам, отмечал, что состав идет нетяжелый, что он не просто затормозил, но вроде бы и остановился. Не переставая мыть картоху, выглянул в окно, которое от тепла, наполняющего избушку, начало оттаивать меж перекрестьев покосившихся рам, подsunул ногою поближе таз и услышал, как в него закапало из переполненных оконных желобков, изопрелых и треснувших.

Астафьев Виктор Петрович Весёлый солдат [astafevvictor.ru](http://astafevvictor.ru)

Состав наполовину состоял из двухосных теплушек, вторая же его половина сцеплена из платформочек, груженных удобрениями. Хвост поезда загораживали соседская изба и ограда того самого соседа Комелина, на которого мы когда-то с женой вертели дверной ключ. Из двухосных вагонов начали спускаться люди, к ним подошли два солдата с винтовками и сержант с наганом. Сбившись в кучу, вагонные люди о чем-то поговорили с охранниками и, прицепив котелки к поясам, рассыпались в разные стороны.

Что за народ? Заключенные, что ли? Дни и ночи везли их на шахты, рудники и в лесные дали. На полпути не открыли бы, но если б и открыли, никуда б отходить не разрешили. И конвоя с собаками было б дополна, и чин в офицерской шапке, да и не один, повелительно указывал бы рукой туда-сюда.

Пленные! – догадался я, домой возвращаются. Ну что ж – ауфидерзейн, фрицы! Вот вы и побывали в России, посмотрели на нее, насладились русским пейзажем, изучили загадочную русскую землю изнутри, в рудниках иль шахтах. Не скоро вам небось снова захочется сюда, на экскурсию.

В дверь раздался стук, заглушенный обивкой. Заметив в окно человека, свернувшего к задней калитке, думая, что он понимает, что пожить в таком убогом жилище нечем, минует его, направится в дом к нашим, я все же отчего-то желал, чтоб зашел какой-нито немец сюда, к нам, в эту избушку, насладился б зрелищем, окружающим вояк, его уделавших и спесивый фатерлянд на колени поставивших. «Битте!» – весело крикнул я. Дверь дернулась раз, другой, нехотя отворилась. Внутрь метнулся клуб морозного пара. На пороге, сутулясь, остановился крупный мужик, одетый в многослойное тряпье, заношенное, грязное, украшенное заплатами. В одежде едва уже угадывалось военное обмундирование. Спецовка с короткими рукавами лепилась по туловищу, вся одежда какая-то легкая, вроде бы случайная, на свалке подобранная. Но на голове гостя глубоко сидела пилотка, еще та, фронтовая, с саморучно подшитыми наушниками из меха, скорее всего кошачьего. В таких пилотках Кукрыниксы и прочие резвые карикатуристы смешно изображали врагов.

Немец, увидев меня в гимнастерке, замер на пороге. Сзади на него надвигалась дверь, наша тяжелая и каверзная дверь. Внутренне ликуя, я ждал, как она сейчас шибанет фрица по жопе, он окажется прямо передо мной и увидит, что на мне не просто гимнастерка, заношенная и грязная, но на гимнастерке еще и дырки от наград. Во будет потеха! Во обхезается гость нежданный!

Ему и поддало. И он оказался передо мной и все, что надо и не надо, увидел. Глаза его, в багровых отеках с красными прожилками, выпучились еще больше, рот, обметанный толстой медной щетиной, открылся. И так вот мы постояли друг против друга какое-то время, и, однако ж, я попробовал по-настоящему насладиться торжеством победителя. Но чего уж тут и чем наслаждаться-то – передо мной был в полном смысле поверженный враг.

– Битте! – повторил я и еще добавил: – Зер гут.

– Гут, гут, – торопливо и согласно закивал головой военнопленный.

– Что ты хочешь? Чего тебе надо? – по-русски спросил я гостя.

И он, быстро отцепив от пояса котелок, протянул его мне:

– Вассер! Вассер! Вбода! Вбода! – а сам косился на разбушевавшуюся плиту, на которой, полная картошки, кипела, выплескиваясь, шипела, пузырилась, брызгалась наша знатная, из праха восставшая кастрюля.

Чайник начинал пока еще тонко, но уже нежно запевать медным начищенным носком. Скоро он даст так даст, запоет так уж запоет – куда тому Александровичу Михаилу!

Тепло и уютно делалось в нашей избушке. Она приветливо мерцала огоньками в дырки плиты, будто светофорами на станции перемигивалась, разрешая движение во все стороны света. И в лад разбушевавшейся печке, веселящейся кастрюле, подпрыгивающему чайнику во мне воскресло с детства дорогое: «На рыбалке, у реки, кто-то тырнул сапоги. Я не тырил, я не брал, а на ва-са-ре стоял».

– Ладно. Вассер. Знаю я, знаю солдатскую тонкость: «Дай водички, хозяйшка, а то так жрать хочется, аж ночевать негде».

Немец не понял моего юмора. Я подцепил ногой табуретку, пододвинул ее к дверце плиты и жестом пригласил гостя садиться. Он без церемоний подсел к печке, на короточки – так ему было привычней, и протянул руки к дверце.

– У тебя есть время? – спросил я, и гость закивал головой:

– Я, я! Мост. Ремонт. Профилактик, герр саржант говорил, айн час. Сцельый час.

Русская речь давалась гостю трудно, но чтобы приспособиться и выжить, он все же многого достиг, рассудил я, и еще рассудил, что диспетчеру станции Чусовская товарищу Кудинову, а то и самому начальнику станции товарищу Чудинову за несогласованность в действиях с путейцами, за задержку поездов по важному направлению с интенсивным движением, как говорится в сводках, докладах и рапортах, крепко нагорит, могут премии лишиться иль того крепче – с должности

Астафьев Виктор Петрович Весёлый солдат [astafevvictor.ru](http://astafevvictor.ru)  
слетят, в слесаря депо. Там вечно не хватает черных работяг.  
Размышляя на производственные темы, я шнырял мимо гостя, налаживал на стол. Отлил в таз под умывальником горячую воду из картошки, размельчил бутылкой соль на столе, разрезал луковицу, поделил пополам остатки хлеба и половину его, для жены и дочери, засунул под старый чугунок, опрокинутый на столе, да еще и кирпичом сверху придавил.

– Крыса, – пояснил я гостю, – крыса, зверина, не дает нам жизни.

– О-о, крыс, – закивал головой гость, – много-много лагерем крыс, много-много рудник. Хищник... – сказал он и почувствовал себя если не ближе, то уверенней в этом доме.

– Ну, как тебя там? – оглядев накрытый стол, спросил я. – Фриц? Курт? Ганс? – Больше я никаких немецких имен не помнил.

– Я есть Иоганн, – попробовал улыбнуться гость. – Иоганн Штраус, знает вы?

– Знаю, знаю. Большой вальс, грасс вальс – «нарай-нарай, там-там, там-там», – запел я, и Иоганн снова через силу попробовал улыбнуться и, подвигаясь к столу, по моему знаку заключил:

– Вы есть весь-олий зольдатен.

– Веселый, веселый, – подтвердил я и вспомнил, что девчушка-то моя ждет там, у наших, когда ее заберут, и какого хера, зачем я ломаю эту комедь? Чтоб упиться собственным благородством, доказать Европе, что наш, советский, гуманизм – передовой, а мы – самые душевные люди на свете. Так мы уж это доказали немцам – ростовский капитан наглядно тот гуманизм в Германии продемонстрировал. Был я и остался придурком, лучшим в мире придурком – советским, это уж точно, и этого у меня не отнять.

Мы ели картошку молча. Иоганн брал со стола не складывающимися в щепотку, вздутыми в суставах пальцами соль и посыпал картошку и дул на ту картоху, дул, обхватывал рассыпчатую плоть ее потрескавшимися, обветренными губами. Я тоже дул, но губы мне меньше жгло, и, по деревенской еще привычке сыпанув перед собой на стол щепотку соли, я макал в нее облупленную картофелину. Дела у меня шли проворней и ловчее.

Я набрал в щепотку соли и почти сердито сыпанул ее перед гостем.

– Ешь. Так ешь. Стол чистый.

– По-русску ешь! – сказал гость, макнул картошку в соль, возвел лицо к потолку, затрясся головой и весь затрясся, всем туловищем, всем тряпьем, даже полублезлой крупной головой затряс. Большой, неуклюжий в тряпье, неуклюже, по-мужицки и плакал он, роняя в серую соль прозрачные слезы, простуженно выкашливая в горсть разжеванную картошку и соль, пытался выговорить: – Что... что мы наделали? Я, я ест фашист, слюга Гитлер, слюга фатерлянд... Пес... пес... – поправился он.

– Да ладно, хули теперь каяться, скулить, рубай знай картошку. Дай тебе Бог до дому добраться и в живых свою семью застать. Англичане, читал я и слышал по радио, всю Германию с говном смешали. Народу тьму с воздуха истребили. Тоже вот в Бога веруют, кресту поклоняются.

– Бог отвернулся от людей, отвернулся, – утираясь тряпкой, вынутой из недр лоскутья, потупился Иоганн и, поднявшись с табуретки, начал мне кланяться и, как дочь моя, без первой буквы говорить: – Пасибо! Большо, грасс пасибо.

Я взял у него котелок и высыпал в него из кастрюли остатки вареных картошек, подумал-подумал, махнул рукой и, изматерившись от злости на себя, вынул из-под чугунка кусок хлеба и ополовинил его.

– Не надо, не надо! – слабо протестовал Иоганн. – Фрау, киндер... я понимаю. Последний кусок. Брот, брот... – И снова начал клохтать, что курица, заглатывая рыдания, и пятился, пятился спиной к двери, толкал, толкал ее задом, пока наконец не отворил.

Еще бы немножко, и я вытолкал бы его, но дверь наша, «самозакрывающаяся», вошла в притвор и тихо прошептала: мудило ты! И я вслух добавил: «С мыльного склада!» – и принялся намывать картошек для нового варева. Вспомнил вдруг, что еще не переоделся, не умылся и за девкой не сходил. Придет с работы жена, я ей расскажу о своем благородном поступке, и она вздохнет тихо и кротко, обнаружив, что я и ее половину пайки отдал, вздохнет еще протяжней, громче и, может, скажет: «До чего же ты у меня жалостливый!..»

А радио на стене все пело, все заливалось голосом Александровича: «Тиритомба! Тиритомба! Тиритомба, песню пой, ое-е-ей».

Кастрюля вновь закипела, запузырилась, заплевалась через край. Я накинул шинель и пошел за дочкой.

Состав еще стоял против окон. В раскрытых дверях, свесив ноги, тесно сидели пленные и что-то ели из котелков. Не один я такой жалостливый жил в здешней местности. В России любили и любят обездоленных, сирых, арестантиков, пленных, бродяжих людей, не дает голодная, измученная родина моя пропасть и



Астафьев Виктор Петрович Весёлый солдат [astafevvictor.ru](http://astafevvictor.ru)  
военнопленным, последний кусок им отдаст. Вот еще бы научиться ей, Родине-то  
моей, и народу, ее населяющему, себя жалеть и любить.

Мне показалось, что из вагона, стоящего против нашей избушки, кто-то мне  
помахал, и я, разом на что-то озлясь, сквозь стиснутые зубы выдавил:

– Да поезжайте вы, поезжайте вы все отсюда поскорее.

Когда я тащил завернутую в старую шаль дочку, она, в папу нервная и чутливая,  
уже каким-то наитием научившаяся угадывать мое настроение, не тараторила, не  
рассыпалась стеклянными бусами смеха. Она крепко держалась за мою шею, горячо  
дышала мне в ухо.

Состава на путях уже не было. Уехали немцы. Домой уехали. Горя на земле убыло...

\* \* \*

Спустя год после рождения дочери появился у нас сын. Если дочь была, что  
обезьянка, резва и хулиганиста не по возрасту, то сын рос худеньким, плаксивым,  
тихим.

Когда он рождался, на этот раз в родильном доме железнодорожной больницы, я  
сохранял это дело в тайне, прежде всего в школе: молодой еще, за партой сижу, а  
уже отец-героиня!

Ребята и девчонки в нашем классе были в большинстве вчерашние школьники,  
поступившие на работу или не желающие учиться в нормальной, дневной, школе  
оттого, что там «строже». Ко мне они относились как к дядьке – почтительно и в  
то же время насмешливо. Помогали мне с физикой, математикой, геометрией и  
прочими тонкими науками, я же их выручал по гуманитарным предметам, давал  
списывать диктанты. Хотя я и кончил шесть классов черт-те когда и многое забыл,  
но вчерашние школьники, беспечные и беззаботные, знали литературу, историю,  
географию хуже меня, продолжавшего запойно читать книги. Самый веселый урок у  
нас был анатомия: добрые молодцы, в основном семнадцатилетнего возраста,  
приносили в класс «шкелет», как они называли наглядное пособие, устанавливали  
его возле доски то в хулиганской, то в сексуальной позе, и хотя слово это в те  
годы было неизвестно, девчонки все равно догадывались, «об чем это», и которые  
хихикали, которые плевались, но все ждали учительку, как она-то отреагирует.  
Попалась нам учителька строгая, обстоятельная. Она молча ставила «шкелет» в  
нормальную позу и только после этого произносила: «Здравствуйте, товарищи.  
Начнем урок». Иногда, работавшая еще и в дневной школе, учительница по привычке  
говорила: «Здравствуйте, дети!» – и в классе тоже становилось весело.

«Дети» и я на второй год уже сделались не разлей вода. И хотя учиться и  
работать в горячем цехе мне было все тяжелее, я школу не бросал – она мне была  
добрый отдушиной в этой все более и более мрачнейшей жизни.

Урожай наш – картошку из Архиповки, а это шесть километров от города – мы весь  
переносили на себе по горным козьим тропам: три ведра в рюкзак мне, два ведра –  
бабе. Шли мимо моей школы по шатким деревянным тротуарам. Жена дохаживала  
последние недели, но декретный отпуск не брала, боясь лишиться зарплаты,  
говорила, что заменить ее некому. Едва уж она плелась с грузом. Пытаясь  
взбодрить бойца, я нес что-то высокое про «мою» школу. Спутница заслушалась,  
споткнулась и сорвалась с высоко поднятого, досками, будто клавишами, играющего  
тротуара. Я заторопился снимать с себя мешок, но в это время вниз спрыгнул  
лейтенант с серебряными погонами юстиции и поднял вверх мою жену с мешком.

Тонко, по-щенячьи скуля, жена навалилась грудью на штакетник. Лейтенант  
придавил меня, вконец растерянного, мигом потом покрывшегося, к оградке:

– Как же вы можете заставлять?..

Понял я его, понял: как это я, сознательный советский человек и муж, могу  
заставлять таскать грузы такую маленькую женщину, с таким большим брюхом,  
готовую не сегодня-завтра родить.

Прежде я что сделал бы? Послал бы его на три буквы, как говорят интеллигентно  
себя понимающие дамочки. Но был я уже такой усталый от жизни и от груза,  
навешанного на тощую спину, взмыленную под мешком, что не было сил у меня на  
гнев и ругань. Я начал сердито снимать мешок со спины жены. Она, слабо  
сопротивляясь, бормотала: «Ничего, ничего, я донесу. Как-нибудь донесу». Лейтенант  
помог мне снять с жены мешок и вдруг сраженно воскликнул: «Вы-ы! Так  
это вы!..»

Это был тот самый Радыгин, который ехал с нами в тамбуре соликамского поезда,  
когда мы возвращались с войны. Забросив мешок жены с картошкой за плечо,  
поддерживая ее под руку, он помог нам добраться до дому, до нашего знатного  
флигеля, по дороге рассказав, что очень трудно складывается мирная жизнь. Женат  
тоже, уже двое детей. Живут они в этой самой школе, в кладовке с одним окном. И  
жена у него не кто иная, а та самая учительница, что преподает нам анатомию.  
Пристально оглядев снаружи наши хоромы, затем и изнутри, лейтенант коротко

вздыхнул:

– У нас и такого жилья нет... Надо бы вызвать врача.

– Не надо врача. Ничего не надо, – как всегда в минуты беды или болезни сердитая, мрачно обронила супруга моя, легла на койку в чем была и прикрыла локтем лицо.

Ссыпав картошку в отремонтированное подполье, я поставил на давно отремонтированную печку – вот что значит угореть и чуть не умереть! – восстановленную из праха кастрюлю с овощами, сходил за дочкой к нашим. Она так и гнила в седухе, сделанной из дупла, играла кружкой и ложкой. Иногда в седухе и засыпала. Теща затяжно болела. Тесть летом на покосе, зимой во дворе колотится, им не до нашей девчонки. Да и устали они от своих детей, от внуков, от своей жизни, очень сердились на меня и на дочь за то, что затеялся у нас второй ребенок, потому как и с одним не управляемся.

Увидев меня, дочка запрыгала в седухе, протянула ко мне руки, залепетала: «Папа! Папа!» – и смолкла, не увидев встречной улыбки. Она была мокрая и грязная, преданно обняла руками в ниточках мою шею, дышала в ухо и не иначе как утешая меня вдруг сказала шепотом: «Слушай, папа».

Вода не успела нагреться. Я подмывал девочку почти под холодным умывальником. Изнеженная нами, как говорила теща, девчонка захныкала, начала вывертываться из моих рук, и в беспамятстве, не иначе – контуженый же! – я звонко ударил ее по мокрой заднице.

– Лучше меня бей. Ребенок-то при чем? – раздалось из-за перегородки.

У дочки было прелестное платьишко из разноцветной ткани, принесенной женой с работы. Когда эта пигалица была совсем маленькая, все тянула подол платьишка в рот, принимая нарисованные цветочки за живые. В платьишке чистом, сухом, не помнящая обид, не знающая горя, она уже сидела у меня на коленях и, сглатывая слюнки, ждала, когда я облуплю для нее картошку; сложив губы трубочкой, дула и дула на нее. Любящая посмеяться, пошалить, порезвиться, поиграть со мною – маме все некогда, – лишь под мои песни засыпающая, а пел я ей все, что помнил, начиная с «Гоп со смыком» и кончая «Вставай, страна огромная, вставай на смертный бой», девчонка в этот раз уgomонилась послушно, разметалась крепким телишком и чему-то во сне улыбалась, катая по румяным щекам – в маму удалась! – радостные ямочки.

«Во какая у нас картошка питательная! – мрачно отметил я, любясь здоровым, жизнерадостным дитем. – У иных родителей с пряников дети хилобрюхи». Я так долго сидел и смотрел на дочку, что голова моя сама собой легла на брусок детской зыбки.

– Ступай ложись, – тронула меня за плечо жена в глухой уже час.

Утром она, хоть и медленно, бродила по кухне, делала домашние дела и, провожая меня на работу, мрачно молвила, что все в порядке. А мы еще хотели, чтоб после этого всего и второй ребенок родился жизнерадостный и здоровый. Но так бывает лишь в советских песнях и на плакатах.

Родился сын в марте, в хороший солнечный день. Привезли его с матерью в кошевке председателя артели «Трудовик» и на развороте к дому чуть было не выронили в снег.

Дочка топала ногой, кричала «анадо!», оттаскивала с колен матери новорожденного, как обезьянка, залезала с кровати в качалку и пыталась освободить ее от непрошеного постояльца. И смех и грех.

Я начал овладевать живописным искусством. Принес три краски из депо и ловчился на мешковинах и клеенках ладить «ковры». Удался мне лишь один, волнующий мое сердце, сюжет – на мотив с детства любимой песни «Сидел рыбак веселый на берегу реки». Лебеди, олени, пасущиеся на зеленом лугу, и прочая тварь моей кисти не давались, и вообще ковров на базаре красовалось много.

В воскресенье уволокло мою жену вместе с ребятишками к нашим иль в детскую консультацию. Я сидел возле кухонного стола и в квадратных баночках из-под американских консервов размешивал в олифе краски, корочку с которых ночами съедала зловредная крыса, – и внезапно увидел, как вдоль железнодорожной линии, перед самым окном, веселой гурьбой куда-то следуют мои одноклассники, неся за синюю ленточку нарядную картонную коробку.

«Куда это братва наша подалась?» – и вдруг заметил, что парни и девки сворачивают к задним воротцам, возле которых и возлежал рылами окон на снегу наш живучий флигель. Не успел я пережить панику, как в дверь настойчиво забухали кулаками, дружно заорали, врываясь внутрь помещения, соученики мои:

– Можно к вам?

И я по глупости растерянно молвил:

– Можно. Только осторожно.

В это время дверь с пыхтеньем вернулась на место и вышибла вперед Люсю Вербицкую, выбранную старостой класса за ум и красоту.

Астафьев Виктор Петрович Весёлый солдат astafevvictor.ru

– Ой! – схватилась староста за задницу и громко рассмеялась. Предостережение было своевременным. – Ну, молодой папаша, от имени восьмого «бэ»...

И все вдруг подхватили весело, будто козлята на лужке: «Бе-бе, бе-э!» – и закружили меня в хороводе, целуя в щеки, в нос, в лоб, и вразнобой кричали: «Скрыть хотел! Скрыть!.. Но мы в школе не зря сидели, того дожидались!..», «Обмывать! Обмывать!», «Где мама? Где новорожденный?..».

Они выставили на кухонный стол две бутылки портвейна и, презрительно сдвинув мои художественные краски, водрузили на середину стола торт, вязку сухек, пакет с конфетами! Я пригласил гостей в переднюю. Вваливаясь за перегородку, Вербицкая теребнула занавески:

– Какие милые! – а войдя в комнату, добавила: – И тут очень мило.

– Пировать-то у нас, ребята, не на чем – ни сидений, ни стола.

– А газеты есть? Какие-нибудь старые доски есть?

– Есть, есть! – оживился я.

И через десять минут иль через пятнадцать ребята, на двух наших табуретках поместив железнодорожную, дырявую от болтов доску, вытерли ее тряпкой, на пол постелили газеты, расставили чашки-кружки, два стакана, углядели на умывальнике стеклянную банку из-под консервов, вытряхнули из нее зубные щетки и наполнили посуду портвейном.

Парни сидели на полу, и я, молодой папа-героиня, – среди них, девчонки на кровати, староста – посерединке. Польского происхождения, уже в юности выглядевшая настоящей пани, в бордовом вышитом платье, она величаво и вельможно гляделась в нашей убогой обители.

– Люська! Речь говори! – потребовал народ.

Вербицкая не жеманясь встала, заодно и высоко подняла стакан:

– Ой, как я рада! Ой, все мы как рады! – И, видно вспомнив, что она все же не хухры-мухры, все же староста класса, уже строго, совзрослым достоинством продолжила: – За мирную жизнь на земле! За ее воплощение в живом виде! За счастье ребенка, мужика! За всех за нас! Вот им! Вот им, фашистам этим! – показала она фигушку в перекошенное сикось-накось окошко.

И все вдруг заорали «ур-ра-а-а!», выпили до дна и, пользуясь случаем, начали целовать девчонок. «Только не кусаться!» – предупредила староста.

Меня тоже целовали – и девчонки, и парни. Я что-то пытался сказать, но не сказывалось ничего, першило в горле, должно быть, от вина. Я отвернулся к окну, чтобы смахнуть рукавом слезы. Гости было примолкли, но потом зашумелись. Парни в кухню утянулись – «покурить». Вербицкая за занавеской скрылась. В кухне шуршали деньги и талоны. Парням понравилась наша игровитая дверь, и скоро под задницу шибануло и забросило в переднюю двух парней с бутылками портвейна, прижатыми к груди.

«Ур-ра-а-а!» – опять закричали гости. И пошли речи внеплановые, уже и я осилился, траванул какую-то складную хреновину. Все хохотали, в ладоши хлопали.

Когда жена моя с детишками приблизилась к нашему жилищу, в нем уже так ревела буря и дождь такой шумел, что труба над избушкой шаталась, потолок вверх вздымался.

«Ур-ра-а-а!» – снова заорали гости, отнимая детей у женщины и передавая новорожденного. А девица моя бойкая оробела от многолюдства, но скоро от папы передавшееся чувство коллективизма и в ней взяло верх, и она уже ерзала у меня на ноге, смеялась вместе со взрослыми. Когда я дал ей конфетку с цветочной оберткой, она потащила ее в рот вместе с бумажкой. Я развернул конфетку, она спросила: «Се?» Я дал ей лизнуть конфету, и она сожмурилась: «Сла-адко!»

Жена моя выпила со всеми только глоток вина, сказала, что кормит ребенка, подержалась за голову и улыбнулась гостям:

– Какие же вы молодцы! Спасибо вам за доброту и ласку... А я думаю, с кем мой благоверный грамоте учится? А он вон каких хороших людей выбрал, вон в какую добрую школу попал... Дай вам Бог всем здоровья, дай вам Бог всем счастья...

Долго, очень долго мы провожали гостей, целовались у порога, хлопали друг дружку, плясать пытались, и я опасался насчет западни, не свалились бы гости в подполье, но староста хмельно прикрикнула: «Ребенок спит», – плясать пришлось во дворе, меж подтаявших сугробов снега.

Они ушли обнявшись, и вдоль линии по железнодорожной улице в ночи разносилось: «По муромской дорожке стояли три сосны-ы...»

Жена моя, когда мы улеглись спать, гладила меня по голове:

– У нас все будет хорошо, все будет хорошо.

Но не может быть хорошо, тем паче все, когда кругом все так плохо.

\* \* \*

Начали продавать коммерческий хлеб и выдавать по карточкам сахар и масло без замены какими-то диковинными конфетами иль желтым жиром, не иначе как собачьим,

масла – селедкой.

И в это время во всю мощь заявила о себе тварь, сопутствующая людским бедам, – крыса. Она прежде грызла картошку в подполье, шуршала под половицами, являлась лишь ночами, забиралась на стол и царапала, грызла столешницу, норовя влезть под чугунок и овладеть хлебной пайкой, брэнчала баночками с краской, по занавеске иль по выступам бревен взнималась в посудник, застигнутая врасплох, рушилась оттуда комом, гулко ударялась об пол и мгновенно исчезала в ближней дыре под полом. Дыр в нашем жилище доволна, жилые углы промерзали, мы их затыкали, чем могли, крыса прогрызла затычки; и груди простудила, мастит получила, оставив детей без материнского молока, моя супруга не без помощи этой твари.

Но вот пришла пора, и шмара, как я называл крысу, живущую в нашей избушке, обзавелась хахалем, не может шмара без хахалья, и пошла разгульная жизнь под полом, выплескиваясь и наружу. Возня под половицами, визг, драки, дележ имущества иль выяснение отношений, завоевание жизненного пространства!

Хахаль нам угодил пролетарского посева, из бараков пришел, не иначе, с детства, видать, привык он к содому, дракам и разгульной жизни. Ходил на сторону, иногда сутками пропадал и от блудного переутомления потерял бдительность. Я шел из дровяника с беремнем дров, а хахаль не спеша брел с поблядок и уж достиг было сенок, хотел поднырнуть под дверцу, как я обрушил на него дрова и оконтуженного втоптал в снег.

Шмара, лишившись мужа, совсем осатанела и в мое отсутствие – мужиков она все же побаивалась – что хотела, то и делала. Разгуливала по избушке, взбиралась к тазу под умывальником, на стол махом взлетала, все чугунок ей не давал покоя, и жена говорила – однажды застала ее в детской качалке, откуда она выметнулась темной молнией и злобно взвизгнула.

Возвращаясь ночью из школы, я услышал человеческий визг в избушке, и когда влетел в нее, увидел жену, сидящую с поднятыми ногами на кровати, к груди она прижимала ребенка. Обе мои женщины ревели и визжали – жена от страха, дочка оттого, что мама ревет. Никакие ловушки, мною употребляемые, шмару взять не могли, она каким-то образом спускала капкан – плаху, излаженную вроде слопца, съедала наживку и надменно жила дальше, отраву, взятую с колбасного завода, умная тварь игнорировала. Но как бы ни была тварь умна и коварна, все же человек – тварь еще более умная и коварная.

Я отослал жену с ребенком ночевать в родительский дом, поставил консервную банку к стене, в нее опустил хлебную корку, чуть раздвинул занавеску на переборке и сел на кровать, упрятав заряженное ружье под одеяло. Свет на кухне мы уже давно не выключали из-за крысы. И вот явилась она, обозначилась привычными звуками, взбираясь на стол, царапала ножки острыми когтями, оттуда – на подоконник, зазвякали баночки, – и к чугунку. Ах уж этот чугунок! Но о чем думала крыса, как проклинала она чугунолитейную промышленность, зная нам не дано, и со стола заметила на полу консервную банку. Всякий изредка возникающий в жилище предмет шмара немедленно обследовала, пробовала на нюх, на зуб, испытывала когтями.

Я разбил ее дробью так, что выплеснулось на стену. Я отскоблил пол и подтесал топориком бревно, но в полусгнившем дереве все зияла отметина со впившейся в нее дробью.

– Живите теперь спокойно, – сказал я жене утром.

– О-ох, не к добру все это, не к добру. И покой нам только снится, вычитала я в одной книжке.

\* \* \*

Н-нда, вещей язык у моей половины, вещей! Беда надвигалась на нас совсем не с той стороны, откуда мы ее могли ждать. На очередном медосмотре зацепили меня врачи и отправили на рентген. У меня открылся туберкулез, предпосылки к которому были всегда, предупреждали еще в госпитале врачи, да давно забыл я и про госпиталь, и про врачей всяких. Меня немедленно уволили из горячего цеха и сделали вид в вагонном депо, что работы, кроме как учеником плотника с окладом двести пятьдесят рублей, двадцать пять по новому курсу, для меня никакой нету. Похорукий детдомовец, отпетая пролетарья, я с месяц поучился на плотника, бил чаще не по гвоздю, а по плотнику и стал назначаться на вспомогательные работы: убирать мусор, выскрести краски, мыть шваброй полы в душевой. Однажды, работая в колесном парке с таким же умельцем, как я, заправил подъемник под колесную пару, напарник мой без команды нажал на кран воздухоудовки и раздавил мне до кости палец.

Меня какое-то время продержали на больничном. Я поднажал в школе, меня пообещали перевести в девятый класс, там уж и до десятого рукой подать, а с десятилеткой я – ого-го-го, хоть куда. Днями я сидел дома с ребяташками, и

Астафьев Виктор Петрович Весёлый солдат [astafevvictor.ru](http://astafevvictor.ru)

однажды постучали в дверь и вошли люди конторского вида. Двое. Они внимательно осмотрели избушку, меня с завязанной рукой, ребятишек и, потупившись, сказали, что нам необходимо выселиться.

– Куда? – спросил я.

Конторские люди объявили, что не знают куда, но от железнодорожной трубы будет прокладываться канава для укладки городских сточных канализационных труб и канава та, по плановому чертежу, проходит аккуратно по нашему флигелю, который давно уже ни в каких реестрах и прочих деловых документах не числится. В центре города начинается возведение новых домов, поэтому и стоки всякие упорядочиваются, начинается снос окрестных домов, люди, живущие в них, по закону получают квартиры, но коль мы вне закона, нам ничего не светит в смысле жилья.

– Но солнце и нам светит, солнце на всех одно, – мрачно пошутил я, и строгие люди подтвердили насчет солнца, что, мол, да, солнце на всех одно, и с этим удалились.

Экскаваторами тогда еще мало баловались, пришла бригада рабочих и начала копать лопатами землю от железнодорожной трубы. Правда, трубы под полотном уже давно не было. Вместо нее налажен короткий тоннельчик из тесаного камня, и у того тоннельчика даже и кокетливый ободок из серенького мрамора или полированного камня сооружен.

Рассыпавшийся по косогорам окраинами городишко все ширился. За линией возникли два жилых трехэтажных дома, неуклюже-кряжистых, без балконов и всяких там разных излишеств, – много народу они вобрали в себя, – внизу одного дома-баржи разместился колбасный завод, и вывел он трубу к железнодорожному стоку. Бушевала тут веснами стихия так, что горловина под полотном переполнялась, тогда несли поток через рельсы.

Огород тестя не раз размывало, когда и уносило дурновешней стихией веснами; летом, случалось, ливнями и гряды с овощью опрокидывало, разбрасывало. Как-то в предвоенные годы всю землю с огорода унесло – хорошо, был у Семена Агафоновича бесплатный железнодорожный билет, и он с девчонками, Клавдией и Марией, съездил на родину, закупил продуктов. В Зуевке, на Вятке, они были дешевле, чем в индустриальном крае. Не пропало с голоду в тот год большое семейство, но крепко поумнело. Ребята насадили вдоль задней ограды тополей, в угол огорода, в тот, что выходил к канаве, натаскали из лесу черемух, рябин, березу, даже осина одна попалась, смородинник, бузина, таволожник объявились здесь сами собой – и получилось в отдаленном углу что-то вроде сада. И тот сад да тополя немножко защищали огород от размыва, но вот пришли из Горзеленстроя люди с ножницами и так обкорнали тополя, что те лишь жидкие прутья из пней вымучивали, два или три дерева вовсе засохли.

И вот явились работяги, нанятые горкомхозом. Копают. Податливо. До ограды дошли, свалили. Папаша бунтарски себя ведет, не идет ограду поднимать и не замечает, что по саду бродят козы, даже корова чья-то пестрая затесалась, жрет прошлогодний бурьян, козы кусты жуют и кору на деревьях гложут.

Вот и до флигеля землекопы добрались, подкопали его с уличной стороны, две половицы на волю потекли. Я на койке сижу, с детьми играю. Жена рыщет, квартиру ищет, тесть с тещей всех знакомых обошли, нигде нас с детьми не пускают или требуют такие деньги, за которые можно свой дом купить.

– Поговорить надо, – сказал мне бригадир землекопов.

– Об чем?

– Об чем, об чем? Мы ж хоромы твои подкопаем, завалится халупа, тебя с ребятишками задавит на хер.

– Ну и пуцай задавливает.

Бригадир привел милиционера. И тот с порога пошел на повышенных тонах:

– Ты почему не выселяешься? Почему волюнку разводишь? И-эшь какой! Видали мы таких. Я наряд приведу, вышвырнем тебя без церемоний.

Я узнал его. Это был тот самый сержант Глушков, что спал беспросыпно под военкоматской скамейкой. На нем шинель сохранилась, только петлички были спороты, заношенное обмундирование, ишорканные на щиколотках до белесых дыр, рваньем означенные сапоги. Лишь картуз новый, милицейский, как-то вроде бы случайно и счужа повисал до ушей на его куцей голове.

В военкомате он, пьяный, спал под скамейкой до тех пор, пока его за ногу на свет не вытащили и сказали, чтоб он следовал в милицию. «Зачем? Что я наделал?» – ошарашенно вытаращил белесые глаза заспанный сержант. «Набор, дура». – «А-а, набор, тады ладно, тады я готов». И в милиции всегда был пьян или уж от природы гляделся пьяным, говорил утробно, непонятно, как бы не договаривая слова, но матерился и командовал разборчиво. Жил он через четыре от нас дома в пятом, подживившись на детной вдове, но ни с кем соседства не водил, никого из близлежащих домов не знал и не помнил.

Прошлой весной Семен Агафонович с моей супругой посадили картошку на свояком,

Астафьев Виктор Петрович Весёлый солдат [astafevvictor.ru](http://astafevvictor.ru)

Иваном Абрамовичем, отведенном участке и, чтоб коровы не вытоптали посадки – это уже случилось не раз, – загоразживали землю жердями, зимой еще заготовленными на Чусовой и приплавленными после ледохода к месту назначения. Жена, хоть и в положении, таскала из-под горы жерди, папаша городил городьбу, парнишки Ивана Абрамовича играли на поляне, старший прямил гвозди на камне и подавал деду из речки размоченные таловые и черемуховые перевязи.

Дело двигалось к концу, день клонился к вечеру, когда налетел на старика конный милиционер, едва державшийся в седле, и приказал разгоразживать огород.

– Дак эть объехать-то на коне – всего ничего, – тихо сказал Семен Агафонович.

– Я кому сказал, растак тебя и этак! – заорал милиционер. – Пр-приказываю! – и вытащил из кобуры черный пистолет «ТТ».

Это был Глушков. Он ездил на сплавной участок кого-то усмирять. Усмирил не усмирил, но набрался до бровей и впал вот в пьяный кураж.

– Разгоразживай, папа, – попросила помощница, и старик разбросал жерди в сторону.

Всадник аллюром промчался по посаженной картошке до второго прясла и заорал, пальнув в воздух:

– А эту преграду хто убирать будет?!

Убрал старик и второе прясло. И долго стоял опустив голову.

– Мокрая от пота рубаха провисла меж лопаток, – рассказывала мне жена, – он весь сник, ослабел. Я подошла, погладила папу по плечу, думала, он заплачет, но он лишь попросил старшего парнишку, внука своего, свернуть ему сигарку и, проморгавшись от первой густой затяжки, молвил: «Хорошо, что того варнака, – меня, значит, – тутотка нет, смертоубийство бы получилось». И на обратном пути наказал: «Ты уж ему не сказывай ничего...»

Но велико было унижение и без того униженных людей, жена не удержалась, рассказала мне о происшествии на огороде. «Ну, падла, встретишься ты мне на узкой дорожке!» – взъярился я, и хотя, оставшись живым, дал себе после кровавого фронта на госпитальной койке слово или клятву не поднимать ни на кого больше руку и кровь никакую не проливать, для Глушкова сделал бы исключение.

И вот она, узкая дорожка, вот оно, перекрестье, на котором нам, кажется, не разойтись.

Я поманил милиционера Глушкова пальцем в комнату и показал на ружье, висящее над кроватью.

– В патронташе, – сохраняя напряженное спокойствие, сказал я, – двадцать патронов. Все они будут ваши. Тебя, в порядке исключения, уложу первым. Я давно это обязан был сделать.

– Чего-чего? Да ты...

Еще мгновение – и я бы взорвался: звон в голове разламывал череп, внутри у меня все клокотало, рассудок мой темнел. Бригадир, как оказалось, тоже бывший фронтовик, уловил ситуацию и грудью, брюхом вытеснил в сенки милиционера, что-то бубнившего, пытающегося высказаться, пристращать меня.

\* \* \*

Бригадир попросил меня сварить картошек.

Вечером вся сводная бригада землекопов сидела за кухонным столом в нашей избушке и обмывала первую получку. Из горла тогда не пили ни работяги, ни даже бродяги. Желая гулять обстоятельно, не по-скотски, пить из посуды, работяги расположились на кухне тесно и дружно. Налили мне, я отказался, показавши на грудь – немощен, дескать. Бригадир, выпив водки, «заедал ее», как выразился, холодной водой из ковш. Работяги говорили обо всем и все громче. Большинство оказалось фронтовиками, не обретшими до сих пор приюта, остальные были из тюрем и лагерей. Один фронтовичок после пятого приема начал привязываться ко мне:

– Че-то мне твое лицо навроде знакомо? Мы где видались-то?

– Я месяц назад с каторги бежал, может, там?

– Ты эту мудню брось городить! – начал сердиться работяга. – Я сроду в тюрьмах не бывал...

– Побудешь еще, кто не был – тот побудет, кто был – тот не забудет, гласит народная мудрость, – съязвил бывший зек интеллигентного склада телом и лицом.

– В военкомате, в военкомате я тя видел, ковды на учет становились, – заликовал вдруг работяга.

Конфликт, начавший зарождаться, угас, один из бывших зек без колебаний и лишних слов свалился на пол.

– Пусть тут и спит. Больше ему негде. А вы, ребята, по домам. А ты, – поднявшись с табуретки, сказал бригадир, – на тюрьму не нарывайся. Там и без тебя тесно. Завтра мы подошьем тесом нижние венцы твоей избушки и больше пока подкапываться не будем. Обойдем. И по-стахановски двинем дальше. Но тебе все

Астафьев Виктор Петрович Весёлый солдат [astafevvictor.ru](http://astafevvictor.ru)

равно надо что-то смекать. Канаву из-за тебя не остановят. Хоромина эта подгнила снизу и сверху иструпела, но из нее, если подрубить два-три венца, собрать еще кое-что можно. Вели бабе ставить лагуху браги, я, так и быть, приведу тебе стервятников из бэтэи горсовета, ты их напоишь, они тебе место под застройку отведут. Все! – хлопнул меня по плечу бригадир. – Не раскисай. И не воюй. Наша война кончилась.

– Н-нет, не совсем еще. Я эту тварь в милицейском картузе все равно достану.

– Ну и сгниешь в тюрьме, а ребятишки твои и баба твоя здесь передохнут.

Н-нет, не будет мне покоя, пока эта тварь ползает по земле!..

Но всемилостивейший Господь всегда был моим заступником и спасителем, не оставляет Он меня без догляда до сих пор.

В декабре того же года пошел дождь на мерзлую, снегом убранный землю. И склон Урала оледенел, а улицы и переулки, заулки, бугры и склоны в городишке превратились в катушку. И что меня в такую-то дурнопогодь понесло на рынок – не вспомню. Народу на рынке почти нету, лишь в павильонах, под крышею, где еще местами сохранился тес, маячили неустанные продавцы табака, семечек, краденого барахла и подозрительно розового свиного мяса, со скотомогильника, не иначе, увезенного. По деревянным рядам, свесив ноги, сидели здешние завсегдагаи: картежники, щипачи, наперсточники и просто блатари и воры. К ним вязался, грозил пальцем милиционер Глушков, как всегда пьяный, распоясанный. Должно быть, он в тот день дежурил по рынку и вот устанавливал здесь порядок. Был он при оружии, хватался за кобуру, из которой торчала наружу ручка пистолета «ТТ», того самого, которым страдал он мирнейшего человека, моего тестя, и мою жену.

– Хиляй-хиляй, мусорило, а то докорячишься, мы у тя пистоль отберем и положим тут баиньки, – услышал я, следуя по павильону мимоходом, и никакого значения тому не придал. Город рабочий, буйный, тут и пьют, и бьют друг дружку трудящиеся давно и непрерывно.

Возвращался я с рынка задними, с петель сорванными воротцами, вмерзшими в лед, и вдруг услышал: «Стой! Стой, твою мать. Стой, стрелять буду!..»

Я обернулся – по грязному льду, скользая, бежал, но больше катился парень в распахнутой суконной куртке, с закинувшимся с шеи на спину нарядном кашне. Обут он был в новенькие блестящие сапоги-джимми, должно быть, с необкатанными еще кожаными подметками, и ход по льду у него не получался, скользкого же, его настигал товарищ Глушков, топя милицейскими кованными сапогами, с обнаженным пистолетом, с мерзло сверкающими тюленьими глазами, грозно раззявленным ртом. За задней калиткой стекленел небольшой спуск, по нему-то и катнулся вниз парень и, не сумев пойматься за створку ворот, упал, пробовал взяться, да фасонистые сапоги скользили. И тут настиг беглец Глушков, рыча и матерясь, он засунул пистолет в кобуру, навис над парнем, схватил его за горло и начал душить. Парень был верток, ловок, милиционеру не давался, все глубже закатываясь под распахнутую старую шинель.

И вдруг грохнуло. Глушкова подбросило вверх, он еще продолжал сжимать и разжимать пальцы, еще недоуменно смотрел расширенными глазами и шевелил ртом, ругаясь, но рот уже вело в зевоту – выстрел был смертелен, прямо в сердце.

Парень отбросил упавшего на него милиционера, вскочил и, видимо сам от себя не ожидавший того, что сотворил, тыкал перед собой пистолетом «ТТ» и панически визжал: «Н-не подходите! Н-не подходите! Убью-у! Убью-у-у-у!»

Но в эту минуту никого, кроме меня, у задних ворот не было, из павильона на выстрел мчалась гулевая братва. «Убегай, парень! Уходи!» – негромко сказал я, и с пистолетом в руке убийца побежал в одну сторону, а я неторопливо почапал в другую.

Был некролог в газете со словами: «героически на посту», «достойный сын Родины», «верный закаленный дзержинец».

Парень-убийца был татарин, кажется, Хабибулин по фамилии, и он ночной порой на бакальском поезде уехал в Татарию, сумел там затеряться, но года через два попался на каком-то очередном деле, и тогда всплыло и чудовское убийство милиционера.

Ни того, ни другого на земле уже никто не помнит.

\* \* \*

Пьяницы из горсоветского иль пэтэи отвели нам место под застройку в устье оврага, возле дороги на Красную горку, на стихийной свалке.

По угощенью и угодья.

Я говорил и говорю, что Бог был за нас, все еще бросал всевидящий взор и на нашу нескладную семью, но уже начинал уставать, потому как много нас, жаждущих Его милостей, накопилось на русской земле.

Наследник ростовского капитана рос на руках бабушки и дедушки крепеньким, капризным и драчливым парнем. Наша боевая девица играла с ним и, ни в чем не

Астафьев Виктор Петрович Весёлый солдат [astafevvictor.ru](http://astafevvictor.ru)

желая ему уступить, ввязывалась с братцем в драку, он ее, конечно, одолевал, она ревела и, чувствовал я, копила силенки, чтобы со временем во что бы то ни стало побеждать этого папой брошенного бойца. Пришла парню пора идти в детский садик, и первое, что он сделал, занес в дом конъюнктивит и заразил свою сестрицу. О-о, какая это дикая, мучительная болезнь. Девчушка криком кричала дни и ночи, озорные глаза ее склеило гноем, лишь прижатая к груди моей или матери, она, измученная, вся завядшая, горячая, засыпала на минутку-другую, и снова взвивался ее уже слабеющий крик, к утру становившийся цыпущечьим пискком.

Тем временем меня выдавили все же из вагонного депо, выписавши на прощанье в награду машину горбылей и два кубометра тесу. Мужики, узнав, что я начинаю строительство, под горбыль засунули с десяток бракованных плах. На деньги, полученные при расчете, и на декретное пособие жены я выписал в лесничестве шесть бревен. Возглавлял лесничество вернувшийся с теплого места старший брат жены. Привыкший обирать и объедать военнопленных, содрал он с меня такую плату, что впору было попускаться замыслом о строительстве своего жилья, но Семен Агафонович сказал: «Надо, парень, надо, иначе пропадете», – и помог мне огородить «нашу землю» вместе с мусором, стеклом: потом, мол, уберете, а сейчас главное, чтобы горбыль не растащили и бревна не увезли.

Напротив нас с размахом строился его старший сын. Лесничий. Шныряли там машины, тянули бревна лошади, отец едва кивал сыну, мне говорил: «Он еще во школе эким был, в пионеры поступил, дак иконы хотел выбросить, старуха ему: «Вот те Бог – во те порог». На войне в чинах был, шибко поранетый вернулся, ну, думаю, теперя человеком станет, да, видать, горбатого и война не исправит...»

Забегая вперед, скажу: всеми брошенный, больной, он только у своей средней сестры и найдет отзыв, только она ему и поможет, чем может, и схоронит его, алкоголика, туберкулезника, чудовищно в одиночестве кончившего жизнь, опять же она, сестра. Ну, да это к слову.

Именно в эти дни, когда я крутился на стройке и вокруг нее, жена с уже подсекающимися ногами тетешкала дочку и всеми способами и силами сохраняла малого сынишку от конъюнктивита, к нам в избушку зашла женщина не женщина, девушка не девушка, одетая в парусиновую юбку, старую стяженную кофту, низко завязанная клетчатым полушалком, и не то спросила, не то утвердила, прикрывая ладошкой рот:

– Вам няньку ната.

Да как же не надо, во как надо, но мы сейчас платить нисколько не сможем, и девочка у нас болеет, мальчик слишком еще малой, так едва ли ты согласишься на такие условия, объяснили мы гостье.

– Кокта теньки путут, саплатите скоко-нибудь.

Она открыла лицо, и мы, повидавшие виды, не охнули, не ахнули, увидев два клыка, кончиками выступающие из-под вынесенной вперед верхней губы, желтое сморщенное лицо – в складках скорбных морщин, низкий лоб, сплюснутый в переносице, и широкими ноздрями вздернутый нос, широкий рот с синюшными мягкими губами. Ее можно было бы принять за ведьму, если б на ее лице не светились виновато и запуганно большие прекрасные глаза почти неуловимого цвета, что-то между голубиной и фарфоровой синью, лучистое, выпуклыми белками резко оттененное.

Мы ее приветили, покормили чем было. Она была голодна, но ела не жадно, опрятно. Состояла она в няньках с раннего детства у многих людей, последнее время нянчила племянника, и, как довела его до детсадовского возраста, братец согнал эту домашнюю рабу со двора.

Через час она уже включилась в дела, нагрела воды, выкупала мальчика в корыте, попутно что-то постирнула, забрала из рук изнемогшей хозяйки девчушку, начавшую расклеивать глаза и жалко улыбкувшуюся тетеньке, которая назвалась няней. Засыпая на добрых руках, девочка с радостным успокоением, в лад шагов, повторяла, пока не уснула: «Ня-на, ня-на, ня-на...»

Они подросли, дети-то, на ее руках, при ее догляде и никогда, никогда не замечали уродства своей няни, любили ее не меньше, чем маму, помнили и будут помнить всю жизнь.

За два или три выходных дня я, тесть и Азарий обожгли, вкопали деревянные стойки под углы избушки, срубили и в углы скрепили два нижних новых венца – и стройка остановилась: у строителя не оказалось вспомогательных материалов – моху, пакли, рубероида; гвозди, что притащил из вагонного депо, израсходовали на ограду, и молотка путного нет, и топор тупой, и пила не разведена, ножовки так и вовсе нету.

– Руберойду-то клок и надо, застелить стойки, моху я на подловке погляжу. Сходи к брату, – кивнул головой тесть в сторону стройки через дорогу, где не по дням, а по часам рос сруб с обтесанными, ровно подобранными бревнами. Азарий на предложение отца ответил, что он скорее пойдет к херу собачьему, чем к этому



Астафьев Виктор Петрович Весёлый солдат [astafevvictor.ru](http://astafevvictor.ru)  
начальствующему хвату, вдруг обматерился и пошел, пошел валить, все громче и громче, чтоб на усадьбе братца слышно было.

– Не надо бы начинать со скандала, – почти отцовскими словами, с его точной интонацией попросила Азария сестра, убиравшая мусор на размеченной колышками площадке под дом.

Папаша обрадовал меня, сказав, что на подловке, на чердаке дома, стало быть, в сарае мешка три моху насобирает, но надо мне прогуляться в лес, с ружьем, раз оно есть, надрать там моху, посушить его оставить.

– Потом сносим в мешках на себе, а это – вот, – кивнул он головой на штабелем выложенные вагонные доски и на гвозди, вынутые из них, которыми были наполнены деревянные ящики и старые ведра, – я как знал, что пригодятся.

Ох, старый крестьянин, русский мужик, всегда-то он себе на уме, всегда живет с заглядом вперед, я-то, пролетарский ветродуй, еще и негодовал про себя, что папаша мой крохоборничает, собирая старые гвозди, и доски, которые получше, присваивает, а они, крашенные, сухие, так хорошо горят.

\* \* \*

На колбасном заводике лицом к желдорлинии возвели дощаной ларек и начали в нем продавать жилку – мясную обрезь и кости. Очереди там выстраивались с раннего часа, торговля шла дотемна. К вечеру из цехов прямо на улицу выставлялись лари-носилки, и в них уж были самые дешевые кости, можно их было самим набирать в мешок и взвешивать в ларьке.

Шустряк мужик с белыми вихрами, торчащими из-под клетчатой кепчонки, набрал уже две сумки костей, норовил и третью набрать. При этом пиратничал, ловко, с хрустом отламывал, где и отвертывал ребра от сизой хребтины и ребра отбрасывал обратно в ларь, позвонки, из которых еще что-то может навариться, к себе в сумку заталкивал.

– Эй, ты! – прикрикнул я на ловкого мужика. – Че делаешь-то?

– Че надо, то и делаю, – окрысился он.

– Совсем обнаглел, падла, – гаркнул я на него, ослепленный внезапным гневом, ударил его иль толкнул, вспомнить потом не мог.

Мужичонка упал в носилки вместе с матерчатой, засохшей от сукровицы сумкой – давно сюда ходит, опытный стервятник. Он возился в костях и никак не мог взяться из ящика, мне же пришлось и помогать ему выбраться наружу. Нашарив кепку в костях, мужичонка насунул ее на голову и взял меня за грудки. Рука у него была крепкая, но на ногах стоял плохо, правая нога его коротка, и он провисал на правую сторону всем своим некрупным, костлявым телишком. Я понял, что имею дело с фронтовиком, и как можно спокойнее сказал:

– Кончай.

А очередь уже завелась, заволновалась, и кто-то был за меня, кто-то сострадал мужичонке. Громила с обликом древнего каторжника, только что вернувшегося к отчему порогу, в красном, не иначе как бабьем, колпаке и в опорках от резиновых сапог, выше которых неумело намотаны обмотки, для тепла, видать, презрительно сказал:

– Оглоеды!

А пожилой товарищ в плисовой толстовке, в круглых очках, треснутых на обоих стеклах, излаженный грубо и топорно под Ленина, разноглазо глядя в найденную щель и картавя, как Ленин, начал речь:

– Позорят честь советского человека.

– Че-эсть! – вдруг взъялся на очкарика мой супротивник. – Где была честь, там выросла шерсть.

Очкарик поджал губы и отвернулся, храня на лице несокрушимое величие. И вся очередь унялась, присмирела. Очередь моя подошла раньше, чем у вихрастого мужичонки. Прежде чем перевалить через линию с мешком, я сказал ему, кивая на набитый рюкзак и сумки:

– Не донесешь ведь? Далеко идти?

– На Трудовую. Как-нибудь, – непримиримо буркнул мужичонка.

Надо было искупать вину, всю-то ее когда искупишь, вечно перед всем и всеми виноват, вечно всем должен, но хоть частицу можно ликвидировать. Когда я вернулся к ларьку, мужичонка уже приблизился к весам, очередь, в конце которой он приклеился, почти рассосалась. Надвигались сумерки, продавщица торопилась и нецензурно выражала свое недовольство.

– После смены? – спросил я новознакомца, чтобы хоть о чем-то говорить и размягчить разгневанное сердце человека, он и размягчился, давно уж забыл обиду, потому как много принял их в жизни, и спросил в свою очередь, глядя на мою грязно завязанную руку:

– Где покалечился?

– Да ханурик один раздавил подъемником палец.

Астафьев Виктор Петрович Весёлый солдат [astafevvictor.ru](http://astafevvictor.ru)

- На больничном? – что-то явно смекая, спросил мужичонка.
- Вытурили уже и с больничного, и с работы.
- Загораешь?
- Загораю.

Я нес на спине дырявый рюкзак, набитый костями, новознакомец – две тяжелые сумки. Он часто останавливался отдыхать из-за ноги, и в пути я узнал, что зовут его Сана, фамилия у него довольно распространенная в здешних местах – Ширинкин, воевал он на Белорусском фронте, был в пехоте и навоевал недолго, подбили, вернулся домой еще задолго до Дня Победы, ныне работает в артели инвалидов «Металлист» жестянщиком, клепают хлебные формы и нештатно – пока – слесарит на хлебозаводе. Есть уже парнишка на третьем году, баба донашивает второго. Накопил немного денег, начал строить жилье, дело движется туго, в помощниках всего лишь один отец – довольно дряхлый, в горячем цехе поизносился, да и пил горячо и дрался пьяный, вот силу-то всю и израсходовал. Я понял так: узнавши, что я свободен от работы, Сана хочет привлечь меня на стройку в качестве помогайлы, но, узнав, что я тоже начинаю возведение жилья, сказал откровенно:

– С паршивой овцы хоть шерсти клок, окрести тогда мне парня.

Так у меня появился кум и на долгие годы друг и верный помощник. Он тоже сначала сделал ребятишек, уж потом догадался, что их надо кормить, обувать, одевать, но самое главное – не на улице держать, а в тепле.

Отец у Ширинкина был хоть и неказистым плотником, но многому научил парня в детстве, всему остальному этого удалыца научила жизнь. Был он необыкновенно во всем ловок, ко всему уже приспособлен, тащил из артели «Металлист» и с хлебозавода все, что можно утащить. Купил вот по дешевке сарай на улице Трудовой, раскатал его и почти собрал избу на горе, по-над Усьвой-рекой. Домик, весело глядящий с высоты двумя окнами на закат, был уже под железной крышей. В тесно застроенном дворе скулемана кухонька об одно окно, где и обреталось пока что семейство Ширинкиных, в стайке топталась и звучно шлепала лепехи на пол корова, велись тут куры, хрюкал поросенок подле огорода, мелкозубая, злая собачонка катала цепь на проволоке.

Костей, и как можно больше, будущий мой кум добывал для обмена на зеленые корма скоту, зерно же, отруби и прочее довольствие сгребал на хлебозаводе: выпишет пуд – увезет воз. Негодовать, презирать моего новознакомца или восхищаться им? В моем положении ничего мне иного не оставалось, как восхищаться.

После крестин кум мой посетил мою новостройку, благо располагалась она неподалеку от единственной действующей бедной церковки, насупился, узнавши, с кем и чем я начинаю строиться, обложил меня крутым матом и поковылял на железнодорожную улицу, чтоб осмотреть флигель. Осмотревши хоромину мою, совсем помрачнел мой кум, однако на крестинах, где крепкущая брага с водочным колобком лилась рекою, полюбив, как он говорил, с ходу меня и жену мою, кричал, что советские бойцы нигде не сдаются, настоящие советские люди в беде друг друга не оставляют.

Бедный, бедный мой кум, как и все прочие фронтовики, развеявшись по земле, был так же, как и я, как и все вояки, одинок, в одиночку и бился, выплывал к жилому берегу, но, истинно русский человек, он хотел кого-то пустить в сердце, любить, жалеть, и тут подвернулись ему мы с женою, вовремя и кстати подвернулись. Мы пели песни военной поры, старый Ширинкин пускался в пляс, младший тоже истово стучал об пол ногой, но скоро понял, что на одной ноге плясать – все же дело неподходящее. Изрядно захмелев, иначе бы не решился, от обильной еды и крепкой выпивки, я исполнил соло свою заветную и вечную песню, сделавшуюся во мне молитвой, – «Вниз по Волге-реке», кум мой, целуясь и обливаясь слезами, кричал:

– Не было у меня брата, не было, ты мне брат, ты, хоть и по морде меня...

\* \* \*

Кум мой вообще не давал проникать в себя унынию, явившись на мою стройку, встряхнулся и произнес: «И не такие крепости одолевали большевики», – хотя сам был беспартийным и в доме его никаких партийцев не водилось, книг он не читал, а вот поди ж ты, партийной идеологией проникся; кум велел разбрасывать и свозить то, что называлось флигелем, что и было сделано с толковой его помощью в ближайшее воскресенье мной, тестем и Азарием. В разборке я показывал удаль, как-то будет в сборке. Кум подвез на стройку моху, лоскуток толя, мешок пакли, ведро гвоздей, каких-то железяк полный ящик. Я не понимал, зачем все это, потому как из железяк знал полезное назначение лишь шарниров, шпингалетов и дверного крючка. Еще подарил мне кум острущий плотницкий топор и умело насаженный фигурный молоток. Я радовался этим вещам, как моя девчонка редкостным в ее судьбе магазинным игрушкам.

В следующее воскресенье трое мужиков и я на подхвате скатали и посадили на мох

Астафьев Виктор Петрович Весёлый солдат [astafevvictor.ru](http://astafevvictor.ru)  
два срубленных новых звена, и кум, который никогда не курил – Азарий тоже не курил, – следя за дымом, пускаемым мной и тестем, заметил:

– Легкими маешься, а смолишь!

Отпустивши тестя и Азария домой, кум еще поколотился на стройке, и, как я понял, с умыслом, да не с простым.

– Тебе край надо до осени влезть в свое жилище. Никому мы с детьми не нужны, кроме самих себя да баб наших. Сруб собрать, окна вставить я помогу, но дальше будешь колотиться один. У меня тоже работы с домом еще допална, тоже надо до холодов в свою нору заползти.

\* \* \*

Я учился строить и жить в процессе жизни и стройки. Бил я молотком, как и прежде, чаще по плотнику, чем по гвоздю, рука моя была разбита до кости. Порешив, что мешает плотничать раздавленный палец, я попросил снять с него напалок, сооруженный женою из лоскута сапожной кожи. Она состригла напалок. Под ним оказался криво обросший розоватым мясом палец, из недр которого робким лепестком восходил ноготь. «Какова жизнь, таков и палец», – глубокомысленно рассудил я.

В начале осени, в сентябре, мы произвели «влазины» в недостроенную избушку с недокрытой крышей. Главной ценностью в избе была русская печь, которую сложил дядя Гриша, печник из заводского ОКСа. Он был большой затейник и рассказчик, или баскобайник, по выражению тестя, этот знаменитый на весь город печник. Играл на скрипке, ну, это ему так казалось, на самом-то деле он пилил смычком по струнам, плакал от жалости к себе и от сочувствия к музыке. Печник приказал, чтоб бабы и я вместе с ними собрали все битое стекло со свалки, избегая при этом аптечных флакончиков, стекло то измельчить кувалдой в жестяном корыте, да еще прикупить хотя бы сотню новых кирпичей, да еще сделать бак с «крантом» ведра на четыре, да запаять его.

Бак нам изготовил все тот же незаменимый наш кум, стекло я, надевши очки Азария, измолотил в крошку. Кирпич, купленный в ОКСе, окончательно подорвал наши капиталы, но я все же выставил на разогрев печи полагающуюся печнику бутылку водки и получил от него неожиданную похвалу:

– А ты хоть молодой, но умный хозяин. Вот попросил я у тебя пятьсот рублей, ты пятьсот и дал. Но если б стал рядиться, я тебе б полсотни уступил, но, етит твою ети, на четыреста пятьдесят и печку бы сложил, а эдак ты ту полсотскую за зиму оправдашь – на дровах. – Он сходил к печи, пощупал и погладил ее сзади, будто бабу, по пути отвернул кран у вделанного в дымоходы бака – вода текла, хозяйски оглядел свое сооружение, оно работало ровно и глубоко дыша, начинало обсыхать от чела и пестреть спереду.

Крупный, с виду неповоротливый мужик, за которым мы, две бабы и мужик, едва поспевали на подхвате, любовался своим творением. Мы любовались им, поэтом своего дела, под печи начинал малиноветь – это под слоем кирпича расплавлялось в горячую массу стекло, бак, нагреваясь, сперва заскулил по-щенячьи, потом зашумел паровую горячую песню, и мы поверили, что щи в загнете печи будут три дня горячие, бак не остынет и за четыре дня.

Рассказав историю своей жизни, очень путаную и романтическую, наполовину, как я теперь понимаю, им сочиненную, он на прощанье присоветовал, чтоб я заглянул на Чунжинское болото, где ремонтируются бараки и валяется много всякого добра. Ночью, отдыхая через каждые сто метров, отхаркивая мокроту с кровью, я принес с болот половину бухты рубероида и сам закрыл крышу, за что получил втык от кума, так как крыша у избушки получилась пологой: экономя материал, я не запустил с запасом края рубероида, в большие дожди и ливни, которые тут, на склоне Урала, на исходе гольфстрима часты и дурны, мы волокли на чердак корыта, тазы, всякую посуду, потому что в экономно мной заделанные края и прогибы захлестывало.

На сени и на кладовку не хватило материалу, я отправлялся по старому адресу в вагонное депо, выбирал в отходах две-три доски, мужики совали мне в карман горсть гвоздей, и, протопав три километра по линии, прибывал принесенные доски. На этом работы замирали. Зато уж моя архитектурная мысль не знала предела, работала не только напряженно, но и с выдумкой. Туалет я разместил под крышей сенок, уличную лестницу встроил внутрь тех же сенок, в кладовке пропилил окошко в досках с буквами, знаками, цифрами, означающими железнодорожную казуистику, вставил в дырку стеклышко и еще соорудил в кладовке топчан, что позволило называть сие сооружение верандой. Знай наших, поминай своих!

\* \* \*

Незаметно надвинулась зима. Подспорье наше – походы мои в лес за рябчиками – кончилось. Капиталы наши и здоровье оказались надорванными. Но мы еще как-то волокли жизнь, вытягиваясь в балалаечную струну. Главное, все выдержала и не

Астафьев Виктор Петрович Весёлый солдат [astafevvictor.ru](http://astafevvictor.ru)  
ушла от нас наша няня Галина. Девочку нашу приняли в детский садик, в тот же, куда ходил внук тещи. Видимо, она, теща, в округе почитаемая женщина, замолвила словечко и за наше полуголодное дите.

У жены заболела нога. Бегучая, стремительная, порой до бестолковости приткая, она с трудом ходила на работу. Строившаяся по соседству заведующая тубдиспансером, к территории своего заведения усадьбой примкнувшая, в отличие от старшего брата жены, расположившегося чуть выше по улице Партизанской, нас по-соседски навещала и уволокла жену на рентген.

И удар, страшнее не придумать: туберкулез кости, коленный сустав поражен болезнью. Следом за женою соседка заставила и меня «провериться на рентгене». Нервотрепка, бесхлебица, тяжелая работа на стройке не прошли даром – туберкулез мой успешно развивался, легкие гнили напропалую.

Жену завалили в тубдиспансер. Я остался один с двумя детьми, потому как братец Галины вновь женился, сотворил свежей, молодой жене свежего ребенка, ему снова понадобилась нянька, и он затребовал домой сестру.

Мы начали погибать. И кабы мы одни. Мое вновь возделанное жилье расположилось на пути к Красному поселку, стало быть – к кладбищу, и, поднимаясь в гору, духовой оркестр делал последний до кладбища проигрыш похоронного марша аккуратно под окнами нашей хоромины, в конце огорода духовики брали под мышку умолкнувшие трубы и следовали дальше. Но с музыкальной хоронили мало кого, гроб за гробом на подводах, на грузовых машинах, когда на домашних тележках, детей под мышкой с деловой поспешностью волокли в гору. И чем дальше шла жизнь, тем чаще везли женщин. Молодых.

Самоаборты, подпольные аборты косили и валили советских женщин – партия и правительство боролись за восстановление и увеличение народонаселения России, выбитого на войне. По приблизительным подсчетам, за первые послевоенные годы погибли три миллиона женщин и столько же отправились в тюрьму за подпольные дела, сколько погибло детей – никто не составил себе труда сосчитать и уже не сочтет никогда.

О-о, русская доля, которую в старину называли точнее – юдолью, где же тот, кто наслал ее нам? И за что он ее нам наслал и насылает? Ведь без причины ничего на этом свете не происходит.

Наша соседка, начальница тубдиспансера, спасая нас, прикрепила меня к столовой на бесплатное одноразовое питание. Жена лежала в палате, меня к ней не пускали. Зараза ж кругом. Ужинал я вместе с тубиками и много встретил знакомцев по военкомату в столовой, самая ошеломляющая встреча – Рындин, лейтенант, который меня узнал, а я его нет. Он недотянул до весны – дотаял, будто слабая головешка во всепожирающей страшной печи социализма. И сколько моих знакомцев, фронтовиков, дотаяло в том небольшом тубдиспансере, знает только Бог и коновозчик тубдиспансера дядя Паша, крадучись ночной порой свозивший в казенных гробах иссохших тубиков в казенные могилы на участок, специально для них выделенный, за кладбищем. От посторонних глаз подальше.

Съевши кашу или омлет, винегрет либо запеканку из картошки, я разминал кубик масла на ломте хлеба, клал в карман полагающееся на ужин яичко, кусочек сахара, когда и яблоко, уносил все это детям. Однажды туберкулезные бабы, заметившие мои действия, подняли крик, заскандалили, что я не ем, где положено, таскаю пайки с собой и, поди-ко, продаю их иль меняю на вино. Соседка-начальница подавила бунт окриком и велела мне больше не приходить в столовую, а получать на всю неделю положенные мне продукты.

Сделалось чуть полегче мне с ребятишками. Появилась в одно воскресенье у нас кума. Посадив на салазки своих ребятишек, привезла их к нам, свалила в комнате на пол, и наш квелый, худенький мальчик охотно играл и спал вместе с ними, кума стирала, мыла, прибиралась в избушке, напевая при этом всякие разные песни, просила меня подпевать, но мне отчего-то не хотелось это делать, хотя, сколько помню себя, рот мой не закрывался от хохота и песен.

У хозяйки нашей сняли гипс с ноги, сделали тугую повязку на колено. Опираясь на палку, она, словно старуха, волоклась домой после обеда. Погас веселый румянец на ее лице, она сделалась молчалива и сердита. Я ставил корыто на две табуретки, наливал в него горячей воды, пристраивал жену рядом. Выкинув больную ногу на подставку, она принималась за стирку, потом мыла детей, ползком подтирала пол и отправлялась «к себе», в тубдиспансер. Я смотрел в кухонное окно и по вздрагивающим плечам жены догадывался, что она плачет. При детях, дома, она себе этого не могла позволить. Наша старшая дочь в детсаде сделалась говорливой, прыгучей, выучила стишки и все домогалась, спрашивая: «Ты куда, мама, собираешься? Ты посему от нас уходис?» А потом приставала ко мне: «А куда мама посла?» – «В больницу мама пошла, отстань!» – «А засем?» – не унималось дитя.

\* \* \*

Но как бы там ни было, перевалили мы ту очень длинную зиму. Глухой зимней порой, в каникулы, ученика, бросившего школу, навестила классная руководительница с двумя моими соучениками, намереваясь, как я усек, уговорить меня не попускаться учебой. Посмотрели соученики и учительница на мое житье-бытье и намерением своим попустились. На прощанье спросили: «Может, мы чем-то можем помочь?» – «Нет-нет», – поспешно ответил я и про себя подумал: «Нам только БОГ может помочь», – но они и без слов все поняли. С чувством облегчения проводил я гостей до калитки.

Дотянули мы, дотянули-таки до весны!

Поддержанный в тубдиспансере лекарствами и питанием, я настолько окреп, что, дождавшись жену домой, ринулся искать работу. Мне рекомендовали легкую. Но в городе с тяжелой промышленностью легкие работы были редки и все нарасхват. Дело кончилось тем, что я начал ходить на шашки, разгружать вагоны в железнодорожном тупике и на товарном дворе.

Зарабатывал иногда даже тридцатку в день.

\* \* \*

В конце апреля вытаял уголок нашего кормильца-огорода, тот, что был поближе к зашитою горбылем туалету, тушею выставившемуся наружу, но входную дверь имевшему из сеней. На кончике зачерневшей мокрой гряды вытаял, пошел в стрелку лук-батун. Как-то под вечер, вернувшись с шашки, я увидел жену свою, ковыляющую с огорода. Она опиралась о стенку правой рукой, а левой зажимала пучочек луковых перьев, еще не налившихся соком, кривых, но уже зеленых.

– Ты че? Что с тобой?

Она посмотрела на меня глазами, заполненными таким глубоким и далеким женским страданием, которому много тысяч лет, и, дрожа посиневшими губами, тихо молвила: – Там, в огороде, в борозде, я сейчас закопала мальчика, нашего пятимесячного мальчика. – И потащила домой.

Надо было помочь ей подняться по лесенке, в сени, но я стоял, пригвожденный к месту, в капелю продырявленном снегу, меня било крупными каплями по башке, но я не мог ни шевельнуться, ни слова произнести.

То-то, заметил я, последнее время зачастили к нам женщины с арестантскими мордами из пролетарских бараков. После их ухода жена моя как-то наполнила горячую водой корыто, с отвращением выпила банку дрожжей и лежала, дожидаясь результата. Не проняло. Тогда она выпила четушку водки и, пьяная, чуть не утонула в корыте – ее натура оказалась крепче всяких изгонных зелий. Но вот, находясь в тубдиспансере, она, видать, нашла настоящих мастериц, они опростали ее каким-то чудовищным способом аж на пятом месяце беременности.

Деваться мне было некуда. Сквозь землю я не провалился, но шибко вымок под капелю и замерз на ветру, на поднатужившемся к вечеру морозце. Почти крадучись я протиснулся в наше жилище, думая, что жена легла на кровать за перегородкой. Но она одиноко лепилась за кухонным столом. Обычно форсила она в синей телогрейке с двумя боковыми карманами, сшитой в знаменитой на весь город артели «Швейник», но как ей становилось худо, настигали ее черные дни, она откуда-то извлекала материно пальтишко, выданное однажды дочери для спасения от лютого мороза и из-за ветхости не востребованное обратно. И вот сидела она в этом пальтишке, взгорбаченном на спине, с заплатами на локтях, с рукавами, подшитыми не в тон пальто бурыми лоскутками, зато имеющем меховой воротник, скатавшийся в трубочку. Не узнать уже было, из какого зверя мех присутствовал на пальто – вятская ли кошка, африканский ли леопард.

Я постоял возле дверей.

Жена не оборачивалась, не произносила ни слова. Перед нею на столе была кучка размятой соли, кусок черного хлеба и горячая вода в кружке. Она тыкала перья лука в соль, откусывала хлеб, подносила кружку дрожащей рукой ко рту, в серое пятнышко соли пулями ударялись слезы и насквозь, до скобленного дерева, пробивали его, развеивая по столу серую соляную пыль. Прошлой весной такие же вот тяжелые, что пули свинцовые, слезы ронял в соль пленный немец, и так же расплывались пятна в сером крошеве. Боль, осевшая в слезы человеческие, оказалась тяжелее поваренной соли.

Я сорвал с гвоздя шинель, бросил ее в комнате на пол и прилег – в этот день я как-то уж особенно сильно устал на разгрузке, но зато заработал аж пятьдесят рублей, хотел обрадовать жену, да вот она опередила меня, обрадовала.

Зачем, зачем судьба нас свела в человеческом столпотворении на кривых послевоенных путях? Зачем лихие российские ветры сорвали два осенних листочка с дерева человеческого и слепили их? Для того, чтобы сгнили? Удобрели почву? Но она и без того так удобрена русскими телами, что стон и кровь из нее выжимаются. Жена старше меня, она успела хоть немножко отгулять молодость. До войны за ней

Астафьев Виктор Петрович Весёлый солдат [astafevvictor.ru](http://astafevvictor.ru)  
ухаживал шофер или даже механик гаража, будто бы и сватался, будто бы и сговор с родителями произвел. На войне, в боевом походе, подшиб ее в качестве недолговременного мужа какой-то чин, даже и немаловажный. Вот бы ей с ним быть-жить, так нет – подцепила обормота пролетарского пошиба, мыкается с ним, здоровье рвет, жизнь гробит.

Пока лечила больное колено, пожирая хлебальной ложкой лекарство, похожее на известку, под названием «пасх», посадила сердце. Был уже сердечный приступ, вогнавший меня в панику, а сколько их еще случится.

На шинели было жестко и плоско лежать. Совсем она выносилась, шов на ней проступил, будто старая, давно, еще в войну, зашитая рана. Не держит шинель тепла, доступно мое тело холоду, проникает сквозь знаменитое сукно даже и малый ветер, а мне простужаться нельзя, сказывали врачи. Но еще послужит шинель, хорошо послужит куму Сане Ширинкину. Скоро закроется артель «Металлист», с хлебозавода его, подменного слесаря-нештатника, вытеснят более здоровые, напористые люди, умрет старик Ширинкин, все сильнее хромающий кум мой со свищами в том месте, где соединены суставы вместо вынутой коленки, не осилит управляться на покосе и по хозяйству. Туго, совсем туго будет куму, и однажды, во времена полегчания нашей жизни, на день рождения кума я отнесу ему в подарок нереализованный ковер с веселым рыбаком и мою заслуженную, бойкой бабенкой Анной изувеченную шинель. Кума тоже на все руки от скуки, как и моя супруга, – обрежет ту шинель, подстежит, и получится из нее тужурка, которую доншивать будет уже мой крестник, бегая в школу.

«Ах, шинель моя военная... на-на, шинель, у костра, в бою прожженная, кому не дорога», – зазвучало в моей расшумевшейся башке. Под лопатками камня. Ломит, гнетет мое нутро, преют, гниют мои легкие. Нельзя, нельзя мне ломить тяжелую работу, фершала категорически запретили. Сдохнуть они не запрещают. Скорее бы освободить себя от себя, всех, всех избавить от моего никчемного присутствия на земле. И забыться бы, забыться.

Прошлой осенью, в октябре, когда пробрасывало уже снежок, брел я с ружьем, норовя обмануть повзрослевших и поумневших рябчиков. Заманили они меня в разлом каменного распадка, глубокий, заросший мелким густым ельником. Рысаком себя здесь чувствующий петушок, перепархивая в густолесье, затащил меня в такую непролазную глушь, что я, упарясь, сел передохнуть на серую каменистую осыпь. Из осыпавшегося каменного останца когда-то выходил ключ, выбил в камнях глубокую ямину, намыл вот эту осыпь, на которой я сидел, и куда-то делся, иссяк, другую щель нашел или промыл, провалился ль в истоке, но не стало его – и все. Ложе глубокое наносное осталось, в него осыпался и осыпался рыхлый курумник. Красная смородина, путанные кусты жимолости, ломкого таволожника и всюду проникающего шиповника теснил со всех сторон уверенно наступающий ельник. Я мимоходом отметил, что если здесь, в этой каменной выемке, застрелиться, вовек никто не найдет. И прежде, чем вороны налетят, зверушки набегут точить зубами падаль, засыплет труп мелким камешником, и в скором времени заволокет, укроет эту могилу темнотой. «Зачем не застрелился? Зачем? Забздел! Скиксовал, так вот теперь наслаждайся жизнью, ликуй, радуйся ее прелестям!..»

Но у запоздалой осени есть одно мало кем воспетое и отмеченное состояние – полный покой отшумевшей, открасовавшейся природы. Птицы улетели в дальние края, зверь не бродит, не буйствует, дожди прошли затяжные, иней еще не звонки. Как бы приоткрывается ненадолго загадка вечности, простая и никем почти не замеченная загадка. Суета, тревоги, заботы, страсти, дурные предчувствия и все-все прочее, земное, как бы отодвигаются или вовсе куда-то исчезают. Ты остаешься наедине с ровно и умиротворенно дышащей природой, с облетевшим лесом, с покорно ждущим снега молчаливым уремом, который в тишине кажется не просто бесконечным, но как бы уходящим в молчаливое мироздание, в его непостижимую и оттого совсем не страшную тайну.

Сердце твое, доверяясь таежному покою, тоже успокаивается, дышит ровно и глубоко...

Ему сладко и печально.

Хочется остаться здесь, в уреме, навсегда и жить, жить, просто жить для себя, просто наслаждаться природой.

Я и жил до самого вечера. Сварил чаю, запарил его смородинником, надоил с кустов остатных ягод смородины, еще не сморщившегося шиповника и в ладони сминающейся черемухи.

Для задумчивых, к разным чувствам склонных людей дня, проведенного в добром месте, где нет зла и тревог, достаточно, чтоб укрепиться и жить дальше.

Я вслушивался, не упадет ли с табуретки моя спутница жизни, тогда надо ее волочить в постель и отваживаться с нею. Врача вызывать нельзя. Не тот клинический случай. Даже и к начальнице тубдиспансера не побежишь – она справедлива, милостива, но строга. Баба моя, если не свалится в лужу крови,

Астафьев Виктор Петрович Весёлый солдат [astafevvictor.ru](http://astafevvictor.ru)  
перешагнет через меня, следуя к кровати. Я, если даже и усну, все равно услышу ее.

Мысль едва шевелится, вытягивается в тонкую нить, начинает рваться, я щиплю себя за руку – на кухне ни звука, ни движения.

Умерла моя жена-мученица? Иль жива еще? Жива! Шмыгнула носом, втянула слезы. Да что же это такое? Чего ж она не определяется на место? Не успокаивается? Уже и ребятишки, что-то неладное чувствующие, присмирели, за печь убрались, в постель залезли, уснули, должно быть, а она все сидит и сидит, плачет и плачет.

А чего плакать-то, чего скулить?! Сами добывали себе эту жизнь. Сами! Почему, зачем, для чего два отчаянных патриота по доброй воле подались на фронт? Измудохать Гитлера? Защитить свободу и независимость нашей Родины? Вот она тебе – свобода и независимость, вот она – Родина, превращенная в могильник. Вот она – обещанная речистыми комиссарами благодать. Так пусть в ней и живут счастливо комиссары и защищают ее, любят и берегут. А я, как снег сойдет, отыщу тот распадок, ту ключом вымытую ямину. Оты-щу-у, отыщ-щуу...

Решение, конечно, толковое, своевременное, да, как всегда, сгоряча и непродуманно принятое. Больная баба, еще молодая, но вконец изношенная, останется тут с двумя ребятишками и с виной вечной передо мной, обормотом, – она ж умная, если не умом, то сердцем допрет, что не без вести я пропал в тайге, не улетучился в царство небесное, а ушел от них, испугавшись трудностей, поддавшись психу, ослабнув духом. Бросил их! Бросил!

Ар-рр-тист! Н-на, мать! Из погорелого театра. Все хаханьки да хухоньки, шуточки да смехуечки тебе. Как приперло к холодной стене, прижулькнуло, так и повело наперекосяк мысли, свихнуло куцые мозги.

У меня ж через неделю день рождения, мне ж стукнет всего двадцать пять лет, и что ж, на курок нажал – и все? Х-х-эх, мудило, мудило! Был вертопрахом, как бабушка говаривала, вертопрахом и остался.

Я вскочил с шинели, решительно вошел в кухню. Жена лежала ухом на вытянутых руках и спала. Я подхватил ее, губами сдул с запястий ее соль и, держа под мышки, безвольную, несопротивляющуюся, будто пьяную, уволок и определил на койку. Подумал и закутал ее ноги тем стареньким пальтишком, еще подумал и осторожно, вытянув ею же стеженное одеяло, укрыл, подоткнул с боков и поцеловал в ухо. Она ни на что не реагировала.

Я постоял средь отгороженной вагонкой спальни, посмотрел на жену, на ребятишек, разметававшихся за жаркой печкой, и подмыло вроде бы как теплыми полосками мое сердце: «Куда они без меня? Куда я без них?..»

Потом долго стоял, прислонясь к горячему боку печи спиной. Такую вот процедуру я сам для себя придумал и заполз с другой стороны от умывальника за печь на постель нашей няньки Гали, постель ту мы на всякий случай не убрали.

Во всем неумелые, никем ничему не наученные, кроме как героически преодолевать трудности, мы ни беречь себя, ни любить путем не умели. Ведь предохранялись. Тем примитивным жутким способом, от которого мужик становился законченным неврастеником, а женщина инвалидом. Двое кровей, вятская и чалдонская, давали неизменный производственный результат.

Милостивое государство и направители советской морали снисходительно разрешили аборт. Те мужики, которым довелось носить передачу в больницу, расположенную, как правило, где-нибудь на задворках – все-то у нас прячут достижения наши, все глаз наш от неприличных видов берегут, все боятся травмировать наше ранимое сердце, – наслушавшись баб, да еще на пороге больницы, встретив только что в первый раз выскобленную молодку, пронзенные ее ненавидящим взглядом, решат, как и я не раз решал, пойти в сарай, выложить на чурку прибор свой, отрубить его по корень, да и выбросить собакам. Да где ж отрубишь-то? Свое единственное достояние. Жалко.

\* \* \*

Подступал мой день рождения. Дома ни гроша, ни хлеба, ни даже солений никаких. Картоху и ту доедаем. Ну и Бог с ним, с этим днем моим. Никто его в детстве не праздновал, бабушка раз один обновку сшила и постряпушек напекла, вот и все радости. Бабушки нету, умерла в прошлом году, и я не похоронил ее, не на что было поехать в Сибирь, и помнить о моем дне рождения больше некому, да и незачем. Случалось, я и сам о нем забывал.

Недавно совсем, в сорок четвертом году, народный маршал по весенней слякоти погнал послушное войско догонять и уничтожать ненавистную и страшную Первую танковую армию врага, увязнувшую в грязи под Каменец-Подольском. Но грязь и распутица, она не только для супротивника грязь и распутица, да еще грязь украинская, самая родливая и вязкая. Застряла и наша армия в грязи. И в это время, в конце-то апреля, когда цвели фиалки на радостном первотравье и набухли

Астафьев Виктор Петрович Весёлый солдат [astafevvictor.ru](http://astafevvictor.ru)  
сосцы у изготовившихся зацвести садовых почек, ударила пурга. Снежная.  
Обвальная. Завьюжило Украину. Завалило хаты до застрех. Завалило войска  
пришельцев-завоевателей, завалило и наше войско.

Врагу-оккупанту или погибать в чистом снежном поле, или выходить из окружения.  
И, без техники, без боеприпасов, голодный, драный, сплошь простуженный,  
противник пер слепо и гибельно сквозь снежные тучи, раненых в пути бросая, пер  
под пули, под разрывами мин и снарядов. Несколько дней длилась эта бойня, но  
остатки Первой армии из окружения вышли, куда-то скрылись, утопи в снегах и  
взбесившейся стихии.

Мы спали обморочным сном до тех пор, пока не пригрело нас ярким весенним  
солнцем, и друг мой вдруг начал щипать меня. «Ты че, охренел?» – встревожился я,  
а он: «У тебя ж вчера был день рождения! Поздравляю! Поздравляю!» – и щиплет,  
обормот, щиплет.

«В моей жизни было много перепитий», – говаривал один мой знакомый остроумный  
писатель-забуддыга.

А у меня было много перипетий. Иногда совсем неожиданных и счастливых.

Накануне Первомай начался ледоход на Чусовой, и я ринулся через горы к Ивану  
Абрамовичу, схватил со двора сак и пошел им черпать воду. Ничего, кроме крошева  
льда, в сетку моего сака не попадалось. Прошвырнувшись до скалистого быка  
Гребешок, я изловил двух сорожек и пескаря, случайно спасшихся, потому как  
впереди меня прошло уже десятка два рыбаков с саками, на другой стороне через  
каждую сотню метров воду реки цедили саками фарту жаждущие рыбаки.

Я возвращался к усадьбе родичей и решил за только что спущенными поселковыми  
лодками, где завихряло воду, под лодки грядюю набило колотый лед, сделать еще  
один заход и попуститься рыбацкой затеей. С крутого глинистого высоко  
подтопленного бережка я сделал заброс и, притопляя, вел сак таким образом, чтобы  
краешек поперечинки заходил под последнюю в ряду лодку. Я подводил сак уже к  
глинистому урезу, когда под ним взбурлила вода, я мгновенно воткнул упорину в  
берег, приподнял сак – и выбросил на берег щуку килограмма на три. «Нет, Бог как  
был за меня, так Он и есть за меня! И к тому же я колдун», – возликовал я и с  
рыбиной в своем знаменитом рюкзаке, в этом неизносимом сталинском подарке,  
ринулся домой.

– Ну вот, – молвила жена, – я же говорю всем, что супруг мой – с чертовщинкой,  
а они не верят. Зови на завтра кума с кумой, да к нашим не забудь забежать. Я  
сделаю заливное из щуки, наварю кастрюлю картошки, бражка у меня в лагухе еще с  
помочи в подполье спрятана. Ох и гульнем, ох и повеселимся! Весна же! Весна!..

Кум с кумой, в прах разряженные, явились раньше всех гостей, принесли пирог с  
мясом, банку сметаны и горшок капусты. Редьку с морковкой тер я самолично,  
винегрет и хорошо сохранившиеся яблоки-ранетки из своего сада прислала с  
сыновьями начальница-соседка, передав, что заскочит к нам потом на минутку, пока  
ей, как всегда, недосуг. Приволокся Семен Агафонович в древней вельветовой  
толстовке и «выходной» белой рубаше с едва уже заметными полосками. В новом  
костюме, при вишневом галстуке явился Азарий, с приступком поставил поллитру  
водки на стол и сказал, что мать не придет, она снова недомогает.

Ах, какой получился у нас праздник! И день рождения, и новоселье, и весна, и  
Первомай. Забежала Галя, нянечка наша, ее по случаю праздника отпустили из дома,  
сгребла всех ребятшек, и наших и Ширинкиных, утащила их на демонстрацию, где  
они угостились мороженым за ее счет, еще она им купила по надувному шарiku и по  
прянику местной выпечки. Сияющие, счастливые вернулись ребяташки домой, где шла  
уже настоящая гулянка, и кум мой, вбивая в половицы каблук ботинка на здоровой  
ноге, все выкрикивал: «Э-эх, жись наша пропавшая!» А после, как всегда при  
праздничном застолье, пристал ко мне, чтоб я спел «Вниз по Волге-реке».

Ослушаться, отказать было невозможно, и я спел, на этот раз, может, и не совсем  
выразительно, зато уж переживательно. Кум мой, Сана Ширинкин, снова плакал, лез  
целоваться, снова называл меня братом.

\* \* \*

Вот с этого праздника, со щуки, вынутой из-под лодки и пойманной мною не иначе  
как по щучьему велению, начала исправляться и налаживаться наша жизнь. И на  
смерть я начал реагировать, и на похоронную музыку, только могилы больше копать  
не мог.

К смерти открылась и болью наполнилась моя душа еще после одной встряски. Той  
же весной, еще по большой мутной воде, решил я половить рыбу, хотя бы на уху,  
потому как Галю снова выгнал брат, она вернулась к нам, а у нас и жрать нечего.  
Рано, только-только рассвело, и от скрещенья трех разлившихся рек туманы легли  
на город так плотно, что ни заводского и никакого громкого шума не проникало  
сквозь него, лишь что-то ухало, брякало под горой, будто в преисподней готовили  
котлы и сковороды варить и жарить нас, грешников. Грузная одышка от заводских



Астафьев Виктор Петрович Весёлый солдат [astafevvictor.ru](http://astafevvictor.ru)

цехов почти не достигала мироздания, застревала в тумане, поглощалась им. Я шел по линии – от Вильвинского моста встречно шел и угрюмо сигналил поезд. Сдержанно стуча колесами, скрипя тормозами, он явился из мглы и утоп в недвижной белой наволочи. На лбу электровоза во всю мощь горели прожектора. Во весь путь следования по городу машинист не выключал звукового сигнала. Видимо, ночью туман был еще плотнее, но солнце, уже поднявшееся на горизонте, за хребтом, осаживало недвижимую пелену, рассасывало, рвало и клочьями гнало в распадки, ущелья, в поймы рек, гнало за горы. В разрыве белой пелены я и увидел за девятой школой, на пустыре, кучку людей, среди которой стоял милиционер и что-то записывал в откидной блокнот.

Любопытство русского человека – его особая мета. Я свернул с линии, подошел к стоящим кругом людям. Никто мне не удивился, милиционер кивнул головой: «Вот еще свидетель». Среди пятерки незнакомых мне людей, прикрыв рот ладонью, стояла женщина с непокрытой головой, у ног ее, прикинутая платком, лежала зарезанная поездом девочка. Осматривая погибшую, милиционер откинул уголок платка, и сделалось видно лицо девочки лет семи-восьми, на удивление совершенно спокойное и даже отрешенное. Лишь глаза, оставшиеся открытыми, расширило ужасом, и в них остановился крик. Холод смерти остудил глаза ребенка и сделал голубизну их еще голубее, прозрачней, соединил их цветом с весенним небом, пусть и заляпанным, как всегда над этим городишком, черными тучами да еще желто-седой смесью с ферросплавового производства.

Расписавшись на листке предварительного допроса, я спускался к реке и все силился вспомнить, где я уже видел такие же голубые глаза, которым ни дым, ни сажа, ни отравные газы не мешали проникнуть в высь неба и наполниться от него нежным светом, и вскрикнул: да это ж глаза моей крошки дочери, на могиле которой я не был года два и вообще перестал посещать кладбище!

С этого беспросветного, туманного утра меня начал преследовать кошмарный сон.

Спускаюсь я к железнодорожному переезду, за которым по правую руку третий магазин, по левую – садик. В этот садик ходит моя дочка, долго мечтавшая о самостоятельности, чтоб не за ручку ее водили. У переезда кучка народу, и я бегу, бегу, заранее зная, что там, на линии, лежит пополам перерезанная дочка и смотрит на меня и говорит: «Я так хотела одна ходить в садик». ...Я расталкиваю, нет, даже разбрасываю уже толпу любопытных и вижу там не эту, нынешнюю, детсадовскую, дочку, а ту, Лидочку, в крохотном гробике, перееханном тяжелым литым колесом. Из щепья и тлелых лоскутьев, закутанная, бестелесная вроде бы, девочка тянет ко мне ручки и силится что-то сказать. Зовет она меня, зовет, догадываюсь я и рущусь перед нею на колени, пытаюсь обнять, схватить, прижать к груди дитя, но пустота, всякий раз пустота передо мною. Я просыпаюсь с мучительным стоном, с мокрыми глазами.

Скоро, скоро займусь я «легким» умственным трудом, днем буду строчить в газетку басни и оды о неслыханных достижениях во всех сферах советской жизни, о невиданных победах на трудовых фронтах, о подъеме культуры и физкультуры, ночью, стараясь начисто забыть дневную писанину, стану вспоминать войну, сочинять рассказы о страданиях и беспросветной жизни этих самых советских людей.

Чтобы писать, сделаться литератором, пусть и в пределах соцреализма, мне необходимо было учиться грамоте, преодолевать свое невежество, продираться сквозь всесветную ложь, и я читал, читал, много ездил по лесам, селам, спецпоселкам, арестантским лагерям, в которые газетчику был доступ. Спал четыре-пять часов в сутки.

Вел я в газетке, в промышленном отделе, лес и транспорт, и изо дня в день, из месяца в месяц годы уже набегали, но я не мог позволить себе выспаться, потому как в воскресные дни должен был доделывать, достраивать, доглядывать избушку: дом невелик, но спать не велит – на практике познавал я эту истину; да еще и в лес таскался с ружьем за дичью, с корзиной за грибами, с лукошком по ягоды.

Кончилось это все тем, что я начал видеть во сне совсем уж ошарашивающий кошмар, будто темной ночной порою, пробравшись на старое кладбище, раскопав могилу утопленницы матери, рвал ее черную кожу и ел багрово-красное мясо.

Напарник мой по рыбалке, местный мужик, в войну выучившийся на хирурга, навидавшийся в рабочем городе, в деревянной больничке, такого, что не во всяком чудовищном сне увидишь, содрогнулся, когда я у костра, на бережку, рассказал преследующий меня сон. «Предел, – заключил он, – это уже предел, заболевание мозга, последствия контузии. Кончай курить, кончай сочинительствовать по ночам, уйди в лес, поживи там весь отпуск, выспись как следует, иначе дело кончится плохо...»

Я послушался его, уединился в лесу, сперва неудачно, в избушке на отгонном пастбище лошадей, где меня осыпали мыши и на поверженного сном лезли, шурша лапками по плащу, порой я зажимал под рубахой и давил пригревшуюся там мышью. Тут

Астафьев Виктор Петрович Весёлый солдат [astafevvictor.ru](http://astafevvictor.ru)

еще скорее, чем дома, с ума сойдешь.

И подался я на водомерный пост, где был когда-то покос тестя, Семена Агафоновича. Уже несколько лет он не ходил на него, болели ноги, не хватало сил, коровы семья лишилась. Там, у старого знакомого, метеоролога, в просторной белой избе, где по углам и на стенах висели пучки пахучей травы, я спал по двенадцать – четырнадцать часов, поражая этим подвигом хозяев, и домой вернулся очнувшимся от затяжного недомогания, головная боль поубавилась, звенело в башке тоненько, шумело терпимо, но кошмары не оставили меня, потому как кошмаром была сама действительность. Однако мучили меня кошмары реже, война тоже годам к пятидесяти стала сниться редко, сны сделались полегче, сменились они снами разнообразными. Стал я часто спорить во сне с вождями мирового пролетариата, как бы уж и не на этом свете пребывающими, и, следовательно, споры эти были бесполезными, и еще со старшими товарищами писателями. Тяжелый разговор вышел у меня с человеком, похожим на Шолохова, по поводу «Поднятой целины». Еще тяжелее, но тоже безрезультатный – с товарищем Фадеевым, у гроба которого довелось мне побывать в годы литературной молодости. Большое расстояние и горные выси разделяли нас, и сны получались боевые, но путанные и спорные.

На много лет пристанет один сон: где-то в Москве, сойдя с трамвая среди беззаконных домов из красного кирпича, я направляюсь на Хорошевское шоссе, к дому моего незабвенного друга Александра Николаевича Макарова. Вроде бы ищу и путаюсь в Москве, обликом, однако, шибко смахивающей на город Чусовой с его грязными улочками и переулками, по окраинам превращенными в помойки и свалки. Всюду я упираюсь в дощатые непреодолимые загороди, и если мне удастся увидеть редкого прохожего, спрашиваю у него: в какой стороне Хорошевское шоссе? Прохожий чаще всего пожимает плечами или машет рукой в неопределенную сторону либо говорит, что нет тут никакого шоссе, вот улица Партизанская есть, и Трудовая улица есть.

Тем временем трамвай, на котором я приехал, разворачивается и уходит. Оказывается, я доехал до последней остановки с последним трамваем. Мне объясняют, что больше сюда трамваи ходить не будут, а в какую сторону возвращаться, я не знаю, и людей совсем нету, спросить направление не у кого...

\* \* \*

И тогда решил я съездить на Урал, в город Чусовой, побывать въяве на улицах Партизанской и Трудовой. Избушка моя превратилась в домик, под нее подвели бетонный фундамент, приподняли слуги, и крыша сделалась не нараскоряку, как это было прежде, крыша обрела крутые скаты, железом крытая, в швы не текла вода, у домика появилась верандочка, настоящая, с застекленной рамой, пристройка в виде сенок или тамбура, но кусты сирени и черемухи, мною и детьми моими посаженные, остались на том же месте, разрослись пышнее, черемухи успели состариться.

Я отчего-то не решился иль, скорее, не захотел зайти в домик, познакомиться с новыми его хозяевами.

А на улице Трудовой дом Сани Ширинкина хорошо сохранился, стоял все так же бойко на юру, только бревна почернели от времени и осевшей на них сажи, скосбочилась и кирпичный венчик осыпала труба на крыше, две-три тесины свежо желтели на передней, высокой, завалинке, всегда плотно забиваемой свежими опилками.

Возле дома играли мячиком две девочки, по виду первоклашки, я спросил одну из них, беловолосую, скуластенюкую, с приплюснутым носом, не Ширинкина ли она. Девочка сказала – нет, она Краснобаева, тогда я поинтересовался: куда делся хозяин этого дома – Ширинкин Александр Матвеевич? Девочка сказала, что никуда он не делся, это ее дедушко. Тогда ноги у меня ослабели. Я прислонился к тепло нагретой завалинке и, наладив дыхание, попросил позвать деда. Девочка юркнула во двор и скоро возвратилась, сообщив, что сейчас дед выйдет.

Спустя немалое время по настилу во дворе застучала неторопливая палочка, и знакомый мне голос в такт стуку палочки выдавал матюки, из которых складывался смысл и следовало заключение, что страховка за сей год выплачена, налоги все внесены, «так какого же х... нужно?».

– Ишшо осталось шкуру с нас содрать, мать твою!.. – отворив ворота, повысил голос Сана, но, увидев меня, уронил палку: – Ой, кум!

Без палки он уже был не ходок, повалился в мою сторону. Я подхватил его и ощутил руками почти бесплотное, костлявое, старческое тело. Сана, повиснув на руках моих, плакал и повторял: «Кум! Кум! Как же это, а? Как же это, а?» Он не облысел, а совершенно облез, и фигуристая голова его с выносом на затылок напоминала мозговую кость с колбасного завода. Появилась кума – эта, наоборот, раздалась вширь, приосела, укоротилась. Тоже всплакнув накоротке, отчетливо вздохнула и деловито предложила Сане:

– Старик, кончай нюнить, слетай в лавку.

Я приподнял форсистый дипломат, выданный мне на съезде Союза писателей,

Астафьев Виктор Петрович Весёлый солдат [astafevvictor.ru](http://astafevvictor.ru)  
встрянул им. В дипломате звучало. Пролетарская суть – не иметь добра, имущества – за мной сохранилась. Страсть как не люблю таскать чего-либо, тем паче валандаться с папками, портфелями, чемоданами. Но вот в Чусовой захватил модную средь интеллигентно себя понимающих людей эту хреновину – глядите, граждане чусовляне, какой я, понимаешь, форсистый сделался: костюм на мне французский, штиблеты шведские, галстук не иначе как арабский, чемодан у меня наимоднейший и в нем поллитра. И не одна, понимаешь.

Мы сидели в примрачневшей горнице за столом, кум, кума, дочь ихняя, вели неторопливую беседу, я, естественно, спросил: где же мой крестник-то? Кум махнул рукой и сказал нецензурно, мол, кто его знает, где этот бродяга.

– Не матерись за столом! – прикрикнула кума на кума и жалостливый повела рассказ о том, как рос и вырос их сыночек, женился, развелся, детей осиротил, до пьяницы дошел, шляется по чужим углам, глаз не кажет, вот, слава Богу, с дочерью век доживают.

Сана внезапно встрял в рассказ жены с дополнением:

– Не гонят пока ишшо из собственного дома, – и выпил, хотел это сделать махом, лихо, но поперхнулся, замахал рукою возле рта, отдышавшись, выразился.

Кума, как и многие еще дюжие женщины, состояла при дочери в ее семье в качестве домработницы и рада была этой доле. Кум, которому от кумы уже ничего не требовалось, поселился на кухне, сделав в виде нар просторную лежанку за печкой.

– Говорю тебе, не матерись за столом, Бог накажет.

– Не матерись за столом, не матерись за столом, – кривился Сана. – А че мне делать-то? Жевать нечем, протез в собесе выписали худой. Ты уж не поешь больше? – покачал он горестно головой. – А то ведь рот не закрывался, все хохотал, пел и выражался тоже. Вспомнишь – потеха. На крыше ты сидел своей великой новостройки, мимо ее теща твоя корову гнала, жэнщины, чтобы ее подначить, говорят: «Андреевна! На пустыре мужичонка строится, пьяница, видать, то поет на всю округу, то матерится на весь город. Не знаешь, чей?» Теща твоя поскорее шасть мимо новостройки: не знаю, мол, не ведаю, что там за мужичонка.

Все сдержанно посмеялись за столом.

– Я и ноне, Сана, хохотать не перестая, уж больно жизнь потешная.

– М-на-а, вот если б ты пел, как прежде, то всех этих волосатиков-попрыгунчиков по углам разогнал бы.

– Разогнал бы, разогнал всенепременно, – подтвердила кума.

– У меня работа веселее.

– Хорошо хоть платят-то?

– Всяко.

– Мы с бабой ту книжку, что ты прислал в подарок, вслух читали попеременно. Ничего, забавно и наврано в меру.

– Я отбрехался, Сана, до дна отбрехался, когда в здешней газетенке работал.

– Да уж, – уронил кум и поерзал на стуле: – Вот сидишь ты с нами, спасибо, что не забыл, пьешь, закусываешь, а да-алеко от нас находишься, ох как далеко.

– Я и от себя далеко, Сана, нахожусь. Ох как далеко!

Мы снова чокнулись, Сана трахнул рюмку до дна, я пригубил.

– Здоровье бережешь? – налаживая дыхание, сипло спросил кум.

– Нечего уже беречь. Все потрачено, все болит в непогоду. Голова и жопа в особенности. Голова от войны, жопа от литературы. Я ведь, Сана, одержимый, бывало, по двенадцать часов от стола не поднимался.

– Экая зараза, прости Господи, – довольно умело перекрестилась кума, а ведь первый раз в церкви побывала, когда первенца-парня крестили.

– Да-а, заводной ты был и в молодости, с ружьишком по сорок верст за день по горам ошевертывал, и бывало, одного рябца принесешь.

Мы посмеялись, кум, потрафляя моему настрою, начал говорить про наш покос и про то, как я плавил сено с тестем по Вильве, выходило, что был я лихой и бесстрашный плотогон, да вот пошел по другой линии, а то б, если не утонул, бо-ольшую деньгу мог зашибать в ту пору. И к разу поманил меня в кухню, за печку, где, прибитый к стене крупными гвоздями, красовался ковер с рыбаком, закинувшим удочку в уже отцветшие воды.

– Узнаешь?

– Узнаю, Сана, узнаю. Я ж художник неповторимый, Ван-Гог российский, бля.

Мы долго и трудно прощались с кумом и кумой у дверей избы, во дворе, за воротами.

– Ты уж шибко-то не изнуряйся, пожалей себя. Тебя-то никто никогда не жалел, – плакал кум, угадывая, что видимся мы в последний раз, и слезы, слабые и частые, катились по морщинам лица, уже забранным в сетку. – Работу не переменишь, жись не повернешь – проскочила она на коне. На каком коне – ноне не вспомню, ты читал, давно еще...

Астафьев Виктор Петрович Весёлый солдат [astafevvictor.ru](http://astafevvictor.ru)

– На розовом, – подсказала кума, тоже плача.  
– Во-во, на розовом, – подхватил кум и поправился: – На колхозной кляче со сбитой спиной проскакала она, мать бы ее ети...

Они, кума с кумом, умерли не в один день, но в один год и перебрались с улицы Трудовой еще выше на гору, в Красный поселок. Натрудились. Отдыхают. Им на горе ветрено и спокойно.

\* \* \*

И еще одна встреча, произошедшая в ту поездку, достала и достает мою память.

– Тебя Тая Радыгина, твоя учительница, непременно хочет видеть, просто умоляет повидаться, – сказала наша близкая знакомая, у которой я ночевал.

Пришла худенькая, в платок кутающаяся женщина, несмело припала ко мне, тронула сухими губами мою щеку.

– Настасья Ивановна. Вы учились у меня в вечерней школе, анатомии учились, хулиганили вместе с юношами. Помните?

Я согласно кивал головой и пытался воскресить в памяти школу, анатомию, соучеников своих и учительницу.

– А милой Веры Афанасьевны, вашей классной руководительницы, не стало. Совсем недавно, – сообщила она, завязывая разговор.

Кто-то сказал Настасье Ивановне, Тае, как звал ее муж, что я и жена моя хорошо знали ее мужа, а у нее нет о нем воспоминаний, почти нет: так нестерпимо и гибло жили после войны и так он, ее лейтенантик, быстро сгорел, что ничего-ничего не сохранилось от него и о нем. Выросли дети, подрастают внуки, просят рассказать что-нибудь об отце и бабушке, а она и не имеет чего рассказать, кроме как сообщить, что он был прекрасный человек и она сохранила ему верность, более не пыталась устроить свою жизнь.

– Да и как ее устроить бедной учительнице с двумя детьми? – печально улыбнулась она.

Я попросил накрыть на стол, наладить чай, и пока две женщины-подружки, обе бобылки, выполняли мою просьбу, пытался изнасиловать свою память, что-то выудить из нее, и стало мне ясно, что без сочинительства тут не обойтись, что на этот раз будет то сочинительство к месту и Бог мне его простит.

Основной упор в воспоминаниях я сделал на то, как вместе с лейтенантом Радыгиным мы ехали на соликамском поезде из Перми в Чусовой, и на то, как муж ее, Таисья Ивановны, вынимал мою беременную жену из канавы с мешком картошки на спине и как провожал нас домой. А вот про встречу в тубдиспансере я умолчал, зато рассказал о том, как шли мы, опять же с поклажей картошки, из Архиповки и видели, как нелепо и страшно тонули на реке Чусовой пьяные люди, пробовавшие плясать в лодке и опрокинувшие ее, как в холодные воды бросился человек – спасать людей – и спас молодую девушку с длинной косой, это был, показалось нам, Радыгин.

– Да-да, я знаю эту женщину. Она живет в новом поселке, рядом с нами, тоже учительствует и до сих пор не ведает, кто ее спаситель. Я непременно сегодня же расскажу ей об этом. Ах, какой это был человек! Ка-а-ако-ой человек! – сжимая ладошками лицо и раскачиваясь из стороны в сторону, восторгалась бедная вдова.

– Ты набрехал насчет подвигов покойного Радыгина? – сурово спросила меня моя знакомая, проводив подругу.

– Чего-то набрехал, чего-то и нет.

– Ну и не винись – ложь эта во спасение. И теперь я свидетель тому, как ты здорово сочиняешь, могу с читателями твоими поделиться воспоминаниями.

– Не стоит.

Ныне меня, как и многих стариков, оглохших от советской пропаганды и социалистического прогресса, потянуло жить на отшибе, вспоминать, грустить и видеть длинные, вялые сны, почти уж без ужасов. Разгружая память и душу от тяжестей, что-то, тоже вялое, выкладывая на бумагу, совершенно уже не интересуюсь, кому и зачем это нужно.

«Отравляющая сладость одиночества» – назвал я однажды мое нынешнее состояние. Летом, находясь в деревне, поздним уже вечером, когда не мотаются по улице пьяные и собаки, спущенные с цепи, смиренны, не брехливы, когда все селяне от мала до велика сидят перед телевизорами, увлеченные очередными жгучими и бесконечными страстями, угадывая, кто кого на кровать повалит или в конце концов порешит, я люблю пройтись по-над рекой, по пустынной набережной. Если тиха погода, нет туманов и сырой стыни, если вышний свет спокойно ложится на Енисей и в нем отражается каменное веко караульного быка, а перевальные, горные дали за рекой волнами уходят в небеса и призрачно соединяются с ними, в моей успокоенной душе часто повторяется кем-то давно присланное мне стихотворение:

Угасание дня, угасание жизни, Приближение к тайне на крошечный шаг. Между ночью и днем, между словом и мыслью – Опускаются сумерки в мир не спеша.

Астафьев Виктор Петрович Весёлый солдат [astafevvictor.ru](http://astafevvictor.ru)

Исчезает зеленых деревьев торжественность, Исчезает приветливость ясных небес. Отрешенность природы покойно-торжественна, И в себя погружен скал ближайший отвес. Какими чуткими, какими блаженство сулящими минутами одаривает вечер человека! Как разрывает грудь чувство любви ко всем и ко всему! Как хочется благодарить Бога и силы небесные за эти минуты слияния с вечным и прекрасным даром любить и плакать!

Совсем недавно, в каком-то промежутке тягучих, сочинительски-бредовых снов, увидел я отчетливо и ясно палец в брезентовом заношенном напалке. Стянул зубами грязно-соленый напалок и увидел неуклюже обросшую мясом кость, увенчанную кривым, зато крепким, что конское копыто, ногтем, и безо всякого ехидства, без боли и насмешки подумал: «Да-а, все-таки они схожи: моя жизнь и этот изуродованный на производстве палец».

...Четырнадцатого сентября одна тысяча девятьсот сорок четвертого года я убил человека. В Польше. На картофельном поле. Когда я нажимал на спуск карабина, палец был еще целый, не изуродованный, молодое мое сердце жаждало горячего кровотока и было преисполнено надежд.

Село Овсянка.

1987, 1997.

Спасибо, что скачали книгу в бесплатной электронной библиотеке

<http://astafevvictor.ru/> Приятного чтения!

<http://buckshee.petimer.ru/> Форум Бакши buckshee. Спорт, авто, финансы, недвижимость. Здоровый образ жизни.

<http://petimer.ru/> Интернет магазин, сайт Интернет магазин одежды Интернет магазин обуви Интернет магазин

<http://worksites.ru/> Разработка интернет магазинов. Создание корпоративных сайтов. Интеграция, Хостинг.

<http://filosoff.org/> Философия, философы мира, философские течения. Биография

<http://dostoevskiyfyodor.ru/> Приятного чтения!